Лазарь

КАРМЕН

На дне Одессы



ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

На дне Одессы
Лазарь Осипович Кармен

Аннотация
Лазарь Кармен. На дне Одессы
На дне Одессы
I. Дикие утки
II. Яшка-скакун
III. Скакун «свежает»
IV. Прощай, Днестр
V. Приятное знакомство
VI. Сладко пел соловушка
VII. В саду трезвости
VIII. Катков
IX. Сашка-музыкант
X. Король Лир
XI. Страдания Яшки
XII. Зверь с зелеными глазами
XIII. Порядочный дом
XIV. Цукки
XV. Неудачное бегство
XVI. Перед выходом
XVII. Чертог сиял
XVIII. Одесская молодежь
XIX. Энглишмэны

XX. Разбитая ваза
XXI. Семейный очаг
XXII. В столовой
XXIII. Ксюра и Чешка
XXIV. Бетя пляшет
XXV. Дети Нади
XXVI. Собака и Надя
XXVII. Schiffskarte
XXVIII. У реки Вавилонской
XXIX. Лорелея
XXX. Мутные волны
XXXI. Таинственные исчезновения
Заключение
Приложения
Проснитесь!
Берегитесь!
Ответ Вере

Аннотация

Одесса. Город, где море смеется волнами, а улицы шепчут греховные соблазны. Надя приехала сюда за счастьем – а нашла лишь грязь, предательство и долгий путь на дно. Лазарь Кармен без прикрас рисует жизнь одесского подполья: воровские притоны, трактиры, где льется дешевое вино, и публичные дома, ставшие последним пристанищем для тех, кому некуда больше идти.

Общество называло проституток «живым товаром», «падшими созданиями», не желая видеть за этими ярлыками настоящих людей. Но за каждым именем – судьба: Надя, Бетя, Роза Цыганка, Саша-Шансонетка, Тоска, Цукки, Ксюра Пожарная бочка, Сима Огонь… Их истории сплетаются в единую картину падения и отчаяния.

Лазарь Кармен (настоящее имя – Лазарь Осипович Коренман, 1876–1920) – журналист и публицист, которого называли «одесским Горьким» за глубокое сочувствие к униженным и обездоленным. Его роман «На дне» Одессы» (1904) – предтеча «Ямы» А. Куприна

и «Одесских рассказов» И. Бабеля.

В книгу также вошли: «Ответ Вере» (1903), написанный вместе с В. Жаботинским, публицистические брошюры «Берегитесь!» и «Проснитесь!» (1904), составленные автором для одесского филиала Российского общества защиты женщин – это воззвания к проституткам-одиночкам и обитательницам «веселых домов», где он не только обличает систему, но и предлагает реальную помощь.

Лазарь Кармен
На дне Одессы

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

* * *

На дне Одессы

Посвящается Александру Валентиновичу Амфитеатрову[1]

Помните заключительную картину в «Вишневом саде»? Снаружи кто-то заколачивает окна. Стук, стук! Стук этот, подобно гвоздям, впивается в ваше сердце. От покинутого всеми дома веет могильным холодом. Перед вами — настоящий склеп. Неподвижные тени, массивная мебель, и — ни души. Но вот кто-то зашевелился на диване. Кто это? Человек. Фирс. Усталыми глазами он обводит пустую комнату, и у него вырываются душу щемящие слова:

— Про меня забыли…

Страшно! Человека забыли.

А сколько таких, как он, *забытых* людей?! Сколько таких Фирсов?! Тысячи, сотни тысяч.

Например, проститутка. Мы загнали ее в самую отдаленную улицу, в самый глухой закоулок и забыли о ней. Правда, изредка мы вспоминаем и заговариваем о ней в обществе и в печати, но как

---

[1] Примечания: 1

Автору «Мари Лусевой» и «Женского нестроения».

о прокаженной. И большей частью разговоры наши сводятся к тому, чтобы как можно больше унизить ее полицейскими мерами, придушить, сжать ее в тисках желтой книжки для сохранения здоровья нашего милого юношества.

Какая глубокая чеховщина сквозит в этих разговорах! Какие сумерки, какой эгоизм и животное чувство самосохранения!

Наше юношество! Это розовое, сытое, изнеженное юношество удивительно напоминает Бобика из «Трех сестер», а печать и общество — его гусыню-маменьку.

Бобик спит, и все должно притаиться, ходить на цыпочках; потушены огни и отменено всякое веселье. Так и с нашим юношеством. Здравый рассудок, совесть, справедливость и сострадание стушевываются, как только заходит речь о том, что его здоровью грозит опасность от проституции. В результате — *десятки тысяч женщин* обречены на полную забытость, загнанность и индифферентность. И никому нет дела до их души, до их страданий и до того, что среди бела дня они тонут.

Я не могу отказать себе в удовольствии привести прелестное стихотворение поэтессы-девушки Алисы Шамбрие — шведки, переведенное А. П. Ба-

рыковой:

Перо
Раз увидала я, как перо белоснежное
Потерял из крыла голубок;
И упало оно, — серебристое, нежное,
Прямо в уличный грязный поток.

Лишь мгновенье кружилось оно, колебалося
И в паденьи своем роковом
Трепетало от страха и боли, — казалося, —
И защиты искало кругом.

Не нашло… И, как будто с тоской безотрадною,
Опускалось быстрей и быстрей;
И беспомощно пало над лужею смрадною,
С белизною прощаясь своей.

Сердце часто тревожится всякою малостью,
Смутной грезой, явленьем простым…
За пером этим белым следила я с жалостью,
Как за чем-то живым и родным.

Мне припомнились женские души несчастные,
Те, что в омуте мира скользят
В темноте, без поддержки, тропинкой опасною,
Где ползет им навстречу разврат.

Сколько их, обреченных соблазнам, страданиям,
Бьется, гибнет у нас на глазах?
Кто считал эти жертвы? Кто падшим созданиям
Подал руку спасенья впотьмах?

Нет спасения им! Вечная мгла непроглядная
Застилает им путь роковой.
Они падают в грязь, и толпа беспощадная
Топчет их равнодушной ногой.

В предлагаемых мною очерках я постарался, насколько мог, изобразить *тех,*

…что в омуте мира скользят
В темноте, без поддержки, тропинкой опасною.

И я был бы чрезвычайно рад и счастлив, — говорю искренне, — если бы общество, прочитав их, посмотрело бы наконец на этих несчастных, как на сестер.

Пора! Давно пора переменить свои дикие взгляды на проститутку, как на прокаженную, протянуть ей руку и обласкать ее! Надо ударить в набат!..

Заканчивая свое предисловие, я хочу сказать, что, помимо желания вселить в читателя симпа-

тию к проститутке, мною руководило еще одно желание — познакомить публику с растлевающим влиянием большого города на «пришлый» элемент. Вопрос о таковом влиянии большого города всегда занимал меня, так как я видел сотни ужасающих примеров. Являются из деревень люди — цветущие, здоровые, и смотришь: в год-два сошли на нет. Они сварились в городском котле. И это объясняется весьма просто: современный, так называемый — культурный, европейский город прогнил насквозь. Все в нем гнило: и дома, и люди, и жизнь.

Примером растлевающего влияния на пришлый люд большого города может служить, надеюсь, героиня моих очерков — Надя с Днестра.

Надя — дикая утка!

Благодаря печальному стечению обстоятельств она залетела в город. И что он сделал с нею?! Обломал ей крылья и выщипал у нее все перья.

Мне жаль ее! Жаль всех диких уток, залетающих в город.

Кармен

I. Дикие утки

Наде было 22 года, когда она вместе со своим дядей Степаном, старым 65-летним рыбаком и охотником на диких уток, оставила родную деревню Рокусоляны и приехала в Одессу.

Красивая деревня — Рокусоляны. Она стоит на небольшой возвышенности над самым Днестром и почти целиком отражается в его мутноватой воде, как в зеркале, своими хорошенькими синими хатами, садиками, глиняными заборами, церковкой, рыбацкими сетями, развешанными для просушки на высоких колышках, и босоногими и белобрысыми мальчуганами.

Мимо деревни весь день с резким криком, стаями тянутся к плавням дикие утки и бегут, надувшись, как индюки или московские купчихи, парусные шлюпки.

Когда над Днестром не висит, как проклятье, туман, и ярко светит солнце, и воздух чист и прозрачен, то из Рокусолян отчетливо видны — справа, далеко за кривой линией скал, теснящих Днестр, поэтичный мыс Рог с его спасательной станцией, а напротив, за широкой сверкающей полосой воды, на противоположном берегу

— плавни «ериков»[2], длинная, низкая и черная стена Шабских виноградников и турецкая крепость и казармы Аккермана, к которому, переваливаясь с боку на бок, как утка, и дымя густым черным дымом, ползет вместе с пассажирами из Овидиополя жалкий катер.

В такой день в Рокусоляны доносятся из Шабо и Аккермана лай собак и гул.

Хорошо в такой день посмотреть на Днестр и на противоположный берег. Но еще лучше посмотреть на все это во время захода солнца, когда оно выплывает из-за фиолетовой тучи огромным раскаленным шаром, сыплющим огонь, отбрасывает по воде до половины Днестра косой, огненный и дрожащий столб, зажигает плавни, виноградники, и весь берег, весь горизонт горит, точно город, подожженный неприятелем. И на это пламя, на этот пожар несется к плавням на ночевку целая улица диких уток.

Рокусоляны не только красивая, но и богатая деревня. Жители ее — народ здоровый, занимаются хлебопашеством, перевозкой пассажиров на лошадях и лодках, виноградарством, почему у каждого рокусолянца для хорошего гостя най-

---

[2] Примечания: 2

Искусственные каналы, в которых ловят кефаль *(Здесь и далее прим. авт.).*

дется стакан вина, рыбной ловлей и охотой на перепелов, куропаток и диких уток.

Надя и Степан, родившись в Рокусолянах, любили свою родную деревню и буйный, капризный Днестр больше всего на свете. Они никогда не оставили бы их, как не оставила бы добровольно морское дно рыба, если бы не судьба.

Надя рано осиротела. Дядя-бобыль предложил ей поселиться у него. У него был дом и хозяйство. И она поселилась.

Дядя был добрый, честный, любил ее, как родную дочь, и никогда не обижал. И она в свою очередь любила его, как отца. Как страстный охотник на диких уток, он по целым дням, а иногда и по ночам, пропадал на воде в своей легкой шлюпке и в плавнях и стрелял уток.

«Бах, бах!» — часто доносилось с Днестра в деревню.

— Это дядя Степан, охотничек милый наш, стреляет, — говаривали рокусолянцы.

А Надя во время его отсутствия занималась хозяйством.

Оба жили, как говорится, припеваючи. Недостатка у них ни в чем не было. У них постоянно в чулане стояли два-три бочонка с вином, в хлеву корова, две лошади и лежали без движения два

раскормленных до издыхания борова, а во дворе весело кудахтали и скребли землю несколько семейств кур и другой птицы.

Нередко Степан брал с собою на охоту Надю и они оба часами носились по Днестру. Надя, раскрасневшись от удовольствия, сама крепила шкот, убирала паруса, когда стихал ветер, и бралась за весла. Степан в это время, держа ружье наготове, выжидал момента и, когда высоко над шлюпкой взвивалась утка, спускал курок.

Иногда заряд не достигал цели и утка, разразившись насмешливым криком, спокойно продолжала свой путь к плавням. Степан тогда злился, бранил ружье и сердито кричал Наде:

— Крепи шкот! Чего смотришь?! Чучело!

А иногда, раненная в грудь или в шею, утка камнем падала вниз, становилась крыльями на воду, царапала ее, вертелась, билась и жалобно кричала.

Степан поворачивал шлюпку, подъезжал к ней и добивал ее веслом. Хорошее было время!

Для Нади стал наклевываться жених — Федор. Здоровый, как буйвол, гроза овидиопольских и маякских парней, румяный, смелый. Лучшим доказательством его смелости служили — медаль общества спасения на водах, постоянно висев-

шая у него на груди, и похвальный лист того же общества, висевший на стене в его хате. Федор на своем веку — ему был 21 год — спас шестерых человек.

После нескольких визитов к дяде Степану Федор сделал Наде предложение. Надя охотно согласилась, и с этого дня по воскресеньям, как принято в Рокусолянах и в прочих деревнях на Днестре, она прохаживалась по улицам мимо мальчишек, игравших в бабки, в праздничном платье и в белом венце на голове, какие носят невесты. Венец этот свидетельствовал о том, что она сосватана. И здоровенные рокусолянские парни, попадавшиеся ей навстречу стадами буйволов, почтительно сторонились, прикладывались руками к картузам и не трогали ее ни единым неприличным словом.

Свадьба ее и Федора должна была состояться через три месяца. Вдруг… пожар.

Дядя Степан обронил в хлеву цигарку, солома вспыхнула и пошло, пошло… В три часа от всего, кроме обгоревших балок, обуглившихся трупов коровы, лошадей, боровов, кур и покоробленного ствола старого ружья Степана, которым 20 лет он бил уток, ничего не осталось.

Надя, глядя на огонь, рвала на себе волосы,

билась головой о землю, а потом побежала к Днестру топиться. Но ее удержали. А дядя Степан в это время стоял посреди двора, как в столбняке, мутными и ничего не выражающими глазами глядел на горящее добро и бессмысленно шептал:

— Так его, дядю Степана. Так его, охотничка нашего милого. Жарь!

Степан и Надя обнищали. Федор в этот же вечер отказался от невесты.

— На что мне нищая, коли за меня пойдет любая из Одополя (Овидиополя) или из Малой Вакржи (село).

Надя и Степан приняли его отказ довольно спокойно. Так и следовало ожидать.

Ночь после пожара Надя со Степаном провели у соседа. Несмотря на тяжелую ночь, они встали рано, и Степан сказал Наде:

— Едем сейчас же в Одессу. Может быть, Бог даст, заработаем там что-нибудь и тогда вернемся назад. Хату выгоним, ружье заведем и все прочее. А так жить здесь нельзя.

И они поехали.

Всю дорогу от Рокусолян до Одессы Надя плакала. Тяжело было ей, очень тяжело расставаться с родной деревней, с Федором, которого сильно полюбила, но пуще всего — с Днестром.

Днестр, когда они оставляли деревню, так шумел, так шумел. Он точно упрекал ее в неблагодарности, в измене. И этот шум преследовал ее до самой Одессы.

Степан искоса поглядывал на нее, качал головой, хмурился и незаметно для нее смахивал слезы.

* * *

Недолго искали они работы в Одессе. Степан на третий день попал в каменоломню на «Кривой балке», а Надя — на службу, в качестве служанки, к небогатой польке.

Прошло полгода. Живя на всем готовом, Надя понемножку отложила в сундук 20 рублей и справила себе праздничное платье. Отложил небольшую сумму и Степан.

Надя встречалась с дядей довольно часто. Он являлся к ней каждое воскресенье со связкой семитатних бубликов и с яблоками или с баночкой дешевого меда, чисто-начисто выбритый, причесанный, в высоких чищеных сапогах и расшитой сорочке.

Надя к его приходу надевала свое новое платье — зеленую юбку, красную с цветочками кофту, повязывалась шелковой косынкой с прекрасно

отпечатанным на ней портретом о. Иоанна Кронштадтского, и оба отправлялись в церковь.

Из церкви они возвращались назад на кухню, пили, к неудовольствию хозяйки, чай с бубликами и яблоками и вели беседы. Степан рассказывал чудеса о каменоломнях, которых Надя никогда не видала, о колодцах глубиной в 24 сажени, об узких под землей и длинных в версту и в десять верст ходах, в которых легко заблудиться. Рассказывал о том, как там тяжело дышать, как там, вследствие спертого и тяжелого, как свинец, воздуха, немилосердно коптят лампы и с головы до ног засыпают каменщика сажей, как «подшкурная» (подпочвенная) вода часто размывает потолки, как потолки эти валятся и убивают каменщиков, как три дня тому назад на его глазах оторвался кусок потолка и отрезал ноги молодому каменщику и как тот кричал — «Что я буду теперь делать!? На что я теперь, калека, годен?!»

Надя, слушая дядю, менялась в лице. Менялся в лице и сам Степан, рассказывая слегка дрожащим голосом все эти ужасы.

— Каторжная работа, — заключал он всегда с глубоким вздохом. — Да не я один работаю. Тысячи людей. Жрать ведь всем хочется. Не всем

же письмоводителями и купцами быть. Эх! Как вспомнишь, скорчившись, как покойничек, в «припоре»[3], Днестр, родной Днестр, сердце так и прыгает, так и прыгает. Лом и пила из рук валятся.

Когда Степан заговаривал о Днестре, голос его из дрожащего и сердитого переходил в ровный и радостный.

— Как ты думаешь, Надюшек, — с Днестра-то нашего родного, с воздуха-то его да в землю, в самую середину, где одни пауки и черви?.. Бррр! Или сюда вот, — и он обводил рукой грязную кухню, наполненную дымом и угаром. — А хорошо бы теперь, Надюшек, покачаться в шлюпке возле Шабо и поглядеть на уток. Ах вы, уточки мои! «Гулиньки, гулиньки! Ась, ась! Гули, гули!»[4].

И старый неисправимый охотник распускался в счастливую улыбку.

Надя так же распускалась в такую же улыбку и что-то отвечала ему. Но он не слушал ее. Он находился далеко-далеко от этой смрадной кухонной обстановки и ужасного колодца, где воздух тяжел, как свинец, и где сажей от коптящей лампы с ног

---

[3] Примечания: 3
Комнатка, вырезанная в каменоломне.

[4] Примечания: 4
Так подманивают в деревнях на Днестре уток.

до головы засыпает каменщика. Он качался возле Шабо на своей шлюпке, крепил шкот, спорил с ветром, любовался пожаром Шабо, подожженного заходящим солнцем, вдыхал здоровый воздух и стрелял уток. Бах, бах! Недаром глаза его в это время были устремлены в одну точку, светились особым светом, грудь часто вздымалась и ноздри раздувались.

Надя, глядя на дядю, умолкала и также уносилась на Днестр. И глаза ее засвечивались таким же светом, как у дяди.

— Помнишь, — вдруг отрывался от своей точки Степан, — как мы с тобой, Надюшек, в ту погоду… Ветер-то какой был. А зыбь?! Крен — во какой. Грот как надулся. Чуть не треснул… И страшно, и весело было.

— И страшно и весело было, — мечтательно подтверждала Надя и любовно прижималась к дяде.

— Скоро, скоро вернемся туда, — оживлялся все больше Степан. — Новую хату выгоним, синькой распишем ее, лодку новую заведем, хозяйство… А я позавчера у Иенча (ружейный мастер) в «Палероляле» (Пале-Рояль) ружье торговал. Хорошее ружье. Бьет здорово и легкое. Только дорогонькое. А я беспременно куплю его. Мне приказчик

обещал уступку сделать. То-то будет охота!.. Эх вы гуленьки мои, гуленьки! Ась, ась!

Наступала длинная пауза, в течение которой оба мысленно носились над Днестром. Но вот мечтательность покидала Степана. Он делался мрачным, брал Надю за руку и говорил, глядя в сторону:

— Вот что, Надюшек. Если что со мной случится… Все мы под Богом ходим… Кто его знает?.. Потолок может обвалиться, и меня… того… ухлопает… Тогда немедля, слышь, поезжай в деревню. Без меня здесь тебе оставаться никак нельзя. Пропадешь.

Наде после этих слов становилось жутко и страшно. Видя ее изменившееся лицо, дядя напускал на себя беспечность и замечал с неестественным смехом:

— А я, брат, Надюшек, пошутил… Ну и заживем же мы с тобой с Божьей помощью. Замуж выйдешь и все такое хорошее… Погоди только…

Надя успокаивалась.

* * *

Однажды Надя прождала напрасно дядю целое воскресенье. Потом — другое и третье.

«Что с ним? Уж не случилось ли чего?.. Спаси

нас, Царица Небесная», — молилась Надя.

Настало четвертое воскресенье. Дяди опять нет. Надя, не на шутку испугавшись, отпросилась у хозяйки, села в вагон конки и поехала искать его. Дядя в последнее время работал в колодце какого-то Орлова за Слободкой-Романовкой.

День был прескверный. Лил дождь с утра, и стоял туман. Надя высадилась в конце Слободки, сделала по грязи около 200 шагов, миновала страшный желтый дом и остановилась. Перед нею лежала степь, накрытая туманом. Мимо Нади проползали, увязая по самую ось в грязи, узенькие тележки с желтым камнем и хилые, промокшие до костей лошадки. Рядом с тележками шли закутанные в кожухи и мешки возницы.

— Где тут колодезь Орлова? — спросила Надя одного.

Возница остановился, повернул к ней свое мокрое бородатое лицо и спросил:

— Какого? Их тут два колодца Орловых. Один — Ивана Петровича, другой — Григория Петровича.

— Кажется, Григория Петровича.

— Ступай туда, прямо, — ткнул он в туман кнутовищем.

Надя поблагодарила и пошла. Продолжая расспрашивать попадавшихся ей по пути ка-

менщиков, она с трудом, благодаря непролазной грязи, добралась до колодца.

Надя, никогда не видавшая колодца, была поражена сходством его с виселицей[5].

«Настоящая виселица, — подумала она. — Недостает только, чтобы на ней человек качался».

Над колодцем, не особенно высоко, как бы высматривая в его глубине пищу, парил ястреб.

Ястреб, благодаря туману, казался необычайно большим.

Надя, когда оглянула степь, увидала в тумане много таких виселиц и ястребов.

Можно было подумать, что через эту степь прошла недавно орда татар или какая-нибудь вольница и оставила по себе память в образе этих виселиц.

Возле колодца, где работал Степан, никого, за исключением тяжчика[6], — приземистого мужичка с бородкой клином и с мешком вместо зонта, — никого не было. Тяжчик ходил вокруг аккуратно сложенных клеток желтого камня и считал их.

---

[5] Примечания: 5

Сходство это делают снасти — два столба по бокам колодца с перекладиной.

[6] Примечания: 6

Надсмотрщик.

Надя подошла вплотную к колодцу, мельком заглянула в его круглое окошко (отверстие), содрогнулась и, вся промокшая, усталая и потная, прислонилась к снастям.

Тяжчик заметил ее и спросил:

— Чего тебе?

— Степан тут работает? — спросила она, барабаня зубами.

— Их много тут Степанов.

— Степан Прохоров.

Тяжчик внимательно посмотрел на ее бледное, намоченное дождем лицо, на блестящие глаза и осторожно процедил:

— Тут… А ты кто будешь?

— Племянница его… Дочь приемная…

— Гм!

Тяжчик насупился.

— Можно видеть его? — спросила Надя, и голос ее дрожал и обрывался.

Тяжчик молчал.

— Можно видеть его? — повторила Надя упавшим голосом.

Она прочитала уже ответ на мрачном лице тяжчика. Но слабая надежда не покидала ее.

— Да ты разве ничего не знаешь? — процедил по-прежнему осторожно тяжчик.

— Не знаю.

— Нет его тут больше.

— Как?

— Да так. Умер. Убило его, — проговорил скороговоркой и недовольным тоном тяжчик.

Он предвидел, что пойдут слезы, причитания, и хотел по возможности сократить все это.

— Убило?

Надя не хотела верить.

— Скоро месяц будет. Во всех «вестниках» об этом пропечатано было. Как только его убило, его сейчас же в анатомический покой повезли, а потом на новое кладбище.

Надя всем телом прижалась к снастям, чтобы не упасть, заплакала и залепетала:

— Дяденька, милый, дорогой. Что я без тебя делать буду? Пропа-ду-у.

Плач ее все увеличивался и перешел в истерические вопли, в которых совершенно пропадали ее причитания.

— О-о-о! — разносил ветер далеко по степи ее вопли.

Канат, погруженный в колодезь и прикрепленный к барабану[7], вдруг задрожал. Снизу

---

[7] Примечания: 7

Вертящаяся кадушка между снастями, на которую наматывается канат.

подавали сигнал.

Тяжчик, глядевший на Надю не то с состраданием, не то с озлоблением, подошел близко к колодцу и сказал ей:

— Пусти.

Надя посторонилась, грохнулась недалеко от колодца на «четверик», закрыла лицо руками и зарылась головой в колени.

Тяжчик плюнул на свои шершавые мозолистые руки, схватился за вырло[8], навалился на него брюхом и стал вместе с ним описывать, как цирковая лошадь, круги.

Канат натянулся, как струна, и стал наматываться на барабан. На пятом круге тяжчик искоса посмотрел на Надю. Сидя в прежней позе, она вздрагивала всем телом. Тяжчик покачал головой, отвернулся и продолжал свое дело.

Спустя десять минут из окошка выглянули одновременно две бараньи шапки и порванный картуз, окрашенные желтым песком, потом два бритых и одно круглое, бородатое, веселое лицо с веселыми глазами и плечи в рваных пиджаках. Тяжчик в последний раз поналег на вырло, и над окошком выросли три каменщика с керосиновы-

---

[8] Примечания: 8

Оглобля, прилаженная к барабану и приводящая его в движение.

ми лампочками в руках. Они стояли, обнявшись, как братья, на шайке[9].

— Станция Вошелупьева! Поезд простоит пять минут! — воскликнул, смеясь, бородатый каменщик и перешагнул из шайки на край окошка.

Бритые каменщики улыбнулись на его шутку и последовали его примеру. Тяжчик оставил вырло, оттер со лба рукавом пот и спросил бородача:

— Как дела, Ваня?

— На Шипке все спокойно, — ответил по-прежнему весело Ваня. — А у вас тут — дождь. И какой важнеющий. Эй! Идол! Чего тут шляешься! — крикнул он на ястреба, который не переставал носиться над колодцем.

Говоря это, Ваня вместе с товарищами соскочил на землю.

— Куда пойдешь теперь?

— Куда? Точно не знаешь. В трактир водку пить. Каменщик и моряк — одно и то же. Как на берег попали — шабаш. Пей и никаких! — И Ваня затянул матросскую песню:

«Про-о-падай моя портянка!..»

Товарищи Вани рассмеялись. Невольно рассмеялся и тяжчик.

---

[9] Примечания: 9
Квадратная доска, на которой поднимают каменщиков.

— Тю, тю, хю! — оборвал вдруг со свистом свою песню Ваня и, указав головой на Надю, которую только сейчас заметил, спросил: — А это кто?

— Не спрашивай лучше, — ответил тяжчик и махнул рукой.

Ваня внимательно посмотрел на нее и опять спросил:

— Не племянница ли нашего милого охотничка?

— Она самая.

— Н-да!.. Штука! — Ваня сдвинул картуз и чесал затылок.

— Неужто она? — спросили в один голос бритые каменщики и так же, как и Ваня, внимательно посмотрели на нее.

Настало молчание, и вокруг колодца сделалось тихо. Только слышно было, как шарит по степи ветер, как всхлипывает Надя и как стучит дождь по снастям, барабану и краям колодца.

Ваня не утерпел, подошел к Наде и слегка тронул ее за рукав. Надя медленно подняла заплаканное лицо с красными опухшими глазами.

— Степан, стало быть, твой дядя, милая? — спросил он ласково.

— Дядя, — прошептала она.

— Что поделаешь? — проговорил он со вздо-

хом. — Судьба. Все под Богом ходим. Нынче Степан, а завтра — я. Одно слово — риск.

— Такое выходит дело, — подтвердил один из бритых каменщиков.

— И я так говорю, — вставил тяжчик.

— А мы со Степаном вместе работали, — продолжал Ваня. — Коли хочешь, голубка, знать, как это случилось, могу рассказать. Сидели мы с ним в припоре. Я буртовал камень, а он плашку (плита камня) распиливал. В 12 часов я бросаю лом и говорю ему — «Идем, охотничек милый наш, — мы все тут его так называли, — снедать». А он отвечает — «Успею. Дай только плашку распилить». Вот чудак! Он бы не ел, не спал и все работал. По ночам человек работал. «Чего не жалеешь себя?» — спрашиваю я его как-то. Смеется. «Разве я барин, чтобы жалеть себя? — отвечает. — Нельзя, братец ты мой, иначе. Надо скорее деньгу скопить и марш из этой могилы на Днестр. А как там, брат, хорошо. Воздуху-то, воздуху сколько. Плавни, братец мой, какие. Красота. Особенно, когда солнце на заходе. А утки — кра, кра, кра!..» Расписывает, расписывает, а у самого голос и руки дрожат.

Ваня сделал небольшую паузу и продолжал:

— А я так располагаю, родная, что дядя твой

из-за этих самых уток и жизни лишился. Весь день только и говорил об утках. Спать не давали они ему. Сколько раз он говорил мне: «А ты, Ваня, никогда не стрелял уток? Большое удовольствие. Эх! И набью же я их, как отсюда вылезу. Скорее бы, скорее. А то не выдержу. Задохнусь...» А на чем, бишь, я остановился? Да-а-с! «Дай только плашку, говорит, распилить». — «Пили, брат, — отвечаю. — Я тебе — не помеха», — и вылезаю из припора. Не успеваю вылезть, как слышу за спиной шум. Оборачиваюсь. Господи, Иисусе Христе! Потолок сел. Сел и накрыл Степана. Я сейчас назад и давай ковырять потолок ломом. Насилу откопал Степана. Сердешный. И что с ним сделалось! Понимаешь — голова разбита и мозги из нее лезут, спина переломана. Кровь рекой хлещет. Я нагибаюсь к нему и спрашиваю: «Что, брат Степан, охотничек наш милый и злосчастный, скажешь?» Он открывает глаза. А глаза у него совсем мертвые и что-то шепчет. Я нагибаюсь опять. Думаю, воды, дохтора или священника требует. Ан нет. Заместо этого слышу: «Вот они, уточки мои. Гулиньки, гулиньки. Ась, ась! Крепи шкот!» И с этими словами глаза закрыл.

Пока Ваня рассказывал, из колодца вылезли десять каменщиков. Они отряхнулись от желтой

пыли, послушали немножко товарища, посмотрели равнодушно на Надю и разошлись. Кто пошел в трактир, а кто — в казармы.

Картина эта была для них не новая. Не проходило и месяца, чтобы к колодцу не являлись мать, сестра, дочь, отец или жена, не ударялись головой о снасти и не оглашали степь своими воплями.

Господи! Сколько людей погибло в этих колодцах, разбросанных по этой мрачной, неприветливой степи! Сколько крови пролилось в их узких галереях и припорах! Недаром каменщики говорят, что каждый камень городского жилья полит потом и кровью и что, будто, если прислушаться, то можно услышать, как он стонет и плачет.

Надя с содроганием выслушала рассказ Вани и опять закрылась руками. Из груди ее опять вырвались вопли и рыдания.

Ваня сказал ей еще несколько слов в утешение, попрощался и удалился вместе с товарищами.

Возле колодца остались только Надя и тяжчик. Дождь усилился. Тяжчик, промокший до костей и сильно проголодавшийся, подошел к Наде, растормошил ее и сердито сказал:

— Будет плакать. Грешно.

Она подняла голову.

— У меня, — продолжал тяжчик, — 40 рублей

его, Степана, на хранение сданные, лежат. Да еще две рубахи нижние, сподники, новый пиджак и портки. Идем. Я тебе сдам их.

Надя машинально встала и поплелась за ним, под дождем, в казарму. Получив все, она поехала сейчас же на кладбище.

Неуютно было на кладбище. Деревья стояли оголенные, на всех дорожках лежала грязь. Отыскав при помощи сторожа могилу дяди — разбухшую от дождя, — она упала на нее, как на подушку, обняла и зарыдала.

«Если что со мной случится, — вспомнила она слова дяди, — немедля поезжай в деревню. Здесь без меня тебе оставаться никак нельзя. Пропадешь. Не забудь».

И ей показалось, что она слышит опять его голос и эти самые слова. Точно он говорил из могилы.

«Да-да, — лепетала Надя. — Я не забуду. Я поеду».

И она встала с могилы с твердым намерением завтра же поехать в деревню, вырваться вон из смрадной кухни на родной Днестр. И она поехала бы, если бы не хозяйка ее и «Яшка-скакун».

Ах, этот Яшка-скакун! И зачем он подвернулся?!

II. Яшка-скакун

Яшка был смелый и ловкий скакун. Своей смелостью и ловкостью он ярко выделялся из сотен бесцветных толчковских, пересыпских и портовых скакунов и считался первым скакуном в Одессе.

Вскочить на задок экипажа, направляющегося в Овидиополь, в мгновение ока отрезать чемодан, стащить с телеги поросенка, клетку с квочками или цесарками, бочонок вина, свиту (кожух), мешок с ячменем, крынку с творогом, прыгнуть на рессоры быстро бегущих дрожек и вытащить из кармана ездока массаматам (кошелек) или бимбор с лентой (часы с цепочкой) так, чтобы тот не только не заметил, но и не почувствовал, было для него забавой и шуткой. Это давалось ему так же легко, как плюнуть.

Главной ареной его был толчок (толкучий рынок). Вот благодарная для всякого скакуна арена. Мимо толчка с утра до вечера, как молочные реки, текут из окрестных деревень в город и обратно телеги, нагруженные всяким добром, а на трех площадях его — на этих кисельных берегах, окруженных как бы громадами грязно-белых

скал — трехэтажными и четырехэтажными домами — вечно толчея, вечно пропасть всякого темного и наивного люда, объегорить которого и обобрать очень легко. И Яшка подвизался на этой арене с большим успехом, как артист, как величайший маг и фокусник.

Неслышно, как зефир, он перелетал от одного чужого кармана к другому и грациозно и легко, как стрекоза, перескакивал с воза на воз, тащил носовые платки, кошельки, хватал все, что приятно ласкало его глаз, сеял кругом плач, причитания, смех, возмущение и глубоко комические и вместе с тем глубоко драматические сцены.

Не угодно ли такую сцену? В море народа, зачернившего все улицы, все углы, острые и тупые, толчка, бурлящего и грохочущего, въезжает на своей телеге жлоб (мужик). На задке телеги под полуденным ярким солнцем жар-жаром горит красный сундучок, расписанный «пукетами» роз и позвякивающий своим новеньким английским секретным замочком. Сундучок сей — свадебный подарок его дочери-невесты.

— Но-но! Сторонись! — покрикивает жлоб и нахлестывает кнутовищем своих рыжих лошадок, тычущих в народ свои потные морды.

Народ, занятый рассматриванием покупаемых вещей — сапог, пиджаков, сорочек, гармоник, игрой в ремешки[10], медленно поднимает головы, с улыбкой оглядывает смешного мужика, похожего в своей свите, бараньей шапке, надвинутой на самые глаза, и круглой бороде на тюленя, и неохотно и вяло расступается. Мужик сердится и нервничает. Он проползет вместе со своей телегой и одрами аршин с четвертью и стоп. Потом — опять аршин с четвертью и опять стоп. И так без конца.

— Но-но! Сторонись! О, штоп вас, идолы! На дорогу стали! — ревет он, выведенный из терпенья, медведем.

Ругань его, рев и сердитое лицо вызывают в толпе раскатистый смех, шутки и остроты.

— Чего сердишься? Подумаешь, начальство, писарь или староста едет, — говорит ему спокойно и серьезно степенный барышник, как елка увешанный часами, цепочками и миниатюрными костяными брелоками, в которых можно увидать очень занимательные картинки — почтенную матрону, вылезающую из ванны, и девственницу без лифа с распущенными волосами.

---

[10] Примечания: 10
Воровская игра.

— Боже мой! Боже мой! — скулит жлоб. — Да как же, милый человек, не сердиться? Едешь, едешь, и никакого тебе удовольствия. Все на одном месте стоишь.

— Ну и постой. Эка беда, — по-прежнему спокойно замечает ему барышник.

— Э-ге-ге! — вмешивается в разговор бойкий паренек. — Тпру! Скажи, друг любезный, где ты этих лошадок достал? — и паренек останавливает за уздцы лошадей.

— Как где достал? Мои лошади.

— А не краденые!? Мишка! — орет на весь толчок паренек. — Трофима лошади, те самые, что у него прошлой зимой украли. Ей-Богу!

— Ну-у-у?! — откликается Мишка.

— Вотчепись (отвяжись), шарлатан! — ревет свирепо мужик и, как назойливую муху, отгоняет паренька кнутом.

Паренек, Мишка и несколько человек солдат заливаются.

Перебрасываясь такими фразами и комплиментами и огрызаясь, мужик, как в ладье, плывет в своей телеге по бурному толчковскому морю, дергает вожжи, помахивает кнутом, гребет-гребет и никак не может справиться с этим морем и новыми волнами в образе все прибывающего из

казарм и окраин люда.

— Но-но!

Он больше не ревет медведем, а хрипит. Вдруг над ухом его раздается насмешливый голос солдатика:

— Где твой сундучок, дяденька?

Дяденька поворачивает голову, и глаза его под бараньей шапкой выкругляются до крайних пределов. Черная туча оседает на его лицо.

Сундучка нет. Он исчез.

Жлоб всплескивает руками.

— Царица Небесная, — шепчут его губы.

— Вот он, твой сундучок! — раздается опять у него над ухом тот же голос.

Жлоб привстает, зажмуривается и смотрит в указанную сторону. Точно! Вот он, его сундучок. Подобно морской свинке, ныряет сундучок в море голов, плеч и рук. Он то появится высоко над головами, сверкнув своей красной спинкой, расписанной пукетами роз, то нырнет. Вверх, вниз! Вверх, вниз!

Упавший до хрипоты голос жлоба поднимается вдруг до соловьиного свиста, до свиста большефонтанской сирены и над толчковским морем пролетает потрясающее:

— Караул! Держите вора! Люди добрые! О-о-ой!

«Дзинь!» — звенят и дрожат, как струны, стекла в «Орле» над винной лавкой от этого вопля.

Весь толчок, как один человек, вздрагивает, поворачивает головы, и глазам его представляется такая картина: посреди улицы стоит телега, со всех сторон затертая человеческими волнами, а на телеге, вытянувшись во весь рост, с искаженным страданием и бешенством лицом — мужик и рвет на себе волосы. Тяжелая картина.

— Где он?! — раздаются возгласы.

— Вот, вот! Держи! Караул! Люди добрые! О-о-ой!

Жлоб соскакивает с телеги и, разрезая дюжими руками человеческие волны, устремляется вслед за ныряющим сундучком. Он разбивает себе нос, губы и брови о встречные локти и лбы, падает. Но он ничего этого не замечает. Все энергичнее и энергичнее работая руками, он не спускает горящих глаз с сундучка.

Расстояние все сокращается. Скоро, скоро сундучок будет в его руках.

— Лови! Держи его! — надрывает он грудь.

Но вот силы покидают его. Он опускает руки, останавливается, утирает выступившие на лбу и на носу кровь и пот, тусклыми глазами глядит, как родной сундучок его уносится все дальше и

дальше течением. Вот он сверкнул в последний раз на солнце своими пукетами роз, подразнил английским секретным замочком и канул.

Жлобу показалось, что вверх на поверхности голов всплыли пузыри. Конец!

Жлоб, для того чтобы не упасть, прислоняется к фонарю и озирается вокруг бессмысленными глазами, оглушаемый криками:

— Лимонный квас! Ква-ас! Копейка стакан!

— Господа кавалеры! Жареные семячки. Пожалуйте, г-н фельдфебель!

— Са-а-харное мороженое! малиновое, сливочное! Сам бы ел, да хозяин не велел.

— Хороший пиджак! Кому надо? Ну-у-у?!

— Часы с шестнадцатью камнями, без одной починки!

— Весьма и очинно занимательные книжки «о том, как солдат спас Петра Великого», «Смерть Ивана Ильича» и «Бог правду видит, да не скоро скажет», сочинение его сиятельства графа Льва Николаевича Толстого! За маленькие деньги большое удовольствие!

— Чего на ноги лезешь!? Кэ-эк двину в нюхало, юшкой красной обольешься. Черт!

Жлоб стоит-стоит, смотрит на всех, смотрит, да как хлопнется о землю, да как зальется горячими

слезами, да как завопит:

— Душегубы, грабители!

Народ пожимает плечами и никто, кроме бабы в ситцевой кофте, толстой, как сорокаведерная бочка, с корзиной семечек в руке, не скажет ему теплого слова.

— Ах, Боже мой, Боже мой! Ни за что человека обидели, — тянет, покачивая головой, баба. — И что они с ним, сердешным, мужичком милым сделали. И чего ты, родной мой, землячок милый, не смотришь в оба, когда едешь? Надо смотреть. Тут ведь у нас жульманов, чтоб им подохнуть всем, больше, чем ржи в мешке. А-ай! Батюшки! — взвизгивает вдруг баба.

Какой-то скачок (мальчишка-скакун), обидевшись за неодобрительную рецензию о своих старших коллегах и наставниках, крепко смазал бабу по уху и тотчас же как в землю провалился.

За чертой толчка в это время Яшка, наклонясь над знакомым сундучком с пукетами, разглядывает его со всех сторон, делает ему оценку и говорит приятелю — такому же скакуну, как и он, Сеньке Кривому:

— Как думаешь? Два рубля сундук поднимет (дадут за него)?

— Смело, — отвечает Сенька. — А внутри что?

Яшка откручивает английский секретный замок, откидывает крышку сундучка и озаряется улыбкой. На дне сундука лежит кусок нежно-розового ситца.

— И это рубль поднимет, — говорит Яшка.

— Смело, — соглашается Сенька.

— Айда в трактир!..

Теперь нарисуем другую сцену.

Прохоровская улица. Час ночи. Из городского театра возвращается молдаванский обыватель, любитель оперной музыки, и напевает:

«Ты-ы мо-о-я Аи-да-а…»

И вдруг, не окончив арии, растягивается от сильной затрещины на тротуаре.

Проходят добрые пять минут, пока он очухается и встанет на ноги. В ушах у него — звон, в шейных позвонках — ноющая, похожая на зубную боль.

— Кто это меня угостил? — спрашивает он себя и дико озирается по сторонам.

А вокруг — пусто, ни единой души. И тихо. Молчат — посыпанная мелким снежком мостовая, тротуары и дома, в которых чуть-чуть брезжит свет прикрученных ламп. Таинственно и лукаво мигают вверху звезды, тесно жмутся друг к дружке, точно им холодно, и как бы ведут нескончаемые беседы Бог весть о чем.

«Уж не почудилось ли мне, что кто-то треснул меня по шее?» — спрашивает он себя опять.

Недоумевая таким образом, он ощущает внезапно сильный холод в голове. Он стремительно подносит к голове руку и натыкается на свою превосходную лысину.

«А шапка где? Великолепная каракулевая шапка? Нет ли ее на земле?»

Он достает коробочку спичек, зажигает одну спичку, другую, третью, ползет по снегу, тыкаясь в него, как в крем, носом, шарит, ищет… Нет шапки. Он наконец догадывается, что сделался жертвой грабежа, набирает в грудь побольше воздуха и, как Баттистини, берет самую высокую ноту.

— Караул! Городовой!

— И чего он, Боже мой, тарарам (шум) делает? Зекс (молчи)! — недовольно ворчит в этот момент и передергивает плечами Яшка, пробираясь кошкой темными переулками и прижимая к своей пылкой груди, точно бароху (любовницу), только что сорванную каракулевую шапку…

Яшка положительно панику наводил на жлобов и запоздалых пешеходов. Но наибольшую панику он наводил на кухарок. Он был грозой их, устраивал на них облавы, для чего перекочевы-

вал на Привозную площадь и Новый и Старый базары и заставлял их плакать кровавыми слезами.

Не проходило и дня, чтобы он не обрабатывал нескольких кухарок. Несчастные кухарки! Когда-то они прятали самым спокойнейшим образом свои кошельки в карманы, в муфты, заточали их в кулаки, завязывали в носовые платочки, но потом, когда появился Яшка, они стали прятать кошельки за пазуху. Они думали, что здесь кошельки их — в безопасности. Но и отсюда их доставала всюду проникающая и пролезающая рука Яшки.

Стоит какая-нибудь Сима или Варя и покупает яйца. Торговка-еврейка клянется детьми и мужем, что меньше чем за четвертак уступить десятка яиц не может. Наконец сошлись.

— Кушайте на здоровье, — говорит торговка. — Дай Бог вам в будущем году быть самой хозяйкой и сидеть за столом рядом с мужем.

— Аминь! Мерси, — благодарит от искреннего девичьего сердца кухарка и расстегивает на груди кофту для того, чтобы достать кошелек.

Но ее, как галантный кавалер, до сих пор прятавшийся за ее спиной, предупреждает Яшка. Выждав этот торжественный момент, он глубоко

залезает к ней рукой за пазуху и, попутно щекотнув ее, извлекает на свет Божий теплый, как только что извлеченный из филипповской печи пончик, кошелек.

— Хи-хи-хи! А-ай! — взвизгивает от неожиданной щекотки кухарка.

«Кузька (жучок), должно быть, залез», — думает кухарка.

И она запускает руку для того, чтобы извлечь кошелек и «кузьку». Она шарит, шарит. Но что это? Ни кошелька, ни кузьки. Вот тебе и «хи, хи, хи»! Вот тебе и кузька.

— Ой, Боже мой! Мама моя родная! Кошелек вытащили!

Кухарка разливается, как река в половодье. Смотреть на нее жалко.

Ну и достанется же ей от хозяйки! Загрызет, из жалованья украденные деньги вычтет.

Как всегда, кухарку окружает толпа.

— Городового позвать бы, — говорит какая-то дама.

— Эх, матушка-барыня, — замечает ей высокий старик-мужик, привезший для продажи колбасу и окорока. — Знаете пословицу? Что с воза упало, то и пропало…

А поразительно ловкая шельма был Яшка. Сба-

тает (стащит) и как в землю провалится. Только что был тут и нет его. Он плейтовал (улетучивался), как заяц, как пар. И можете себе представить? За всю свою деятельность — он «работал» 15 лет, а от роду ему было 27, — он всего-навсего семь раз засыпался (поймался). Семь раз, в то время, когда иной косолапый скакун «засыпается» по два и по три раза в неделю.

Засыпавшись, Яшка один раз сидел в тюрьме, а в остальные был бит.

Вот так субъект! Иной сеет, пашет, служит молебствия, и нет ему от Господа Бога милости, нет ему урожая. А Яшка, хотя и не сеял, не пахал и не молился, постоянно собирал жатву. Он собирал ее на похоронах, на воинских парадах, на паперти, во время венчания, на пристани, во время перенесения на пароход чудотворной иконы, и постоянно возвращался домой с карманами, нагруженными дамскими и мужскими часами, цепочками, брелоками, декадентскими зеркальцами, лорнетами, перочинными ножичками и кошельками.

По природе Яшка был злой и бессердечный, иначе он не обирал бы бедных жлобов и кухарок. У него в кармане постоянно лежал страшный финский нож и 10-фунтовый кастет с восьми-

гранными «пупочками», и он без счета поставлял в городскую и еврейскую больницы клиентов с распоротыми животами и проломанными головами.

Ткнуть кого-нибудь ножом в живот было для него то же самое, что ткнуть им в именинный пирог. А посему он тыкал нож в обывательский пирог, сиречь живот, очень и очень часто. Иногда даже из-за пустяка.

Стоило кому-нибудь задеть его словом или наступить ему на мозоль и… готово. Подбирай выпущенные на свет Божий кишки, сальник, печень, зови извозчика и поезжай в больницу.

В районах толчка, Пересыпи, Привозной площади, Нового базара и порта можно было насчитать человек 60, гулявших по его милости с зашитыми животами.

Но чаще всего Яшка пускал в ход камень. Перефразировав слова великого полководца фельдмаршала Суворова, он мог бы сказать:

— Нож — дура, камень — молодец.

Он в этом убедился.

— Ж-живот, — говаривал он, — если сделать в нем надрез, можно зашить так же легко, как прореху в кофте или брюках, а голову, ежели треснуть по ней хорошенько камнем, с размаху,

так же легко, как прореху в кофте, зашить нельзя. Шалишь!

Когда Яшка нападал на кого-нибудь в переулке, он никогда не церемонился. Не церемонился по той простой причине, что был чужд рыцарского духа и никогда не предлагал:

— Кошелек или жизнь.

К чему этот пустой вопрос? Он прекрасно понимал, что никто не отдаст ему добровольно ни кошелька, ни жизни, так как и то и другое припертому им к стене индивидууму одинаково дорого. И он всегда начинал с того, что сразу оглушал индивидуума камнем, парализовал его язык, находчивость, силу сопротивления и способность канючить, чего больше всего боялся Яшка. Как же! Начнет он канючить, молить, упрашивать, плакать, и Яшка, чего доброго, не выдержит, сам расплачется и скажет ему:

— Ангел мой. Ступай с миром, и да хранит тебя Бог. Вот тебе на дорогу двугривенный. Как пройдешь этот переулок и увидишь ночного сторожа, попроси его, чтобы он задержал меня и в участок представил.

«Ха-ха-ха!» — смеялся частенько Яшка, рисуя себе такую сентиментальную картину.

Оглушив индивидуума, Яшка проделывал

обычную операцию. Снимал с него клифт (пальто), кашне, пиджак, галстук, жилет, колеса (ботинки) вместе с галошами, а иногда, если физиономия субъекта не приходилась ему по вкусу, если она была слишком розова и отягчена жиром, снимал и кальсоны.

Яшка был не только злой, но и мстительный. Можно было думать, что в жилах его течет кровь кабардинца, а не «посметюшки»-Женьки — матери его, родившей его в чудную звездную ночь на Косарке, в стружках под навесом.

У Яшки была любопытная записная книжка, куда он вносил карикатурными буквами фамилии и адреса тех, которым ему предстояло отомстить. И горе было тому, кто попадал в эту книжку. Вот некоторые записи его:

«Дворник Семен Иванов. Дом № 45, такая-то улица».

«Исаак Шпрингер. Приказчик. Магазин обуви. Такой-то дом, такая-то улица».

«Ночной сторож, бляха такая-то».

Господа эти в разное время хотели погубить его. Они выдали его и задержали.

В конце книжки у него было десять страничек, исписанных разными фамилиями и перечеркнутых синим карандашом. С этими господами он

давно свел счеты.

Часть их ходит теперь с зашитыми животами, часть с отбитыми легкими, а часть мирно покоится под превосходными памятниками на Новом и Старом кладбищах. Да будет земля им пухом.

Среди отправленных Яшкой туда, «где нет воздыханий и слез», значилась фамилия Семена Борухова. Борухов был музыкантом, давал уроки и содержал большую семью. Однажды, проходя мимо толчка, он увидал, как Яшка стащил с воза кожух.

— Эй! Дядька! — крикнул он мужику.

И только.

Мужик обернулся и погнался за Яшкой. Яшка бросил кожух и крикнул музыканту:

— Попомнишь меня.

Два месяца следил за ним Яшка, выследил и подколол…

Яшка, когда попадался, то получал должное.

Всем, конечно, известно, что бить вора для толпы составляет большое удовольствие. Ради этого удовольствия она готова отказаться от лучшего десерта. Раззудить плечо, размахнуть руку и задвинуть в зубы или в переносицу скрученному по рукам вору так, чтобы тот кровью залился, — это такой десерт для нее, такой десерт. И каждый по-

этому прикладывал кто руку, а кто ногу к Яшке.

Впрочем, Яшка не очень-то этим огорчался. Он принимал побои с философским спокойствием, точно желая сказать:

«Не всегда коту масляница. Делать нечего, коли «засыпался». Бейте».

И он надвигал на лицо картуз, давая этим понять, что почтенные джентльмены могут ссадить его кулаками куда им угодно, куда им приятнее и более всего нравится — в бок, в живот, в «сердце», промеж лопаток. Но только не трогать лица. Он хотел, чтобы оно оставалось для них священным. Он не кричал и только запоминал всех тех, кто особенно старался, для того чтобы в ближайшем будущем воздать им сторицей.

Другой после такой экзекуции остался бы на месте, душу бы отдал Богу, а Яшка — ничего. Он оставался жив и невредим и производил впечатление человека, который только что вышел из бани, где час провалялся на седьмой полке и парился веником до бесчувствия.

О том, как легко он переносил всякие побои, рассказывали целые легенды. Просто не верилось.

Однажды в полночь Яшка забрался во двор, где под звездным небом на земле спала артель

каменщиков из 70 человек, и стал шарить. Кто-то проснулся и завопил:

— Братцы, вор!

Все, как крепко ни спали, проснулись, вскочили и окружили Яшку.

— А! Вор! Попался! Бей его! — загудела артель.

И на Яшку обрушились 70 пар кулаков-молотов. Яшку с первых же кулаков сбили с ног, и артель, как муравьи, накрыла его. Каменщики топтали его, душили. Четверть часа продолжалось это безобразие. Один из каменщиков даже упарился, а другой руку себе вывихнул.

На шум и крики не столько Яшки, сколько озверевших каменщиков, прибежали дворник, городовой, ночной сторож, жильцы дома и домовладелец.

— Что вы делаете?! Человека убиваете?! — крикнул домовладелец.

Каменщики опомнились, перестали бить Яшку и посмотрели на него. Он лежал без движения, весь в крови, смятый, скомканный.

— Шабаш, — сказал бородатый каменщик и отошел прочь.

Товарищи последовали его примеру.

Яшку отправили в больницу.

Прошло с этого вечера 10 дней. Эта самая ар-

тель каменщиков сидела у себя на квартире и хлебала щи.

— А угадайте, братцы, кого я нынче видел? — вдруг проговорил со смехом молодой каменщик.

— Кого? — спросило несколько голосов.

— Чудеса! Того вора, что мы били.

— Врешь.

Все были уверены, что после их побоев Яшка отдал Богу душу.

— Лопнуть моим глазам, если вру. Иду сегодня мимо толчка и вижу его. Стоит и продает свиту.

— Что же это, братцы? Стало быть, мало мы его били?

— Зачем мало. В самую пропорцию. Только сколько вора не бей, ему — ничего. С него, как с гуся вода.

III. Скакун «свежает»

Три страсти были у скакуна Яшки. Страсть к женщинам, кутежам и всякого рода зрелищам.

Но страсть к кутежам брала у него верх над остальными. Чтобы хорошенько покутить или «посвежать», задать шику и форсу, он готов был душу заложить дьяволу.

И надо отдать ему справедливость. Так «свежать», так задавать форсу, как он, не умел ни один скакун.

К форсу Яшка готовился иногда за полгода. Он чуть ли не каждый день носил в сберегательную кассу то рубль, то трехрублевку, и, когда в кассе накоплялось 200–300 рублей, он говорил, баста, получал их и начинал свежать.

Перво-наперво он отправлялся в баню, потом в цирюльню, а из цирюльни — по магазинам. И смотришь, наш Яшка, вчера только щеголявший в облезлой барашковой шапке, куцем пиджаке и тонких, как паутина, штанишках, шествует по толчку — бароном.

На нем — новый нараспашку клифт (пальто) с каракулевым воротником, кашне, новенький шевиотовый костюм с окошечками (клетками),

хороший бимбор (часы), лакированные колеса (ботинки) на высоких каблуках — идеал всех скакунов, галоши С.-Петербургской резиновой мануфактуры, перчатки, прекрасный картуз с блестящим, как зеркало, козырьком и ремешком с двумя медными по бокам пуговками, на носу — пенсне, в правой руке — зонтик, а в левой… лорнет. И несет от него за два квартала духами «Под чарующей лаской твоею» или, по его выражению, «дорогу, Яшка идет».

Целый флакон духов он на себя вылил.

Яшка шествует и важно в лорнет разглядывает почтенную толчковскую публику.

Посреди мостовой стоит мент (постовой) — жирный, мрачный, с орлиным носом над аршинными усами и вокруг себя зорким оком посматривает. И от ока его, как перепела во ржи, хоронятся в многотысячной толпе: поджарые скакуны, скачки, блатные и блотики (воры и воришки).

В другое время Яшка благоразумно обошел бы строгого мента за два квартала. Подальше от греха, потому что, чего доброго, мент возьмет и сцапает или огреет селедкой (резиной):

«Нечего, дескать, шляться тебе тут без надобности».

Но теперь Яшка чувствует особый прилив смелости. Ему море — по колено, и его тянет к менту, как ключ к магниту, как мотылька на свет лампы. И Яшка демонстративно проходит мимо мента, даже чуть-чуть задевает его боком и, по-солдатскому козырнув ему, бросает с наиприятнейшей на устах улыбкой:

— Доброго здоровья, дяденька.

Дяденька только глаза выпучивает на скакуна. Он ничего не находит, что ответить, так как наповал сражен его дерзостью и нахальством.

Яшка же, не интересуясь больше ментом, продолжает свое шествие. Он залезает в самую гущу толчка и демонстрирует себя перед толчковскими барышниками, шулерами и товарищами-скакунами. Человек сорок окружает его и осыпает восклицаниями:

— Яшка! Друг золотой, товарищ!

— Могарыч с тебя!

— А клифт твой — первый сорт. 20 рублей поднимет (за него дадут).

— Какой ты важный! Поддержи меня, а то я в обморок упаду!

Яшка улыбается. Ему приятно быть центром всеобщего внимания.

Показавшись толчку, он идет показать себя

Привозной площади, потом «веселому Карантину» и Пересыпи. И везде среди своей братии он слышит приветствия и встречает восторг и восхищение. Везде трубят, как о важном событии:

— Яшка свежает!

Показавшись товарищам, Яшка показывается свету. Он хочет, чтобы все видали его и восхищались им.

Он появляется на одной из улиц Молдаванки[11].

Появление его производит фурор. По обеим сторонам улицы со стуком и звоном распахиваются окна и двери и высовываются наружу мужские и женские головы.

— Маня! Скорее, скорее! Посмотри-ка! — зовет звонким голосом, высунувшись наполовину из окна, молдаванская красавица с нечесаными волосами и в расстегнутой кофточке.

— Что случилось?! — И Маня с компрессом на голове, в сорочке и белой юбке, подскакивает к окну.

Она посмотрела и прыснула. Прыснул и заливается vis-a-vis на пороге своей цирюльни армянин-цирюльник с большой курчавой голо-

---

[11] Примечания: 11
Окраина Одессы.

вой, в которой торчит гребень.

Вон, заслышав смех и шум, выскочили на улицу из погреба, над которым висит заржавелая вывеска «Бубличное завидение», пять пекарей-бубличников, из кузни — кузнец с молотом в руке и в кожаном переднике, из бакалейной лавочки — растрепанная еврейка, из подъезда трехэтажного дома с цинковым куполом и алебастровой Венерой без носа — смазливая горничная. И все переглядываются, заливаются и пожирают глазами странную процессию.

Посреди мостовой медленно, как во время похорон, подпрыгивая на новеньких резинах, движется просторный наемный экипаж.

На козлах сидит и правит двумя красивыми воронымы толстый кучер. А в экипаже — Яшка.

Развалившись и важно заложив ногу за ногу, без пальто, он посасывает сигару и каждые две-три минуты подносит к носу лорнет. А позади него подвигаются так же медленно трое дрожек с ухмыляющимися «ваньками».

Дрожки и экипаж «зафрахтованы» Яшкой на полдня.

На первых дрожках, на сиденье, лежит аккуратно сложенное вчетверо его пальто, на других — галоши, а на третьих — зонтик.

За дрожками и экипажем, по бокам их и впереди, бегут с гиканьем, свистом и криком «ура» стаи босоногих и хвостатых мальчишек. Кругом — шум, крик, смех, визг, ухмыляющиеся во весь рот физиономии. А Яшка как будто ничего не слышит и не видит. Он преспокойно посасывает сигару, посматривает в лорнет и время от времени сооружает из трех пальцев великолепную фигу и показывает ее какому-нибудь дворнику или молдаванскому обывателю, нелестно отозвавшемуся о нем.

Экипаж поравнялся с трактиром.

— Стой! — крикнул Яшка кучеру.

Экипаж остановился.

Яшка не спеша вылез из экипажа. Одновременно из трактира выскочил к нему с поклоном «каштан» (мальчик-половой).

— Подай пальто и галоши, — приказал ему Яшка.

Каштан метнулся от него к дрожкам, потом от дрожек к нему и стал натягивать на него пальто.

Тем временем мальчишки, бежавшие за экипажем, окружили Яшку, как волченята, и уставились в него жадными глазами.

— Ну! Чего не видали?! На-те! — крикнул на них притворно-сердитым голосом Яшка.

С этими словами он залез правой рукой в карман, достал одну за другою две горсти каленых орешек пополам с черным изюмом, несколько папирос, 20 копеек медью и швырнул все это в мальчишек. Мальчишки загалдели, смешались в кучу, упали на землю и, барахтаясь и угощая друг друга кулаками, стали подбирать.

— Прикажете ждать-с? — спросил, не моргнув глазом, кучер в белых перчатках.

— Да, — ответил Яшка.

— И нам-с? — спросили в один голос, приложившись руками к своим помятым шляпам, все три ваньки.

— И вам. — И Яшка под предводительством каштана, несшего за ним его галоши и зонтик, направился к трактиру.

Каштан распахнул перед ним дверь с таким шиком, как придворный лакей перед маркизом.

— «Марусю»! — громко крикнул Яшка, перешагнув через порог.

Это относилось к худому скелетоподобному машинисту, евшему вместе со швейцаром борщ. Как только машинист услышал знакомый голос, он бросил ложку, вскочил как ошпаренный, поправил рыжие, смоченные борщом усы, поправил на животе грязную рубашку и весело гаркнул:

— Сей момент-с!

Машинист после этого бросился к машине с лесом медных блестящих, как золото, труб, посреди которых стоял манекен — деревянный раскрашенный кавалергард с высоко занесенной над каской капельмейстерской палочкой, — и стал вправлять в нее валик.

Яшка оглянул трактир и остался весьма доволен. Трактир был полон.

Яшка попал как раз в обед. За маленькими столиками с грязными красными скатертями, уставленными чайниками и стаканами, в облаках пара, сидели тесно — плечом к плечу и спиной к спине — каменщики, столяры, штукатуры, биндюжники, пекари и фабричные мастеровые. Пекари в своих белых костюмах выделялись на черном и сером фоне остальной публики наподобие белых хризантем.

От говора, смеха и звона посуды стоял гул. Громкий голос Яшки заставил многих поднять головы, и кто-то воскликнул:

— А! Яшка свежает!

Чуткое ухо Яшки уловило это восклицание, и на губах у него показалась довольная улыбка. Он был польщен. Так же польщен, как актер, писатель, музыкант, художник, как всякий артист,

услышав свое имя. А ведь он в своей сфере и среди своей братии также считался артистом.

Яшка гордо закинул голову, выставил грудь и пошел к машине.

Когда он проходил мимо буфета, буфетчик первый поздоровался с ним и крикнул:

— Мишка!

Буфетчик откомандировал в распоряжение Яшки самого расторопного и бойкого каштана.

— Что прикажете?! — подлетел к Яшке Мишка.

— Два стола и три дюжины «пильзенского» возле машины! Понял?

— Понял-с! Слушаю!

В это время за стеклом машины блеснули молнией и быстро завертелись два коротких медных крыла, кавалергард, стоявший в лесу медных труб, мотнул головой и взмахнул палочкой, и навстречу Яшке поплыли звуки «Маруси»:

О-ой не-е пла-ачь, Ма-а-ру-у-ся,
Б-б-у-де-ешь ты-и мо-о-я!..

Мишка недаром считался самым расторопным и бойким каштаном в трактире. Он вмиг сдвинул в двух шагах от машины два стола, накрыл их красной скатертью и уставил тридцатью шестью бутылками пива.

Столы сделались похожими на щетки из бутылочных горлышек.

Публика с презрением, хотя и с любопытством смотрела на Яшку и на столы. Она заранее знала, что будет, так как Яшка гулял на их глазах не первый раз, и громко, на весь трактир, отпускала по его адресу оскорбительные эпитеты и замечания. Больше всех отличалась компания из четырех литейщиков.

— Ишь, скакун, вор! Накрал и разоряется.

— Ваня! Хочешь в рай попасть? Наложи ему в шею.

— Ему жалко, что печенки у него еще не отбиты.

Яшка все слышал, но не обращал ни на что и ни на кого внимания. Он прекрасно знал, что друзей среди этой рабочей публики у него нет, что все — враги и готовы съесть его.

Яшка расстегнул пальто, откашлялся и скомандовал Мишке:

— Раскупорь бутылку!

Мишка живо раскупорил одну из тридцати шести бутылок и поднес Яшке.

Яшка прильнул к ней губами, запрокинул ее вместе с головой и медленно и без передышки стал тянуть пиво. Вытянув пиво до последней

капли, Яшка отшвырнул бутылку в сторону, мутным и тяжелым взглядом обвел публику и сказал машинисту:

— «Калараш».

Трактир зашипел, загудел, засвистел, и на Яшку опять посыпались оскорбления.

— Сейчас вор ломаться будет! — крикнул на весь трактир рыжий широкогрудый литейщик из компании четырех, с бронзовой физиономией и зелеными глазами.

Он угадал.

Как только машина затянула популярный на одесских окраинах «калараш», Яшка стал ломаться. Он разводил руками, переминался с ноги на ногу, нахлобучивал на глаза картуз, вздымал мутные глаза и руки к небу и пожимался, как кот, которого чесали за ухом, причем по лицу его блуждала счастливая улыбка. Он точно находился на вершине блаженства и пьяным тенорком подтягивал:

— Ой ка-а-ла-а-раш, ка-а-а-ла-а-раш…

Яшка ломался, а публика продолжала гудеть, шипеть и издеваться:

— Скажите, пожалуйста!

— Эй, вор! Не ломайся, а то сломаешься!

— Сколько свит (кожухов) украл сегодня?

— Боже мой, как это красиво!

— Удержись!

— Апчхи, апчхи! — как из пушки стрелял носом один извозчик.

И над всем этим шипеньем и издевательствами царил звонкий, как металл, смех красивой мешочницы из джутовой фабрики. Стройная, пухлая, в тесной розовой кофте с короткими рукавами, в бордо-платье и с кучей светлых волос над круглым румяным лицом, с большими серыми глазами, она смеялась в лицо Яшке. Но он, как и прежде, ни на что и ни на кого не обращал внимания. Точно вокруг него никого не было.

Он все еще находился на вершине блаженства, витал где-то высоко-высоко над грешной землей, продолжал ломаться и тянуть:

— Ой ка-а-а-лараш, ка-а-лараш…

Но вот блестящий кавалергард, заблудившийся в лесу труб, в машине, замер вместе со своей палочкой в глупейшую позу манекена, и «божественная» музыка умолкла.

Яшка перестал ломаться.

Теперь настал самый торжественный момент. Яшка сделал серьезное лицо, точно собирался решить один из важнейших мировых вопросов, решительно подошел к столам с пивом, нава-

лился на них животом, наддал, и столы вместе с бутылками с оглушительным звоном и грохотом полетели на пол.

Получилась отвратительная картина. На полу валялась куча битого стекла и стояла отвратительная лужа грязного пива.

Вон, во все стороны, смешавшись с окурками, спичками и шелухой семечек, побежали коричневые ручьи.

Публика зароптала, как лес в непогоду.

— Что, он с ума сошел?! — воскликнула красивая мешочница.

Она теперь не смеялась, а с сердитым и озабоченным лицом подбирала выше колен свое бордо-платье. Она боялась, чтобы оно не испачкалось пивом.

Совершив этот подвиг, Яшка победоносно оглядывал публику и как бы ждал награды и поощрения.

«Вот, мол, какие мы. Вот как свежает Яшка», — говорили его мутные глаза.

Но напрасно он ждал награды и поощрения. Все, напротив, были возмущены его цинизмом больше прежнего, и у всех сжимались кулаки. Им всем — этим честным рабочим, каждый грош добывающим кровью и потом, — претило подоб-

ное бессмысленное транжирование денег.

За столом, за которым сидели литейщики, произошло движение. Упомянутый рыжий, широкогрудый литейщик засучил на своей могучей руке рукав и стремительно встал из-за стола. Лицо его пылало, как горн, зеленые глаза метали искры, и весь он дрожал, как наковальня под ударами молота. Он хотел проучить скакуна, показать ему, как смеяться над честным рабочим. Но товарищи не пускали его. Они окружили его, держали за плечи и руки и твердили:

— Оставь.

— Плюнь.

— Не заводись.

Сценка эта обратила на себя внимание всего трактира, и все теперь перевели глаза с Яшки на богатыря-литейщика, который рвался из объятий своих товарищей, гремел по столу громадным кулаком и кричал, задыхаясь:

— Пусти! Пусти, говорят! Я покажу ему, как смеяться над честными людьми. Я научу его уважать копейку. Я ребра переломаю ему, голову разобью, нос откушу.

И литейщик скрипел своими белыми здоровыми зубами, точно прокусывал нос скакуну. Но товарищи по-прежнему крепко держали его и

не пускали.

— И охота тебе с каждой грязью связываться, — урезонивали они его.

Литейщик мало-помалу успокоился, остыл и согласился с товарищами:

— Правда ваша. Не стоит с такой грязью связываться. Руки испачкаешь. А жаль.

Он медленно откатил рукав, рухнул на стул и сел спиной к машине, чтобы не видать Яшки и безобразной картины — кучи стекла и грязного пива, залившего весь пол трактира.

В то время как публика, глядя на эту сцену, выказывала волнение и беспокойство, Яшка казался спокойным. Только частое подергивание мускулов его желтого скуластого лица и дрожание губ и рук выдавали его волнение.

Он видел, как поднялся литейщик, видел, как он рвется к нему с угрозой. Но он не сдрейфил (не струсил). Он не двигался с места, ждал, чтобы тот подошел к нему, вызывающе смотрел на него и в ожидании перебирал в кармане пальцами правой руки острую сталь финского ножа.

Лицо у него было злое, холодное и говорило:

«Подойди только. Будешь доволен».

И он глазами выискивал в крупной фигуре литейщика подходящее место, куда ткнуть нож.

Самым подходящим местом, по его мнению, была широкая, обложенная толстым слоем жира грудь.

Но когда литейщик сел, холодное и злое лицо Яшки сделалось торжествующим.

«Что? Не стоит связываться с грязью? Сдрейфил? Знаю», — говорило теперь его лицо.

Яшка перестал играть ножом, велел машинисту играть «Марусю» и опять оглянул публику.

Оглянул и усмехнулся.

— Боже мой, Боже мой, какие мы сердитые, — проговорил он вполголоса и комично всплеснул руками.

Кругом, точно раззадоренные петухи, готовые каждую секунду броситься на него, сидели за столиками люди.

Яшка стал заигрывать с ними. Так заигрывает на арене тореадор с быком.

В десяти шагах от Яшки сидел коренастый биндюжник с серьгой в ухе и пил чай. Пил и, видимо, боролся с собою:

«Подойти к скакуну и дать ему в ухо или не подойти?»

Яшка нахально уставился в него, и биндюжник прочитал в его глазах:

«А вот не подойдешь. Духу у тебя не хватит».

И действительно, у биндюжника духу не хватило. Да у кого духу хватит связаться со скакуном? Он человек — отчаянный. Ему, что грош, что чужая жизнь — все единственно. Тюрьма — дом его отчий.

Игра эта захватила Яшку, и он продолжал ее.

— На, съешь! Рррр! — крикнул он громко биндюжнику и показал ему внушительную фигу.

И биндюжник преспокойно съел ее.

А Яшка страсть как любил подразнить трактирную публику и посмеяться над ее бессилием. В этом была вся соль его форса.

Этот трактир напоминал пасть льва, куда Яшка, подобно укротителю, смело вкладывал голову.

Но горе тому, кто осмелился бы тронуть его. Вся злоба, которая накопилась у него годами на эту честную публику, заклеймившую его вором, проснулась бы, как тигр, разбуженный стрелой.

Питать злобу и ненависть ко всем Яшка стал еще в детстве. Рожденный в стружках, под навесом на Косарке[12] несчастной женщиной, задавленной нуждой, и потом брошенный на площадь, он, как щенок в осеннюю ночь, увивался за всеми и молил ласки. Но никто не замечал

---

[12] Примечания: 12
Площадь, где собирается пришлый люд.

его, и он рос одинокий, никому не нужный, терпя голод, холод, и вместе с ним росла в его детской груди мучительная злоба. Злоба на весь мир, на всех…

Машина тянула плакучую, душу выворачивающую «Марусю», и под звуки ее эта накопленная им годами злоба просыпалась и росла, как зарево над горящим лесом.

О, если бы он мог сжечь сейчас своим дыханием всю эту ненавистную публику, если бы он мог обрушить на нее потолок!

Яшка машинально полез в карман, где лежал нож, посмотрел горящими глазами в упор публике и хрипло засмеялся.

«Чего же вы сидите, честные люди, как идолы, и не подходите? Трусы!» — хотел он сказать своим смехом.

Когда он нащупал нож, легкая дрожь пробежала по его телу. С каким наслаждением он вонзил бы сейчас в кого-нибудь нож по самую рукоятку и несколько раз повернул бы его.

«И чего он не подошел?» — простонал Яшка и с сожалением посмотрел на обидно сидевшего спиной к нему литейщика.

Натешившись и разозлив до крайних пределов публику, Яшка расплатился за разбитые бутылки

золотом, щедро одарил машиниста, Мишку и, провожаемый последним до экипажа, оставил трактир.

Яшка сел в экипаж и поехал дальше. За ним по-прежнему потянулись со своими дрожками ваньки и понеслись с гиканьем и свистом стада хвостатых и босоногих мальчишек.

Вечером этого дня он сидел в жалком трактирчике пьяный, без пальто, без кашне, часов, галош, лакированных ботинок и лорнета. Все было прокучено, и вместо всего этого на нем были его знакомый старый пиджачок и тонкие, как паутина, штанишки. Он сидел в кругу товарищей и хвастал:

— А как я свежал нынче. Боже мой, Боже мой. Понимаешь? Тут тебе машина «калараш» играет, тут тебе жлобы (дураки) сидят злые такие, «чахотка и болесть берет их», а тут — столы с пивом. А я как возьму столы и опрокину их. Бутылки дзинь! На полу — целый ставок пива. И никто не смей слова сказать. Зекс (не тронь)! Потому что за все массаматам отвечает (кошелек платит). Вот так жисть. Умирать не стоит.

— Молодец, Яшка! — смеялись товарищи…

Таков был Яшка.

И с этим Яшкой столкнула насмешница-судьба

Надю.

IV. Прощай, Днестр

Надя, придя домой на кухню с кладбища, стала торопливо, точно кто-то гнал ее в шею, — она даже не разделась, — снимать со стен свои расшитые полотенца, образки, лубочные картинки и совать их в сундук.

Вошла хозяйка.

— Ты что делаешь? — спросила она.

— Ухожу от вас, — тихо ответила Надя.

— Что-о-о? — удивилась та.

Сюрприз этот был для хозяйки неожиданный.

Надя перестала возиться с полотенцами и образками, повернулась к хозяйке, тяжело опустилась перед нею на табурет и глубоко вздохнула.

Хозяйка широко раскрыла глаза и всплеснула руками. Надя была неузнаваема. Лицо ее было бледное, глаза и веки красные, опухшие, волосы мокрые и растрепанные, платье грязное и вся фигура — жалкая, скомканная.

— Где была? Что случилось? — спросила хозяйка.

— На кладбище… Дядя Степан помер.

Надя прикусила губу, чтобы не разрыдаться. Но это не помогло ей. Слезы прорвались, как вода

через плотину, и вся фигура Нади затрепетала и забилась, как в лихорадке.

Хозяйка подошла к ней, положила на ее голову руку и стала успокаивать:

— Что делать, милочка. Все под Богом ходим. Все смертны. И наш час придет.

Надя с трудом успокоилась. Утерев рукавом последнюю слезинку, она снова подошла к сундуку и стала перекладывать платья. Хозяйка нахмурилась и сказала:

— Чего ж тебе уходить? Ну, дядя умер. Что ж такое?

Хозяйка и думать не хотела об уходе Нади. Надя была для нее — сущий клад. Она была «за все». Стирала белье, гладила, мыла полы, варила, пекла, детей нянчила. Чего только она не делала! При этом она была безответна, как пень.

Ты ее и «дурой» и «дрянью», чем угодно обзывай, а она тебе — ни слова. Точно воды в рот набрала. И за все эти таланты получала 4 рубля.

— Чего ж тебе уходить? — повторяла, хмурясь сильнее, хозяйка.

Надя посмотрела на нее грустными глазами и ответила:

— Дядя при жизни наказывал уйти отсюда. «Если что со мной случится, — говорил он, —

немедля поезжай в деревню. Здесь без меня тебе оставаться никак нельзя. Пропадешь».

— Глупости… Оставайся.

— Н-не могу. Завтра еду.

Хозяйку вдруг взорвало, как пороховой погреб, и из мягкой и ласковой она превратилась в мегеру. Она покраснела до ушей, топнула ногой и раскричалась:

— А я тебя не пущу! Ах ты, скотина! Держала я тебя все время из жалости. Приехала ты из деревни дурой. Юбки нижней накрахмалить не умела. Что такое шнельклопс и бифштекс, не знала. Я, я всему тебя научила. Гладить, стирать, варить, жарить. Ты, по-настоящему, должна мне быть благодарна. Руки и ноги целовать. А ты вот научилась и теперь бросаешь меня. Я знаю. У тебя другая служба. Кто-то сманил тебя. Кто — говори!? Не эта ли кривая, Соколова, — учительница несчастная!? Она давно сманивала тебя. Полтинником лишним соблазняла. И чем она кормить тебя будет? Самой жрать нечего. Дядя твой умер? Не верю я тебе, не верю, не верю! Выдумала. Все вы, деревенские, выдумываете. Одна выдумывает, что замуж выходит, другая, что мать домой требует. А сколько шкоды ты мне наделала за то время, что служишь?! Каждый день у тебя то ста-

кан лопнет, то ламповое стеклышко, то тарелка разобьется, то керосин вытечет. Позавчера только новый абажур разбила. Если бы я хотела подать на тебя в суд, то 50 рублей содрала бы с тебя. Неблагодарная ты! Где я сейчас, скажи, служанку найду? Послужи еще неделю, пока другую найду, а потом ступай на все четыре стороны. К черту даже. Счастье, подумаешь, какое. Таких, как ты, тысячу можно найти. Мало вас по справочным конторам и базарам шляется!

Надя, как только хозяйка разразилась бранью, присела на край сундука и с изумлением слушала ее. Но вот она вспомнила Днестр и озарилась счастливой улыбкой.

Вот он, ее родной Днестр, вот она, родная деревня — дорогие Рокусоляны!

Ясный день. Деревня вместе с ее синими-синими хатами, как в зеркало, глядится в сверкающий и колыхающийся Днестр и, кажется, плывет. Вон плывет вместе с садиком дом Петра, рядом с ним — дом солдатки Насти, и позади них — дом старосты Николая. Плывет на манер паруса и белая церковь с лучистым крестом, где ее крестили. Возле церкви стоит в старом своем подряснике батюшка и, защитив глаза от солнца ладонью, смотрит на Днестр. Он, должно быть, ищет гла-

зами своих шалунов Васю и Мишу. Они с утра кружатся на воде в своей скорлупе-шлюпке и пугают уток.

— Кра-а, кра-а!

Над деревней протянулась стая уток.

Вот прилетел с моря ветерок, зарябил воду и принес струю морского воздуха.

— Кра-а-а, кра-а-а!

Над деревней опять протянулась стая уток.

Надя встрепенулась, как птица, выпущенная из клетки, и расправила свою скомканную и согбенную фигуру, как бы готовясь взлететь кверху и пристать к славным уткам, не признающим неволи. Лицо ее озарилось новой счастливой улыбкой и покрылось густой краской. Красивые ноздри раздулись, глаза заблестели.

Вдруг взгляд ее упал на хозяйку. Улыбка и краска моментально исчезли с ее лица, и Надя по-прежнему скомкалась.

Дикая утка, дочь Днестра и плавень притаилась перед этой злой женщиной, как перед охотником.

— Уйдешь?! Как же! Я сундук твой и документ задержу. Ты украла у меня серебряную ложечку. Дрянь, паскуда! — орала хозяйка.

Надя почувствовала сильную боль. Ей казалось,

что изо рта хозяйки вылетают не слова, а пули и впиваются в ее сердце и рвут его на части.

Наругавшись вдоволь, хозяйка плюнула, удрала к себе в комнату и захлопнула за собой двери с оглушительным треском.

Надя несколько минут просидела без движения, потом оглянула тесную, грязную и душную кухню, скомкалась сильнее и снова залилась слезами.

Инцидент этот окончился тем, что Надя осталась на несколько дней, до тех пор, пока хозяйка подыщет себе новую прислугу.

Тяжело было Наде оставаться. Она рвалась домой. Но что было делать? Так уж устроено в жизни, что мы — не господа самим себе и что кто хочет, тот может помыкать нами и распоряжаться, как игрушкой.

Ночь после ссоры с хозяйкой Надя спала плохо. Сны один страшнее другого терзали ее. То ей снилось, что она босой, разбитой и израненной старушонкой, с клюкой возвращается в Рокусоляны и все рокусолянцы указывают на нее пальцами и смеются. То ей снилось, что она лежит на берегу Днестра в плавнях и ее клюют и рвут на части дикие утки, то ей снилось, что она спускается в каменоломню, в глубокий коло-

дезь, затерянный в степи, над которой в воздухе ткут фантастичную ткань полчища хищных ястребов.

Вот она спустилась в колодезь и, согнувшись, лезет в черную дыру, похожую на пасть чудовища, и с замиранием сердца и с дрожью во всех членах идет по длинным темным галереям. По дороге она натыкается на отвратительных жаб, нащупывает рукой на осклизлых и мшистых стенах мокриц и пауков и с криком отдергивает руку.

Она идет без конца во тьме и чувствует, как волосы на ее голове встают иглами.

Чу! Направо визжит пила. Она поворачивает голову и видит человека. Он сидит по-турецки, поджав ноги, в песке и пилит «плаху». Над ним, в маленькой керосиновой лампочке с сильно закопченным стеклышком, подобно рубину, горит огонек, и из стеклышка, как из трубы, вылетает сажа и черным снегом ложится на песок, на стены, на камень и на худое, бородатое лицо и складки рубахи этого человека.

— Бог на помощь. Где работает дядя Степан? — спрашивает она его.

Он перестает пилить и молча указывает рукой вперед. И она идет дальше. И чудится ей, что

какой-то тихий голос, похожий на умирающий звон струны, зовет ее. Кажется, голос дяди.

— Надюшек, уточка моя, гулиньки, гулиньки, ась, ась! — улавливает ее ухо.

Надя вздрагивает, подбирает юбку и бежит на знакомый голос. А голос растет, летит ей навстречу, как голубь к голубке, обнимает ее, проникает в душу. Вот блеснул огонек. Ближе, ближе. Вся в поту, с израненными ногами и руками, она останавливается.

Маленькая галерея. Душно и тесно здесь. Лампочка с догорающим фитильком и керосином бросает желтые пятна на мокрые стены и человека, лежащего на земле с зарытыми в песок ногами. Это дядя. Голова у него разбита, и из нее бежит кровь. Он чуть дышит. Она падает на него с криком и плачем:

— Дяденька милый, охотничек золотой. Эго я — Надюшек твой.

Дядя открывает глаза, узнает ее и тихо говорит:

— А, ты — Надюшек? Тяжело мне, родная. Душно, тесно. Что с моей головой? А не довелось увидать еще раз родимый Днестр и уточек… Ах вы, гулиньки мои… Грешен я, стало быть, и неугоден Господу Богу. Слышь, Надюшек — беги,

пока не поздно. Айда на Днестр! Поклонись ему от меня низко-низко и плавням тож. Сын ваш, скажи им, кланяется вам… Здесь тебе без меня никак оставаться нельзя. Пропадешь. Крепи шкот! Гулиньки, гулиньки. Ась, ась!

И глаза его закрылись…

Надя просыпалась с диким криком и безумными глазами обводила кухню.

В углу теплилась красная лампадка и сиял перед нею кроткий и мягкий лик Пресвятой Богородицы.

Надя становилась на колени, протягивала к ней руки и плачущим голосом молила:

— Заступница… Царица Небесная. Спаси, защити меня.

Богородица, как казалось Наде, глядела на нее с упреком и сожалением.

Помолившись, Надя опять засыпала. Засыпала и опять вскакивала и молилась. И так всю ночь. Всю ночь ее не покидали ужасные сны. Ей снился дядя в разных обстановках, и она слышала его настойчивый голос:

— Беги… пропадешь!

Слышала она также какой-то неясный шум, и в этом шуме она узнавала Днестр. Так шумел и роптал Днестр, когда она покинула его.

* * *

Прошла неделя. Хозяйка за это время в поисках заместительницы Нади совалась то в одну справочную контору, то в другую, в овидиопольский постоялый двор, где постоянно толчется много деревенских девушек из окрестных деревень, Овидиополя и заштатного города Маяки. Но поиски и беготня ее не увенчались успехом.

На овидиопольском постоялом дворе, когда почтенная дама предложила 4 рубля «за все», ее подняли на смех. Все — Гапки, Глашки, Насти и Дуньки — окружили ее и смеялись ей в лицо. А овидиопольские парни, известные на всю Херсонскую губернию как отчаянные головорезы и сорванцы, толкавшиеся без дела среди девушек, подняли ее на «ура». Гапки и Глашки острили:

— Барыня. Да, ей-Богу, вы шутите. Побожитесь, что 4 рубля даете.

— А сколько детей нянчить надо? Если дюжину, — я согласна.

— А кровать у вас для прислуги есть? Или надо на сундуке спать?

— А муж ваш — не баловник? Щипать меня не будет?

— Может быть, набавите гривенник?

Почтенная дама в шляпе с подержанным старым пером и в желтом саке совсем не ожидала встретить такое неуважение к своей особе и позорно бежала.

* * *

Настала другая неделя.

Потеряв окончательно надежду закрепостить нового человека за 4 рубля, хозяйка сделалась необыкновенно ласковой к Наде. Она называла ее теперь не иначе, как «Надюшек, родная моя, голубка, деточка» и каждый раз приносила ей с базара то кругленькое двухкопеечное зеркальце, то грошовое кружевце или ленточку.

Надя равнодушно принимала эти подарки, даже не благодарила и раз пять на день осведомлялась:

— Когда же, барыня, новая служанка придет? Мне ехать надо.

Равнодушие ее и нетерпение обижало почтенную даму, и она часто стыдила ее:

— Какая же ты, право, неблагодарная. Люблю я тебя, как родную. Сама видишь. А все — «я ехать хочу». И охота тебе ехать?.. Ну, да ладно. Скоро будет новая служанка, и я отпущу тебя.

Но дни бежали, а новой служанки все еще не

было, и хозяйка не отпускала Надю.

Надя от ожидания осунулась. Как автомат, слонялась она по комнатам и этой противной кухне, которая, когда наступал вечер, делалась похожей на тюремную камеру. Она рвалась на Днестр, как рвется из заморского края с наступлением весны назад перелетная птица.

Родной славный Днестр! Она по-прежнему видела его во сне и наяву и слышала его ласковый ропот. Он звал ее, простирал к ней свои объятья и сулил ей покой и отдых. Она слышала крик диких уток и знакомый голос:

— Беги!

Но она не могла бежать. Хозяйка связала ее по рукам и ногам. Каждый день она лгала ей, что вот-вот придет новая служанка, упрашивала ее остаться то лаской, то угрозой.

Надя чувствовала, что почва ускользает из-под ее ног, и она решилась на крайность. Она схватила однажды кухонный нож, решительно поднесла его к горлу и заявила:

— Если вы не отпустите меня завтра, я зарежусь.

Благородная дама побледнела, замахала руками и крикнула:

— Хорошо, хорошо. Можешь уйти завтра. Я не

держу тебя.

Настало завтра. Надя была готова к отъезду. На столе стоял ее сундучок, перевязанный бечевками. Но судьба, как видно, была сильно вооружена против нее. Она не хотела выпустить ее из этой кухни.

В доме произошло неожиданное событие. Ночью Феденька — самый младший хозяйский сынишка — заболел скарлатиной. Хозяйка заметалась по комнатам. В доме поднялась суета. Надю обстоятельство это огорчило, тем не менее она твердо решила ехать.

— Прощайте, — сказала она хозяйке, войдя в спальню.

— Прощайте?! — завопила та и залилась слезами. — Ну, есть у тебя совесть? Скажи! Феденька заболел скарлатиной. Что я одна теперь без прислуги буду делать? Хорошо бросать теперь меня одну? Разве честная девушка поступает так? Бог накажет тебя. У тебя тоже будут дети. А ты ведь сколько раз говорила, что любишь Феденьку. Посмотри, какой он горячий, какой больной.

Хозяйка своей материнской скорбью довела до слез Надю. И Наде сделалось жалко ее и Феденьку, хотя этот самый Феденька был препротивнейшим мальчишкой и обещал в будущем

быть примерным негодяем. Надя и соседи всегда говорили, что ему не миновать каторги. Как он тиранил ее и изводил капризами! Он тыкал ей в рот фиги, обзывал ее, по примеру своей благородной мамаши, «дурой и дрянью», швырял в нее башмаком, самоварным краном, пепельницей и вырвал из ее затылка все волосы.

Надя посмотрела на заплаканную хозяйку, на горящего Феденьку, махнула рукой и поплелась на кухню. Через несколько минут сундук ее стоял на прежнем месте в углу, теплая кофта, которую она надела на случай холода в степи, висела над кроватью, и Надя, сидя на корточках на полу, старательно набивала гуттаперчевый пузырь льдом. Феденька болел больше месяца, и Надя все свое время делила между ним и кухней. Она не спала по целым ночам, качала его и пела ему колыбельные песенки.

Вспомнит ли когда-нибудь этот Феденька, когда вырастет, добрым словом Надю?!

Феденька выздоровел наконец. Надя могла теперь уйти, но чувствовала себя сильно усталой. Феденька отнял у нее последние силы. При этом болезнь Феденьки сблизила ее, почти сроднила с ним и хозяйкой и со всем ее домом.

Она мало-помалу вошла в их интересы, впряг-

лась, как вол, в кухонное ярмо, покорно нагнула голову и больше не просилась домой.

И ей больше не снились тяжелые сны и дядя. Ей больше не являлся Днестр, она больше не слышала его ласковый ропот и знакомый голос — «беги». И Богородица больше не смотрела на нее из своего угла с упреком и сожалением.

Все, о чем Надя мечтала так еще недавно, страстно и безумно, осталось далеко-далеко позади.

Прощай, светлый родной Днестр! Прощайте — родная деревня, плавни, дикие утки! Навсегда!

V. Приятное знакомство

Итак, Надя не исполнила просьбы дяди, не поехала на Днестр, в родную деревню, и осталась на старой службе. И она жестоко поплатилась за это.

Спустя месяц после того, как она осталась, муж хозяйки — мелкий чиновник — запил. Сначала он пил понемножку, а потом запил окончательно, и в доме произошло полное расстройство. Хозяйка задолжала домовладельцу, молочнице, хлебнику и лавочнику.

Чтобы поправить дела, хозяйка решила сдать одну комнату внаем. Комнату снял какой-то странный юноша, длинный, худой, в длинных волосах, со впалыми глазами, в синей косоворотке и крайне неопрятный. Ботинки и нижние части его порванных брюк были всегда покрыты грязью, а старый пиджачок и косоворотка — большими серыми пятнами.

На вопрос хозяйки, чем он занимается, последовал ответ:

— Готовлюсь к окончательному экзамену. Я — экстерн.

— И больше ничем? — спросила хозяйка.

Юноша почему-то сконфузился, вспыхнул и потупил глаза.

Юноша оказался очень спокойным квартирантом. Он не водил к себе девиц, как некоторые, не устраивал попоек и весь день занимался. Он вставал рано утром, сейчас же садился за книжки, зубрил, курил папиросу за папиросой и часто плевал. В короткое время он заплевал весь потолок, оконные рамы и стены.

Кормился он, по недостатку «презренного металла», весьма скудно. Он жил одним хлебом и чаем.

Три раза в день он звал Надю, совал ей в одну руку большой эмалированный чайник со щепоткой чаю внутри, в другую — 5 коп. медью и говорил:

— Вот что, голубушка. Возьмите на копейку горячей воды, а на пять — полтора фунта хлеба, только «голодающего».

Экстерн при сем считал своим священным долгом ущипнуть ее повыше локтя и спросить с неестественной усмешкой:

— А вы меня не боитесь?

— Чего мне бояться вас, — бойко отвечала Надя и, набросив на себя платочек в цветах, красиво оттенявший ее исхудалое, но все еще привлекательное и свежее лицо с густым румянцем, бегом

отправлялась в ближайший трактир.

С этого-то трактира и началось ее падение.

* * *

Трактир находился в районе Толчка, и всегда среди завсегдатаев его можно было заметить веселую компанию из 6–7 человек со смелыми, наглыми физиономиями, над которыми вились лихо закрученные «штопоры» (чубчики), и с развязными манерами. Это были скакуны.

Любимое место их было возле квадратного шкафа с машинными валиками, почти у самой машины. Они здорово хлестали водку, орали, переругивались с соседями — биндюжниками и штукатурами — и заказывали машинисту играть то «Устю», то «Калараш», то «Марусю».

Над компанией главенствовал наш знакомый Яшка.

Его задорный голос и хриплый неприятный смех были слышны на весь трактир.

— Каштан! — орал он и стучал по столу кулаком так сильно, что стаканы подпрыгивали, как мячики.

Каштан сломя голову подбегал к нему.

— Что прикажете?!

— Возьми этот бифштекс и скажи дураку-пова-

ру, чтобы получше поджарил его!

— Каштан! — раздавался через несколько минут опять его голос.

— Что прикажете?

— Стащи левый ботинок! — И Яшка протягивал ему через стол ногу.

Каштан стаскивал.

— Каштан! — не унимался Яшка.

— Что прикажете?

— Тарелка почему грязная?!

И тарелка со звоном летела на пол и разбивалась на мелкие кусочки…

В трактире, когда Надя в первый раз явилась туда, стоял невообразимый шум. Посетители галдели и извлекали ножами и ложечками из стаканов и тарелок раздражающий звон, ругали вслух половых, и звон их, галдение и ругань сливались с густыми звуками машины, которая гремела:

На Дерибасовской лишь огни зажгут,
Всюду бабочки снуют.
И, надев красивый наряд,
Чтобы карася поймать,
И с шиком, и с блеском…

Яшка и вся его компания усердно подтягивали

машине:

— И с ши-и-ко-ом, и с трес-ко-ом, трам-там, трам-там!..

Надя была оглушена и остановилась в двух шагах от дверей в нерешительности: идти дальше или нет? Она колебалась с минуту, а потом двинулась вперед и стала вместе с чайником продираться к кухне сквозь человеческую гущу, как сквозь густой лес.

Яшка сразу обратил на нее внимание. Он перестал подтягивать, толкнул товарища, подмигнул ему левым глазом и воскликнул:

— А недурной товар?!

— Апильцин-девочка, — ответил товарищ.

— Надо познакомиться с нею, — сказал Яшка.

Он с шумом встал из-за стола, поправил на лбу свой удивительный «штопор», застегнул голландку, подкрутил свой реденький ус и, раскачиваясь и сплевывая по обе стороны, направился к кухне.

Возле кухни он остановился, засунул руки в карманы, широко расставил ноги и стал поджидать Надю. Она скоро вышла.

— Кха! — кашлянул дипломатично Яшка для того, чтобы обратить на себя ее «просвещенное» внимание.

Надя подняла голову, с которой скатился на плечи платочек, посмотрела на него и улыбнулась.

Яшка вообразил, что произвел на нее неотразимое впечатление, и сказал ей:

— Барышня, а, барышня, постойте. На пару слов.

Но она не остановилась и быстро стала пробираться меж столиков к выходу. И скоро, к глубокому огорчению Яшки, она исчезла в дверях.

С этого дня Яшка «воспылал к ней нежной страстью» и решил овладеть ею. Он стал преследовать ее — по целым дням пропадал в трактире и, как только она появлялась, вскакивал из-за стола и следовал за нею на кухню.

— Как, барышня, поживать изволите? — предлагал он ей три раза в день один и тот же вопрос и строил при этом «кровавую» улыбку, такую, перед которой, по его мнению, не могла устоять ни одна «женчина».

Надя смеривала его смеющимися глазами с головы до ног, кривила губы и отвечала с шиком, приобретенным в «городе Адессте»:

— А вам, скажите, пожалуйста, какое дело?

— Как человеку образованному, нам очень любопытно знать, — следовал ответ.

— Извините! — отрезывала Надя и показывала ему спину.

Получив в такой резкой форме ответ, Яшка вешал голову и возвращался к своему столу.

Ухаживаний своих он, однако, не оставлял.

— Напрасно, барышня, обижать изволите, — заметил он ей однажды с грустной ноткой в голосе.

— Я на вас не обижаюсь, — ответила Надя, — только зачем вы до меня чипляетесь?

— Я вовсе не чипляюсь до вас, а ухаживаю, потому что вы — хорошенькая.

— Еще бы! — И Надя звонко рассмеялась.

В разговор их вмешался пьянчужка-повар в высоком белом колпаке и белом засаленном переднике.

— Та чего ты пристаешь?! — крикнул он свирепо на Яшку. — Пара она тебе, что ли?! Ступай под обжорку или в Дюковский сад, там найдешь себе пару.

— А ты, костогрыз, холодец старый, помалкивай! — огрызнулся Яшка.

Повар, питавший отеческую любовь к Наде и проявлявший свою любовь тем, что часто угощал ее пирожками, рассердился на Яшку, замахнул-

ся на него друшляком[13] с горячей лапшой и крикнул:

— Пошел, а то тресну! Чего тебе здесь надо? Может быть, ложку сбатать (украсть) хочешь?! Нима сала!

Надя, слушая возникавший из-за нее спор, скалила зубы и искоса поглядывала на Яшку.

Яшка постоянно будил в ней смех. Он был удивительно смешон и некрасив, — этот ловкий скакун.

Роста он был ниже среднего, худой, нос у него был длинный и вечно красный, плечи узкие, лицо желтое с реденькими и грязноватыми усиками, и он кашлял так часто и так сильно по причине порчи «внутреннего механизма», что вся фигура его, заключенная, как в футляре, в грязной голландке и тонких широких брюках, колыхалась и корчилась.

Наполнив однажды чайник, Надя бросила повару звонко «До свиданья, Григорий Васильевич!» и быстрыми шагами вышла в зал. Яшка последовал за нею и стал напевать:

— Какая вы хорошенькая.

— В самом деле? — лукаво сощурилась Надя.

---

[13] Примечания: 13
Дуршлагом.

— Как будто вы не знаете, Катенька?

— Меня не Катенькой звать, — ответила она со смехом.

— Ну, Мотенька.

— И не Мотенька.

— Сашенька.

— И не Сашенька.

— Все равно… Полюбите меня. Ей-Богу. Что вам стоит? Я вас тоже полюблю.

— Здрасте! — И Надя выпорхнула на улицу.

Яшка целый месяц ухаживал безрезультатно. Жестокая Надя на все комплименты его и объяснения в горячей любви и преданности отделывалась шуточками и презрительными насмешками.

Неудача Яшки не укрылась от его товарищей, и они изводили его:

— И чего ты, Яшка, лезешь до нее? Она смотреть даже не хочет на тебя.

«В самом деле, — подумал Яшка, — она смотреть даже не хочет на меня», и в нем от обиды закипела кровь.

Он стукнул по столу кулаком и воскликнул:

— На что пари, что она (Надя) будет моей «барохой» (любовницей)?!

— На две дюжины пива, — сказал Сенька.

— Идет! — согласился Яшка.

* * *

С этого дня Яшка повел совершенно новую атаку.

Как-то раз Надя возвращалась из трактира с кипятком для квартиранта. Вдруг ее окликнул чей-то голос:

— Барышня, а, барышня!

Она остановилась и увидала перед собой джентльмена в новеньком пальто, лакированных ботинках, в пенсне и с зонтиком в руке.

— Не признали-с? — спросил джентльмен и снял котелок, под которым на лбу оказался великолепный напомаженный штопорчик.

— Не признала, — ответила она медленно и глядя на него с изумлением.

— А мы с вами знакомы… В трактире познакомились…

— А!

Надя рассмеялась и почему-то покраснела до ушей. Перед нею стоял Яшка.

— Теперь признали? — спросил он и поправил пенсне, съехавшее на кончик носа.

— Теперь признала. А какой вы важный.

— Могу сказать.

Яшка самодовольно кашлянул, достал из-под пальто золотые часы и посмотрел на них. Надя обратила внимание на часы и спросила:

— Разбогатели?

— Да-с… Тетя, знаете, умерла, она в Аккермане жила и оставила мне наследство — дом, маленький кирпичный завод и молочное хозяйство… И служба у меня теперь хорошая…

— Какая служба?

— Я артельщик в банке.

— Вот оно что!

Надя переложила горячую дужку чайника из одной руки в другую и посмотрела на Яшку с уважением.

— Не угодно ли вам маленький презент? — спросил Яшка и достал из бокового кармана флакон духов и плитку шоколада, завернутую в глянцевитую бумагу с раскрашенной картинкой.

Надя покраснела сильнее и с жадностью посмотрела на флакон и шоколад. В ней происходила борьба.

«Взять или не взять? — думала она. — Если взять, значит, закрепить навсегда знакомство. А почему же нет? — подумала она сейчас же. — Он настоящий барин и такой деликатный».

И она взяла.

Он посмотрел на нее, она на него, и оба весело засмеялись. Лед, лежавший между ними, растаял.

— Полюбите меня теперь, Нюничка? — спросил Яшка.

— Какая я вам Нюничка? — воскликнула она, не переставая смеяться.

— А как же вас?

— Надя. Надежда Антоновна Карасева.

— Надичка, стало быть?

— Стало быть… А вас как звать?

— Яковом. Яков Иванович Тпрутынкевич.

— Ка-а-к? Вот смешно!

— Тпру-тын-ке-вич! — повторил он. — Так полюбите меня?

— Может быть!

Надя бросила ему многообещающий взгляд и быстро отошла прочь.

* * *

Через несколько дней после описанной сцены наступил день «Веры, Надежды и Любви». Надя в этот день стояла в облаках пара на кухне над лоханью, с засученными рукавами, пела и энергично мылила кальсоны и носки экстерна.

Вдруг она услышала стук и царапанье в двери.

Надя отряхнула с локтей пену, подошла к дверям и открыла их.

В раскрытые двери вылетело из кухни облако пара, и в этом облаке, как херувим на картине Рафаэля, предстал перед Надей 12-летний малыш — худой, в бараньей шапочке и с лисьей мордочкой. Малыш сей был «скачок» (воришка) Клоп — ученик Яшки Скакуна, специалист по части таскания носовых платков у дам на похоронных процессиях. В правой руке у него был букет из дешевых цветов, а в левой — коробка, завернутая в розовую бумагу и перевязанная голубой ленточкой, и письмо.

— Здесь живет Надежда Антоновна? — пропищал «специалист».

— Здесь. Это — я, — ответила, недоумевая, Надя.

— Извольте, мадам. — И Клоп протянул ей все три предмета.

— Это моей барыне? — спросила Надя.

— Нет, вам.

— Мне?

Надя хотела расспросить Клопа подробнее насчет букета и прочего, но он оставил все это в ее руках и дал плейта (удрал). Вошла хозяйка.

— Что это у тебя? — спросила она.

Надя протянула ей письмо и сказала:

— Ничего не понимаю. Может быть, это вам?

Хозяйка взяла письмо и прочитала адрес, написанный отвратительным почерком:

«Ее высокоблагородию Надежде Антоновне Карасевой».

— Нет, это тебе. Прочитать письмо?

— Прочитайте.

Хозяйка разорвала конверт, вынула розовую бумагу с двумя целующимися голубочками и прочитала:

«Любезная Надежда Антоновна, ангел сердца моего. Сегодня — день «Надежды, Веры и Любви», а так как вы Надежда, то посылаю вам, как водится у образованных людей, цветы и коробку с рахат-лукумом. Кушайте на здоровье. Будьте сегодня в 8 ч. вечера за воротами. Я имею вам сказать что-то очень важное.

Ваш по гроп жизни

Яков Иванович Тпрутынкевич».

Надя была приятно поражена и вспыхнула.

— Кто он, этот Тпрутынкевич? — спросила хозяйка с улыбкой.

— Знакомый, — ответила Надя.

— Что ж он, ухаживает за тобой?

— Да.

— А кто он? Чем занимается?

— Артельщик в банке.

Хозяйка засмеялась, погрозила ей пальцем и проговорила:

— Ой, Надя! Смотри. Как бы не вляпалась.

— Не беспокойтесь, барыня, — ответила весело Надя и вскрыла коробку.

Надя умилилась при виде нежно-розового, посыпанного, как бы снежком, мелким сахаром, сирского рахат-лукума.

Она дала кусок лукума хозяйке, сама съела кусок, поставила цветы в горшок с водой и принялась за кальсоны и носки экстерна с удвоенной энергией.

Надя сияла. Яшка совсем очаровал ее.

«Такой образованный, расположительный, добрый, — думала она о нем. — Непременно выйду сегодня за ворота и поблагодарю его».

И она с нетерпением стала ждать вечера.

* * *

Надя ровно в 8 часов вышла за ворота и была встречена Яшкой.

— Получили? — был его первый вопрос.

— Получила, — ответила Надя. — А какой вы

добрый.

— Это, Надежда Антоновна, еще ничего! — сказал Яшка и стиснул ее руку. — Дайте время. Потом узнаете, какой я добрый. А у меня просьба к вам. Едемте в это воскресенье в сад трезвости. Послушаем Каткова.

— А что это за сад?

— Хороший сад. Там все трезвые люди гуляют. Очень весело там.

— А Катков кто?

— А вы не слышали его?

— Н-нет.

— Да неужели? Ай-ай-ай! Как вам не стыдно. Он куплетист и балалаечник. Да его вся Одесса знает.

Наде сделалось неловко за свое невежество, и она покраснела.

— А потом, — продолжал Яшка, — поедем до «Гамбринуса». Слышали за «Гамбринуса»? Очень хорошее заведение. Публика там очень деликатная бывает. Матросы, кочегары, боцманы, механики. Заведение в погребе находится, и все в цветах и картинах. Публика сидит на бочонках, пьет пиво и ест сосиски и бутенброды. А какая хорошая музыка там. Там есть скрипач. Вот так молодчина! Сашкой зовут его. Соловья на скрип-

ке представляет, козла, корову. Так поедем?

Надя задумалась. То, что Яшка предлагал ей, было очень заманчиво и ново.

— Хорошо, — согласилась она.

— Ну вот!.. А сейчас пройдемся немного. Может быть, милинаду (лимонаду) выпьете?

— Мерси вам… Мне надо белье квартиранта окончить.

— А ваш квартирант кто?

— Какой-то «голодающий». Одна пара белья у него и одна сорочка.

Яшка расхохотался и спросил:

— А он не пристает к вам?

— Пристает… Слюнявый такой. Да я близко не допускаю его… Прощайте!

— Прощайте!

Надя юркнула назад в ворота, а Яшка, нахлобучив картуз, пошел в трактир. Товарищи, увидав его, спросили:

— Скоро поставишь пиво?

— Скоро, — ответил он загадочно.

VI. Сладко пел соловушка

Сладко пел Яшка. Так сладко, что у Нади голова закружилась…

В воскресенье, убрав комнаты, сварив обед и перемыв потом посуду, Надя надела свое праздничное платье — зеленую юбку, красную с цветочками кофту, повязала голову шелковой косынкой с отпечатанным на ней портретом о. Иоанна Кронштадтского, натянула на руки серые замшевые перчатки, подаренные ей хозяйкой, взяла в руки красный зонтик и вышла за ворота.

У ворот по случаю воскресенья находились в сборе все няньки со двора с хозяйскими сопляками на руках и без оных. Все группировались вокруг дворничихи Елены — дамы весьма жалкой, крайне обиженной судьбой и слезливой, с треском лузгали семечки, рассказывали наперебой о своих господах-идолах, об их скопидомстве и тайных пороках, смеялись над прохожими и сквернымі словами ругали и пощипывали своих ерзающих сопляков.

— И когда на тебя черная немочь нападет, сука ты окаянная! — ругала своего сопляка злая, как овчарка, Дуня, называвшая его дома перед свет-

лым ликом мамаши «лялечкой и котиком».

Надя поздоровалась с дворничихой, игравшей среди нянек роль авторитета, за руку, а остальным слегка кивнула головой.

— Какая ты нынче красавица, — сказала дворничиха Наде.

Надя зарделась.

Бедно одетые, грязные и некрасивые няньки посмотрели на нее с завистью. У Дуни от зависти в горле засел какой-то твердый ком, и она чуть не задохнулась.

— Гулять собралась? — спросила покровительственно дворничиха.

— Да, Елена Сидоровна.

Надя ответила безо всякой рисовки. Но Дуня ехидно и довольно громко заметила:

— Ишь. Ломоты строит.

— Сама идешь или с кавалером? — продолжала расспросы любознательная дворничиха.

— С кавалером. Он должен сейчас быть.

— А он хто? Хвельфебель, примером сказать, писарь или приказчик?

— Артельщик. Он в банке служит.

Дуня сострила:

— Артельщик, только с другой стороны.

Няньки прыснули.

— Ну чего?! — накинулась на них дворничиха. — Завидно вам?!

— Вот еще! — воскликнула Дуня, вскинула плечами и дала хорошего леща своему сопляку.

— Должно быть, в сад пойдете. Театр смотреть будете, танцевать, сахарно-мороженно есть, пиво пить, — обратилась опять дворничиха к Наде.

— Да, в сад пойдем.

Дворничиха глубоко вздохнула, сложила на груди оголенные до локтей и красные-красные, как бурак, от многолетней стирки, руки, покачала головой и плаксиво протянула:

— Когда я молода була, я тоже гуляла у саду. А какие у меня тогда кавалеры були! Теперь я старая и никто не возьмет меня в сад. Связалась со своим Мазепой и пропадаю. Никакой тебе радости. Знаешь одну дворницкую, подъезд и прачешную.

Надя посмотрела на нее с сожалением и сказала ей в утешение:

— Дал бы Бог здоровья.

Дуня, желая показать, что образованный разговор всеми уважаемой дворничихи и Нади мало интересует ее, запела вполголоса:

Сара Бернарда
У саду Фаркатте

Там она гуляла
Зонтик потеряла.

— Елена! Елена! — выстрелил кто-то, как из пушки, из подъезда.

Это выстрелил Терентий, уважаемый супруг не менее уважаемой дворничихи, отвратительный пьянчужка, часто поколачивавший ее дубинкой, предназначенной совершенно для иных возвышенных целей, — для того, чтобы гнать со двора арфянок, шарманщиков и персиян с обезьянками.

Дворничиха возвела к ясному небу, яко Агарь в пустыне, глаза, воздела красные руки и завела свою шарманку:

— О Господи! И чего я такой несчастной на свет уродилась?! Минуты дохнуть не дадут. Арестант и тот отдых имеет. Вот, люди добрые, смотрите, какой у меня муж. Не муж, а Мазепа. На минуту за ворота вышла. Что я — собака, что весь день в дворницкой сидеть должна?.. Да ну тебя! Сейчас! Идол!

Но почтенная дама приостановилась. Она хотела посмотреть, кто подъезжает к воротам их дома.

Жжжжрррр!

К воротам с грохотом подкатили четыре дрож-

ки и вытянулись вдоль обочины тротуара в ряд.

В первых дрожках сидел Яшка барон-бароном в светлом костюме. В петлице у него красовалась роза, на голове боком сидела широчайшая шляпа, а на носу — пенсне со шнурочком. На вторых дрожках, как в те времена, когда Яшка свежал, лежало на сиденье аккуратно сложенное вчетверо, легкое, цвета кофе с молоком пальто, на третьих — зонтик, а на четвертых сидел ученик его Клоп — тот самый, который принес Наде цветы и рахат-лукум.

На коленях у Клопа стояли носками вперед новые галоши Яшки, и он грыз поминутно, утирая нос рукавом, яблоки.

Все четыре извозчика были навеселе. Яшка напоил их в трактире, и рожи их поэтому цвели маками, а в глазах их светилась удаль и отвага.

Дрожки, в которых сидел Яшка, были новенькие, красивые. На спицах колес их, выкрашенных в пурпурную краску и точно выточенных из нежного коралла, и на крыльях, покрытых удивительным черным лаком, не было ни одной царапины. Как нельзя лучше гармонировала с ними молодая рыжая лошадка, убранная крупными бумажными розами — одна сидела у нее на лбу, а две по бокам узды — она похожа была

на картинку.

Надя, завидя Яшку, покраснела.

— Это не твой ли? — спросила ее дворничиха.

— Мой, — ответила не без гордости Надя.

— Вот так кавалер! Вот это я понимаю! — воскликнула дворничиха и звонко прищелкнула языком.

Яшка поднялся с сиденья, поправил пенсне и штопор, скромно выглянувший из-под шляпы, что-то сказал извозчику, на что последовал громовой ответ: «Слушаюсь! Так точно! Не извольте беспокоиться! Мы для вас, хоть рубашку с нас!», ловко соскочил с дрожек и медленной, легкой и грациозной походкой, стараясь ступать на носках лакированных ботинок, «по-балетному, значит», направился к воротам.

Дворничиха трижды откашлянулась и придала своему лицу приятное выражение, а няньки переглянулись в изумлении. Они не ожидали, что у Нади такой божественный кавалер.

«Какой кавалер, — думали они раньше, — может быть у Нади? Трубочист, квасник, “шестерка”».

У Дуни от зависти опять засел в горле твердый ком, и она излила свою зависть в новом леще, данном ею со всего размаху своему сопляку по

тому многострадальному месту, откуда у бурсаков растут ноги.

В двух шагах от прелестных дам Яшка остановился, снял шляпу, выгнул в дугу позвоночник и проговорил, отчеканивая каждое слово:

— Надежде Антоновне Карасевой, мое вам нижайшее почтение. С воскресением.

Вслед за этим он приблизился к ней и протянул ей руку.

— И вас тоже с воскресеньем, — ответила Надя и вторично посмотрела торжествующе на сгорающих от злобы и зависти к ней нянек.

Они стояли с разинутыми ртами. А Дуня была черна, как смерть.

Произошла небольшая заминка. Яшка в ожидании повода к приятному разговору протирал кружевным батистовым платочком, «приобретенным» у одной дамы бомонда на похоронах какого-то статского генерала, стеклышки пенсне и очаровательно улыбался.

Дворничиха положительно ела его глазами. Он поразил ее своим шиком.

— Позвольте вам представить, — обратилась Надя к Яшке, — мадам Бубликова, Елена Сидоровна, моя хорошая знакомая.

— А! Очень и очень рад приятному знакомству!

Яков Иванович Тпрутынкевич!

Яшка сделал наиприятнейшее лицо, ловко вскинул на нос пенсне, стукнул по-военному новыми подборами, наклонил голову и протянул дворничихе руку в желтой перчатке.

Почтенная дама от неожиданности сперва обомлела, потом прослезилась — ее тронула до глубины души галантность Яшки — и, держа его нежную руку, руку виртуоза, «артиста по карманной части», в своей шершавой руке, бормотала:

— Спасибо, спасибо.

— Не стоит. Извините, что мало, — быстро ответил находчивый Яшка.

Дворничиха утерла выкатившуюся слезу и посмотрела на шепчущихся нянек. Взгляд ее говорил: «Видите, дуры, каким почетом я пользуюсь? Какие господа знакомятся со мною и уважают меня? Это ничего, что я дворничиха и стара».

Произошла опять маленькая заминка. Яшка достал из бокового кармана большую коробку с папиросами, очертил ее с трех сторон ногтем большого пальца, открыл ее и протянул дворничихе со словами:

— Не угодно ли?

— Мерси вам. Я не курю, — кокетливо заявила она.

— Жаль-с. Хорошие папиросы. «Сенаторские». А вы, Надежда Антоновна, не выкурите ли?

— Боже меня сохрани.

Яшка повернулся к озлобленным и шипящим нянькам и спросил их:

— А вы, барышни? Может быть, выкурите?

Как вам угодно, а это был уже верх галантности! Няньки вместо ответа захихикали.

— Чего же вы, дуры, деревенщины, не отвечаете?! — крикнула на них дворничиха. — Обращения с благородными людьми не знаете.

Яшка развел руками, дескать, «я предложил, а ваша воля принять или не принять», достал папиросу, постучал гильзой по крышке коробки и закурил.

Дворничиха, сгоравшая желанием показать себя дамой сведущей и образованной, заявила:

— А погода нынче привлекательная.

— Даже очень, — согласился Яшка.

— А урожай в этом году будет хороший, — смело продолжала дворничиха.

— Кэ-эк-с? — не понял Яшка.

— Я говорю насчет урожая. Хлеб должен уродиться в этом году очень хороший.

— А!.. Гм! Обязательно, — согласился вторично Яшка.

Дворничиха делалась все смелее и смелее.

— Хорошо при такой погоде погулять, ежели у кого деньги есть и всякое себе вдовольствие предоставить может.

— «Деньги, деньги, все на свете господа», — ответил Яшка рефреном одного из куплетов «разнохарактерного» куплетиста г. Фишкинда.

— Вот я, когда молода була…

— Ах ты подлюга! — оборвал вдруг образованную даму на самом интересном месте грозный голос. — Зову тебя, зову, а ты не слышишь. Оглохла?!

И перед дамой вырос звероподобный мужчина в большой бараньей шапке, обросший бородой до глаз и с дубинкой.

Это был ее супруг.

Дворничиха растерялась, побледнела, сконфузилась. Еще бы не сконфузиться! Этакий Мазепа! Взял и ни за что ни про что осрамил ее перед образованным господином.

Дворник раскрыл опять рот для того, чтобы выпустить новый залп непечатной брани, но дворничиха не допустила до этого. Она тактично обратилась к Яшке:

— А вот мой законный муж, Терентий Яковлевич Бубликов.

— А, очень и очень приятно! Позвольте представиться, Яков Иванович Тпрутынкевич! — расшаркался перед ним Яшка и протянул ему руку.

Дворник невольно опустил дубинку, скинул шапку и пожал протянутую руку.

— Не угодно ли папиросу? «Сенаторские». Самый лучший сорт. Все профессора курят. — И Яшка поднес ему коробку.

Дворник промычал что-то и захватил папиросу кривыми и толстыми пальцами, на которых чернелась грязь задворков. Яшка затем весьма предупредительно поднес к самому его носу свою дымящуюся папиросу и проговорил со смехом:

— Не угодно ли заразиться?

Терентий Яковлевич «заразился».

Яков Иванович спрятал коробку и сказал Наде:

— Теперь поедем?

— Поедем.

Яшка возвысил голос.

— Я думаю, Надежда Антоновна, раньше в «сад трезвости» поехать, а потом до «Гамбринуса». Как вы полагаете?

— Ваша воля, — ответила покорно Надя.

— Мы в сад раньше. Пожалуйста.

Яшка в момент соорудил из правой руки крендель и предложил его Наде.

— Честь имею кланяться, — сказал Яшка нежным супругам, приветливо кивнул головой нянькам и гоголем поплыл вместе с Надей к дрожкам.

— Может быть, зайдете к нам когда-нибудь вечерком или в праздник на чай?! — крикнула Яшке дворничиха.

— Сувдовольствием! — последовал ответ.

Няньки провожали красивую и счастливую парочку завистливыми глазами до дрожек, а дворничиха вертелась, как юла, и восклицала:

— Вот так кавалер! Вот это я понимаю!

— Счастье большое, — заметила желчно Дуня.

— Жулик он! — заявил вдруг дворник, выкурив сенаторскую папиросу.

Дворничиха вступилась за Яшку и сказала, сверкая глазами:

— Если он — жулик, кто же ты?

— Смотри! — рассердился дворник и показал ей дубинку.

Дворничиха сократилась и умерила свой пыл. Яшка в это время, держа Надю за турнюр, ловко подсаживал ее в дрожки. Усадив ее, он нежно обхватил ее за талью и крикнул извозчику:

— Пшел!

— Эх вы, сашки, канашки мои! — воскликнул

извозчик, взмахнул кнутом, и дрожки снялись.

Жжжжрррр!

Снялись, как утки, вспугнутые охотником, и остальные дрожки.

И долго-долго глядели им вслед няньки — злые и жалкие. Они разошлись потом по своим кухням, похожим на черные ямы, повесили головы и горько задумались над своей судьбой.

«Работаешь, работаешь, как скотина, — думали они, — и нет тебе никаких радостей».

И досталось же в этот вечер соплякам их! Дунька со злости укусила до крови в самую мягкую часть своего маленького и противного идола.

VII. В саду трезвости

Рыжая, красивая, убранная розами лошадка неслась вихрем по направлению к саду трезвости.

Яшка все крепче и крепче прижимал Надю к своему «пылкому сердцу» и развлекал ее интересными разговорами.

— А слышали, что случилось в городе?

— Что?

— Обокрали гастрономический магазин.

— Неужели?

— А чистая работа. Стену со двора проломали, кассу в шестьдесят пудов открыли, и никто не услышал. Очень чистая работа.

Когда они проезжали мимо старого русского кладбища, Яшка сказал с веселой ноткой в голосе:

— А тут позавчера выломали в склепе двери и вынесли две дорогие иконы, серебряные венки и золотую лампадку.

— Ай, какой грех! — воскликнула Надя и перекрестилась.

— Что вы изволили сказать? — спросил Яшка.

— Грех какой, говорю.

— Гм… Да… Грех… Зато работа какая чистая. — И лицо Яшки озарилось светлой улыбкой.

А когда они проезжали мимо Чумной горы, по склону которой бродили, щипля жалкую траву, коровы и стреноженные лошади, Яшка меланхолично заметил:

— А много бимборов и клифтов закопано в этой горе…

— Какие бимборы и клифты? — спросила наивно Надя.

— Часы и пальто, — объяснил точнее Яшка.

Надя засмеялась и сказала:

— Как вы чудно говорите. «Бимборы» заместо часов. Это по-какому?

— По-французскому, — соврал, не заикнувшись, Яшка. — А вы знаете, почему в этой горе много бимборов и клифтов?

— Почему?

Яшка рассказал ей, как много лет тому назад, когда в Одессе была чума, сюда свозили всех чумных и закапывали их.

— И закапывали их, — закончил свой рассказ Яшка с глубоким вздохом, — как они были, в клифтах, колесах (ботинках) и с золотыми бимборами.

— Как вы все знаете, — сказала с улыбкой На-

дя.

— О, я не только это знаю, — хвастливо заметил Яшка. — А я вам не рассказывал, что я прогимназию окончил?

— Нет.

— Как же! В позапрошлом году. У меня дома даже аттестат висит.

* * *

Было довольно рано, когда они приехали в сад. Публики, несмотря на рань, было много. Она слонялась по узеньким аллеям, обсаженным тощей сиренью и акацией, качалась на качелях, сидела за столиками и пила чай и ела мороженое. Гремел полковой оркестр, и над садом, переваливаясь с боку на бок в воздухе, медленно поднимался к тускнеющему синему небу воздушный шар с подвешенной к нему картонной свиньей.

Яшка отпустил всех извозчиков и Клопа и стал знакомить Надю с садом. Он показал ей сцену под навесом, павильон для танцев, в котором 40 пар слободских и молдаванских кавалеров и дам откалывали падеспань и перестреливались конфетти, буфет.

До начала концертного отделения на сцене оставалось полтора часа. Яшка угостил Надю

бифштексом на масле, мороженым, лимонадом, покачался с нею на качелях, послушал в фонографе куплеты г-жи Зины Мирской, глубокочтимой и уважаемой господами белоподкладочниками, и потом подошел с нею к тиру.

У тира стояло человек десять каменщиков в высоких сапогах, картузах и пиджаках поверх рубах. Они лузгали семечки и глазели на стоявших в глубине тира французских капралов, сработанных из дерева и картона, зверей — зайца, медведя и тигра из такого же материала — и бутылки, висевшие бахромой под потолком. Капралы и звери были изрешечены пулями.

У входа в тир, справа, за стойкой стоял хозяин тира, красивый мужчина в черных усиках, и заряжал ружья. Ружей было больше дюжины, и они стояли в раме на стойке.

— Эх! Надо пострелять! — сказал громко Наде Яшка и обратился к хозяину: — Будьте любезны, г-н Ильченко, и дайте мне одно ружье.

Хозяин подал ему заряженное ружье. Яшка взял его в руки, прищурил левый глаз и прицелился.

— Вы во что целитесь? — спросил хозяин.

— А вот в этого мента-городового, — и Яшка указал на толстого французского капрала.

Хозяин рассмеялся.

Бах! раздался выстрел.

— Пальцем в небо! — крикнул какой-то пробегавший мальчишка.

Яшка действительно попал пальцем в небо. Он попросил новое ружье и во второй раз прицелился в капрала. И опять попал пальцем в небо.

Яшка сделал потом один за другим двадцать выстрелов и все неудачных.

Неудача его вызвала хохот в собравшейся публике. Яшка разозлился.

— До утра стрелять буду, а попаду в тебя! — крикнул он толстому и неунывающему капралу.

Бах! Бах! Бах! — палил Яшка.

Дзинь! Двинь! Двинь! — звенели бутылки.

Все заряды его попадали в бутылки.

Яшка неимоверно потел и метал искры из глаз. Ему было неловко перед Надей. Когда он прицелился в тридцатый раз, его дернул за рукав какой-то плохо одетый субъект и сказал:

— Да брось, товарищ, стрелять. Тут тебе не везет. На тульче (толчке) дело другое. Там «стрелять» (воровать) легче.

Яшка повернулся и радостно проговорил:

— А, Сенька. Здорово.

— Брось стрелять, — сказал Сенька.

— Бросаю. А жаль. В мента хотел попасть, да

не везет.

Он расплатился с хозяином и представил Сеньке Надю:

— Моя бароха (любовница).

Сенька неловко подал Наде руку.

— Нравится? — спросил его Яшка шепотом.

— Ничего, — процедил Сенька. — Девочка клевая (хорошая).

В это время послышался звонок. Публика сорвалась с аллей, с качелей, выскочила из павильона для танцев, из-за кустов и потоком устремилась к сцене. В минуту вокруг сцены образовался густой, непроходимый лес людей.

— Бежим и мы, — сказал Сеньке и Наде Яшка.

И они побежали.

Яшка и Сенька штурмом взяли столик под навесом, — они отбили его у трех городских «шпаков» — и потребовали самовар и пирожные. Когда самовар был подан, Надя отложила в сторону зонтик, скинула перчатки и разлила по стаканам чай.

Раздался второй звонок. Толпа зашумела, как настоящий лес, разбуженный грозой, стала напирать со всех сторон и чуть не смела все столики вместе с кипящими самоварами и чайной посудой. Яшка и Сенька грудью защитили свой

столик.

Раздался третий звонок, и взвился занавес. На сцену вышел какой-то господин, брюнет в черном сюртуке с нотами в виде трубки в руках, и запел слегка надтреснутым голосом, «с чувством и расстановкой»:

Ты-и по-о-омнишь ли,
Что-о-о обе-е-ща-а-ла-а-а?!

— А что она обещала?! — раздался среди торжественной тишины пискливый и задорный голос с высокой акации, в ветвях которой весьма удобно устроился какой-то сорванец.

Сад захохотал.

Брюнет пропел без особенного успеха три цыганских романса и удалился. В толпе пронесся говор:

— Сейчас Катков! Катков сейчас выйдет!

Столы под новым натиском толпы, жаждущей увидеть поближе своего кумира, затрещали. Позади послышались сердитые голоса:

— Пожалуйста, мунсью, полегче! На мозоль!

— А я почем должен знать, что у вас мозоль?!

— Да что с ним, Юрка, раскомаривать! В ухо его! Тоже хитрый выискался!

— Я городового позову!

— Хоть весь Бульварный и Александровский участок!

Из-за кулис вдруг горохом выкатилось на сцену треньканье балалайки и слова разухабистой русской песенки:

Я спою про нашу,
Песню про Малашу…

Сад заревел теперь, как сказочное многоголовое чудовище:

— Браво, Катков! Ура-а!

И в воздухе замелькали платки и картузы.

VIII. Катков

Столы жалобно-жалобно затрещали. Где-то со звоном полетели на пол стаканы и ложечки и раздался отчаянный женский голос:

— И что они делают?! Задушить хотят!

Из-за кулис между тем, не торопясь, медленно выходил высокий худощавый парень с симпатичным лицом, одетый великорусским пастухом, в лаптях, в рубахе, стянутой на животе шнурком, в высокой соломенной шляпе и длинных, цвета льна, волосах. Он держал в левой руке балалайку, бренчал на ней и напевал «Малашу».

Но ни балалайки, ни его не было слышно из-за рева публики:

— Катков! Браво-о, Катков!

Яшка при виде своего любимца пришел в такой восторг, что вскочил на стол, причем раздавил блюдце, стал махать картузом и орать:

— Биц, Катков! Ура-а!

И, не довольствуясь этим, он «в знак поклонения таланту Каткова» вложил в рот два пальца и свистнул соловьем-разбойником.

Катков сеял направо и налево улыбки и кланялся.

Но вот мало-помалу толпа успокоилась. В саду воцарилась тишина, и Катков начал:

Я спою про нашу
Песню про Малашу!
Маланья моя,
Лупоглазая моя!
Как на деревне жила
У дьяка служила.
Маланья моя,
Лупоглазая моя!

— Ха, ха, ха! — заливалась трехтысячная толпа.
— Браво, Катков!

Стала чепуриться
И с дворником возиться!
Маланья моя,
Лупоглазая моя!
Кто ей рупь целковый,
А кто платочек новый!
Маланья моя,
Лупоглазая моя!

Надя так и покатывалась. Глаза у нее от удовольствия блестели.

И вот наша Маланья
Пошла на содержанье.

Песни распевает,
Ноги задирает.
Эх смотри, Маланья,
Брось свое гулянье!
В старости увянешь,
Сбирать кости станешь, —

— тянул Катков и каждое двустишие сопровождал рефреном «Маланья моя, лупоглазая моя». Катков закончил:

Спел вам про Маланью,
Ну, и до свиданья!

И он с легким поклоном удалился.
Сад опять заревел:
— Ка-а-атков! Биц!
Катков опять вышел на сцену.
— «Кухарку»!
— «Ах ты доктор»!
— «Купец»! — требовала толпа.
Яшка же настойчиво требовал:
— «Раз, два, три, четыре, пять»!
— «Раз, два, три, четыре, пять», — подхватила толпа. Катков качнул головой и затянул:

Как у Марьи-то Сергевны
Муж громил кабак, как Плевну!

Запил горькую опять,
Раз, два, три, четыре, пять!

А у тетушки Федосьи
Все сидят без мужа гости,
Не приходится скучать!
Раз, два, три, четыре, пять!

Ну, а баба одурела
И взаправду захотела
С Родионом поиграть!
Раз, два, три, четыре, пять!..

«Доктора», «доктора»! — взревела потом толпа. Катков улыбнулся своей симпатичной улыбкой и снова завел балалайку.

Хочет дамочка свободы,
Посылает врач на воды.
Ах ты, доктор, доктор, доктор,
Доктор миленький ты мой!
Там водицу пьет она,
Глядь, и тальица полна…

— Ой, мама, умираю! А штоп тебя! Вот поет!

Ну и заморил! — взвизгивали в толпе женщины.

Катков разошелся и запел «Кухарку»:

Получила я расчет,
Да плевать мне на господ.
Я в корсетик затянусь
Нарумянюсь, набелюсь!
Эх-ма, эх-ма,
У меня ли нет ума?!..

Раз десять вызывали Каткова и требовали петь без конца. Его замучили, пот ручьем струился с его болезненного усталого лица, и он показывал на грудь и горло: «охрип, дескать, устал, пощадите».

Но эгоистичная толпа была безжалостна.

— «С циркулем»! — требовала еще она.

Катков махнул рукой, отложил в сторону балалайку, обтянул рубаху, ухарски заломил на затылок шляпу, выставил вперед обутую в лапоть ногу и под музыку стал выделывать ею всякие па, поворачивать ее и сыпать словечками:

— А ножка-то! Как живая! Теперь будем танцевать по-балетному! Теперь по-шансонетному! А вот — циркулем! С канифасом! С кандибобером! С кандифефером! Отскочь на Малороссийскую улицу! Фундамент закладываем! По-архитекторскому! С клопштосом! Кием в середину! Поехала машина! А штаны полосатые от У. Ландесмана 42!

Катков сыпал, как из мешка, и каждое словечко молдаванская и слободская публика встречала гомерическим смехом и бурей восторга.

Одна дама, толстая торговка из крытых рынков, торгующая деликатными овощами — спаржей и артишоками, — до того смеялась, что с нею «шкандал» приключился…

И не с нею одной.

А Надя, Надя! Господи Боже мой! Она так увлеклась Катковым, что сама полезла на стол, кричала «биц!» и без конца размахивала красным зонтиком.

IX. Сашка-музыкант

После выхода Каткова интерес к саду у Яшки пропал, и он сказал Сеньке и Наде:

— Айда теперь до «Гамбринуса», Сашку слушать!

И через полчаса они сидели в известном погребке, на маленьких желтых бочонках, вокруг большой бочки, на которой стояли три большие, как фабричные трубы, кружки с черным пивом с «манжетами» (пеной), сосиски с хреном, нарезанные франзоли и французская горчица.

Надя с удивлением разглядывала расписанные цветами, женскими головками и жанровыми картинами стены и низкие своды погребка.

В погребке было светло и много народу. Вокруг бочек тесно сидели кочегары, штурманы дальнего плавания, фабричные, ремесленники, кучера с дамами сердца — аппетитными кухарками, мамками и экономками. Все сидели в облаках дыма от трубок, папирос и сигар, пили пиво и жадно слушали широкоплечего блондина, которого все фамильярно называли «Сашкой».

Сашка сидел, развалившись небрежно на стуле, и играл на скрипке. И ему аккомпанировали с

двух сторон два молодых человека весьма приятной наружности, один на фортепиано, а другой — на фисгармонии.

Наде казалось, что она спит и видит всю эту диковинную обстановку — расписанные стены, мягкий свет и благородную публику — и слышит эту удивительную музыку — во сне.

Ах, какая это была музыка!

Если Катков пользуется большой популярностью на окраинах города, то не меньшей популярностью пользуется там Сашка.

Сашка, Сашка! Кто не знает его?! Его едут слушать со всех концов Молдаванки, Пересыпи и Слободки-Романовки[14].

И недаром. Он душу выворачивает своей скрипкой, он в состоянии заставить камни обливаться слезами и сейчас же заставить их пуститься в пляс…

Когда Сашка кончал, гости наперерыв приглашали его к столикам и накачивали пивом. Какой-то моряк лез целоваться с ним и орал:

— Где я был?! Весь мир объехал! В Нагасаках был, на Цейлоне, в Порт-Артуре, в Марселе, Херсоне, Николаеве, а такого скрипача, как ты, не

---

[14] Примечания: 14
Предместья Одессы.

слышал!

Гости и пяти минут не давали отдыху Сашке и требовали:

— Сашка! Играй «Исса!»[15] Ой исс-са, ис-са-а!

— «Шик, блеск, иммер элегант»!

— «Муж, расставаясь с красоткой женой»!

— «На дворе живет сапожник, а на улице портной»!

— «Квартирные деньги»!

— «Олтаехан»!

— «Зетц»!

— «Минуты забвения».

— «Пой, ласточка, пой»!

Громче всех был слышен пронзительный голос экономки в персидской шали на плечах, с розой на страшной груди и с маслеными глазами, сидевшей в приятной компании кучера и пароходного кока (повара). Она кричала:

— «Маргариточка-цвиточек»!

А какой-то жлоб басил:

— «Було на вострове гулянье»!

Сашка всех удовлетворял. Он играл все и с фокусами. Скрипка у него то жалобно плакала, то хохотала, как ведьма с Лысой горы, пела петухом,

---

[15] Примечания: 15
Румынская песенка.

мяукала кошкой, мычала коровой, трещала, как канарейка в спальне новобрачных, злилась, радовалась, молилась и прочее, прочее.

К Сашке подошел мужчина в красном шарфе на шее и попросил сыграть «Реве та стогне Днипр широкий».

Сашка заиграл.

Надя, успевшая выпить по настоятельной просьбе Яшки и Сеньки шесть кружек пива и охмелевшая, ловила звуки скрипки с напряженным вниманием. Ей казалось, что вот-вот близко катится Днестр и ревет, и стонет.

Надя заморгала отяжелевшими веками, уронила голову на стол и заплакала.

— Чего ты? — спросил Яшка.

— Днестр вспомнила, — ответила она сквозь слезы.

— Какой Днестр?.. Плюнь!..

Сашка настроил публику на тихую грусть. Все сидели с опущенными носами.

Но вот Сашка заиграл такой веселый румынский мотив, что носы у гостей моментально взлетели кверху и у всех затряслись поджилки. Все стали передергивать плечами.

Надя подняла заплаканное лицо, улыбнулась и почувствовала, что какая-то сила поднимает

ее. Она поднялась, стала раскачиваться, как маятник, и подбирать юбку для того, чтобы ноги не путались в ней и ей можно было бы перебирать ими.

— Садись, — сказал Яшка. — Не срами.

— А я не хочу, — ответила она, путая языком.

Яшка силой усадил ее.

* * *

После седьмой кружки Надя совсем охмелела. Все — бочки, кружки с пивом, горчичницы, официанты, Сашка со скрипкой, фортепиано, фисгармония, люстры — завертелось перед нею в бешеной пляске.

Глаза ее подернулись влагой и потухли, косынка скатилась на плечи.

Яшка посмотрел на нее, подмигнул Сеньке и сказал со смехом:

— Охфен (готово), дядя.

— Что?... Что ты сказал? — спросила она.

— Готово, говорю, — ответил Яшка.

Надя остановила на нем свои потухшие глаза, сощурилась, облизнула кончиком языка губы, как это делают пьяные, и бессвязно залепетала:

— Готово?... Что — готово?... Ты думаешь, я пьяная? Я тверезая... А на хозяйку мне наплевать...

Пусть попробует достать за 4 рубля служанку… Как тебя звать?.. Чего ты смеешься?… Скажи, чтоб играли «Маргариточка-цвиточек».

— Харашмо, — сказал Яшка и усмехнулся…

* * *

В половине первого ночи Яшка распростился с Сеней и вместе с Надей оставил погреб.

Надя еле держалась на ногах, и, если бы Яшка не поддерживал ее, она непременно полетела бы на землю и расквасила бы себе нос.

Надя была отвратительна. Так отвратительна, как только может быть пьяная женщина. Она лепетала:

— Это ничего, что я пьяная… А мне плевать на хозяйку… Скажи ему, чтобы он играл «Маргариточка-цвиточек».

— Харашмо, — твердил Яшка.

Лепет свой Надя часто прерывала тихим бессмысленным смехом.

Яшка с трудом усадил ее на дрожки. Когда он усадил ее, она на минуту протрезвилась, посмотрела на него испуганными глазами и спросила:

— Кто ты?

— Яшка, Тпрутынкевич. Не узнаешь?

— Какой Тпрутынкевич? — спросила она.

— Та будет тебе марафеты (фокусы) строить, — рассердился он.

— Ма-ра-фе-ты? — повторила она.

Она по-прежнему посмотрела на него испуганными глазами, рванулась вдруг вперед и взмахнула руками, намереваясь соскочить с дрожек. Яшка удержал ее за руки.

— Тпру-у!

— Пусти меня!.. Пусти!.. Я хочу домой! — завопила Надя.

— В четверг после дождичка!.. Извозчик, Нежинская гостиница, зашкваривай!

Извозчик зашкварил, и лошадь пустилась вскачь.

Надя тупо посмотрела на Яшку, который больно наступил ей на ногу и сильно сдавил рукой талию, умолкла, покорно нагнула голову и как бы задремала. И сквозь дрему она потом услышала, как дрожки перестали громыхать и почувствовала, как Яшка снимает ее с дрожек, ведет к дверям, освещенным круглым фонарем, волочит ее по грязной узкой лестнице с запахом кислой капусты наверх мимо гиганта в фуражке с желтым околышком, как он вводит ее в крохотную, душную комнату и как она катится в какую-то глубокую-глубокую бездну, над которой стоит ее

дядя Степан и грозит ей пальцем…

* * *

Светало, когда Яшка с Надей оставили гостиницу.

Надя находилась в прежнем дремотном состоянии. Яшка усадил ее в дрожки и набросил на ее голову косынку.

— Ах, как у меня голова болит, — пролепетала она.

— Пройдет, — спокойно сказал Яшка.

— Где я? — спросила она немного погодя.

— На Дегтярной улице.

— На Дег-дег-дегтярной улице?

Надя наморщила лоб, силясь что-то припомнить.

— Хочешь быть моей барохой? — спросил Яшка.

— Ба-роха? А что такое ба-роха?

— Любовница, — пояснил он.

— Н-не. — И Надя отрицательно покачала головой.

— Ну, вот еще! Я одену тебя, как принцессу, — стал напевать ей на ухо Яшка. — Будешь у меня в шелках ходить. Гейшу куплю тебе, ботинки на высоких подборах с пуговичками, гамаши, пер-

чатки, кольца, серьги, шляпу с пером и лентами. Все тебе будут завидовать. Будем каждое воскресенье в «трезвость» ходить и до «Гамбринуса». Хочешь? Скажи.

— Хочу, — отвечала она с закрытыми глазами и блаженно улыбнулась.

Она находилась в забытьи несколько минут, потом вдруг открыла глаза, истерически разрыдалась, забилась в руках Яшки, как пойманная птица, и залепетала:

— Что ты со мной сделал?

Яшка нахмурил брови и сердито сказал:

— Та ну, зекс (молчи)! Чего тарарам (шум) делаешь. Я тебе бабки (лупки) дам и из дрожек выкину.

Надя притихла.

X. Король Лир

После описанной ночи Надя бросила хозяйку и сделалась барохой Яшки.

Яшка сдержал свое слово. Он одел ее как «принцессу». И Надя, как предвидел Яшка, возбудила сильную зависть в барохах его товарищей.

У Соньки Боцман, Лельки Кособокой, Маньки Кондуктор и Нинки Добровольный флот глаза лезли на лоб и лица делались зелеными, когда Надя важно шествовала по улице в новенькой гейше цвета кофе с молоком на пунцовой подкладке, с атласным ридикюлем в руке, под белоснежной вуалью с бархатными мушками, распустив над широкой бархатной шляпой с большой никелированной пряжкой и страусовым пером фиолетовый зонтик и высоко подобрав шелковое платье, под которым всеми цветами радуги отливала канифасовая «миньон»-юбка с золотистыми оборками и блестели лакированные ботинки на высоких каблуках с пуговичками.

И доставалось же из-за нее их сожителям — Яшкиным товарищам-скакунам.

Сонька Боцман, как чума, грызла Мишку Фонаря.

— Погляди, как одета бароха Яшки. Как принцесса. Гейша у нее, шляпа, зонтик, колеса[16] на высоких подборах с пуговичками. А я? Второй год живу с тобой и за все время ты одно платье мне сделал. Срам какой. А я тебе верой и правдой служу. Когда надо, на цинке (на страже) постою тебе. По крайней мере, пользу приношу. А она (Надя) что? Ни бе ни ме.

В это самое время Лелька Кособокая пилила своего друга сердца — Степу Замка.

— Как тебе не стыдно. Ты такой же, Степа, блатной (ловкий вор), как и Яшка. Слава Богу, и на грант кого угодно возьмешь, и сблатовать (украсть) первый сорт и мех (живот) кому угодно открыть. А я, бароха твоя, как одета? Как та, что на бирже стоит и поноску тащит. Смотри. Колеса мои совсем развалились.

Манька Кондуктор тоже плакалась на свою судьбу перед Гришкой Контрабасом:

— И зачем я, такая несчастная, на свет уродилась? Зачем я спозналась с тобой? Зачем я через тебя честных правил решилась? Боже мой, Боже мой! На кого я теперь похожа? А было мне хорошо. Служила я у колодочного надзирателя

---

[16] Примечания: 16
Ботинки.

за кухарку. На базар идешь, и у тебя завсегда полтинник в кармане остается. Я могла собрать себе деньги и замуж за письмоводителя или за извозчика выйти.

А Нинка Добровольный флот поставила ультиматум Феде Свистуну:

— Ежели ты мне к завтрешнему дню не предоставишь гейши и колес на пуговичках, — адью тебе. Ну тебя к лешему. Я баба клевая. Меня всякий в бароху возьмет.

Бедные скакуны. Совсем житья им не стало от их завистливых барох, и они накинулись с претензиями на Яшку:

— И что ты сделал с нами?! Нарядил свою бароху в шляпку, гейшу. Наши грызут нас. Подавай им тоже гейшу и колеса на пуговицах.

— А я почем виноват? — ответил Яшка с довольной улыбкой.

И назло барохам их он пошел в меховой магазин и купил Наде еще собаку (горжетку) с головой, ушами, хвостом и всеми четырьмя лапами.

* * *

Яшка, как только Надя бросила хозяйку, устроил ее на квартире у своей доброй знакомой Ханки Круглой сироты — покупщицы краденых вещей.

Ханка отвела ей небольшую, но уютную комнатку.

Яшка оклеил комнатку голубыми обоями и уставил ее красивой, хотя и подержанной мебелью. А потом натаскал откуда-то вазоны с тропическими растениями — фикусами и кактусами, расшитые полотенца, картины, кисейные занавеси, шарманку и клетку с двумя канарейками. И Надя зажила, как настоящая принцесса. Она вставала в 11 часов утра. К этому часу на столе уже мурлыкал новенький медный самовар и стояли крынки со свежими сливками и сметаной, масло, душистый хлеб, сдобные, яйца, мандаринки и прочие дары природы. Дары эти приносили ей со всех концов города — с Привозной площади, Пересыпи, Николаевской дороги, Тираспольской заставы, Нового, Старого и Греческого базаров — юркие блотики и кодычки (воришки), прилежные ученики Яшки — Клоп, Пистолет, Дюк и Орех.

Надя, понежившись несколько минут под байковым одеялом с крупными перламутровыми пуговицами в широкой белой наволоке, слезала с постели, влезала в турецкие туфли с круглыми носками и нежный капот в кружевах, садилась за стол, выдувала одна полсамовара и съедала все

сдобные и уйму сливок и масла.

Яшка в это время «скакал» с воза на воз, батал и каждые четверть часа посылал Наде с блотиками своими то жирного индюка, то кусок сала, то ящик с макаронами, то мужицкий кожух, начиненный блохами, то корзинку с яйцами, то солдатские желтые сапоги. Блотики, принося ей то или другое, неизменно говорили:

— Вот, Яков Иванович послал вам и велел кланяться.

— Он купил? — осведомлялась Надя, не знавшая еще о благородной профессии ее рыцаря.

— Да, купил, — врали, не заикаясь, блотики и расставляли принесенное по углам.

Блотики однажды натаскали столько всякой всячины, что комнатка сделалась похожей на лавочку экономического общества. За недостатком места пришлось бочонок с нежинскими огурчиками, лоханку с мочеными яблоками и корзинку с «кабаковыми» семечками поставить на кровать.

Надя положительно растерялась, и, когда Клоп потом, пыхтя и обливаясь по́том, приволок еще рыжий чемодан да большой парусиновый зонт, сбатанные Яшкой у проезжего гражданина заштатного города Маяки, она всплеснула руками

и завопила:

— Еще?! И куда я все это дену?!

— А вот сюда, — ответил Клоп, вытер рукавом свой нос и взвалил чемодан вместе с зонтом и плащом на лоханку с мочеными яблоками.

Вечером Надя имела по этому поводу разговор с Яшкой.

— И на что все это нам? — спросила она. — К чему этот чемодан, кожух с блохами? Черт знает, на что деньги проводишь.

— А я иначе не могу, — ответил Яшка. — Слабость такая. Пройти мимо чего-нибудь не могу, чтобы не купить.

Волей-неволей Наде пришлось помириться с оригинальной слабостью Яшки.

Покончив с чаем, Надя надевала гейшу, шляпу и отправлялась на Колонтаевскую улицу к одному гитаристу — брать, по настоянию Яшки, уроки на гитаре, к которой имела сильное влечение, и уроки пения, а потом отправлялась к своей экс-хозяйке, рассказывала ей о своем житье-бытье, чем вызывала в хозяйке большую зависть, и игралась с Феденькой, который больше не тыкал ей в зубы фиги и не запускал в нее самоварным краном, так как Надя задабривала его подарками.

От хозяйки она шла домой и плотно обедала. А

вечером являлся домой Яшка, сбрасывал свой «рабочий» костюм, — голландку, полосатые штаны «от У. Ландесмана 42» и картуз, и одевался вполне по-европейски, и они вдвоем отправлялись к «Гамбринусу» послушать Сашку, в ресторан Макаревича или в театр попечительства о народной трезвости, в зал Болгарова.

В театр они ходили довольно часто, так как Яшка, кто бы мог поверить, был ярым театралом. Не удивительно ли? Но удивительнее всего, что Яшка предпочитал классические пьесы, трагедии мелодрамам и комедиям. Он питал особую страсть к трагедиям, и насколько велика была эта страсть, можно судить по тому, что он 10 раз видел «Разбойников», 8 — «Дон-Карлоса», 15 — «Гамлета» и 20 — «Короля Лира».

«Двух сироток» же, «Семью преступника» и «Парижских нищих» по одному и два раза только.

Из всего этого читатель может заключить, что Яшка был поклонником классицизма. Да и как же иначе? Но такое заключение будет ложным, так как его тяготение к творениям Шекспира и Шиллера объяснялось исключительно его удивительной практичностью. Он любил трагедии просто потому, что они, не в пример мелодрамам и комедиям, собирали в театр чистую и более

зажиточную публику с… хорошими бимборами (часами) и портсигарами.

Практичность Яшки в данном случае сослужила ему хорошую службу. Прослушав двадцать раз «Короля Лира», он постиг в совершенстве всю прелесть этого дивного произведения и прекрасно ознакомился с его содержанием.

Короля Лира Яшка называл «старым жлобом», то есть старым дураком, и рассказывал о нем не иначе, как со смехом. Он до того заинтересовал им однажды Надю, что она попросила его непременно повести ее в театр на «Короля Лира». И он повел ее.

Они заняли места на галерке.

Когда занавес взвился и перед Надей предстал тронный зал короля Лира, Яшка твердо, как фонограф, и довольно образно, хотя и туманно, так как он не мог отрешиться от своего воровского языка, стал объяснять Наде вполголоса:

— Вот этот, который сидит на стуле с толстой сахарницей, с большим мехом (животом), и есть тот самый старый жлоб — король Лир. Играет его артист Россов. Сбоку, эти две мамки — дочери его Горилла (Гонерилья) и Стервана (Регана), а эти два мента (военные) любовники их (герцоги Албанский и Корнвальский). Вот еще одна дочь

его, самая младшая — Корделька (Корделия). Клевая, славная бабенка. А остальные (рыцари, офицеры, гонцы, воины и свита) все — менты. А этот — Клестер (граф Глостер). Слышишь, Надя? Старый жлоб говорит, что ему надоела эта жисть собачья и что он хочет отдать дочерям все свои причендалы (имущество) и ховиры (хоромы). Горилла, слышишь, наливает ему масло, что любит его. И любовник ее то же самое. Теперь ему наливает масло Стервана. Совсем заморочили они старому жлобу голову. Он и отдал им все. А Корделька стоит в стороне и не хочет наливать масла, потому что у нее совесть есть и она правду жарит. Слышишь, Надька, что она говорит: «Не боюсь я правды!» Ай да Корделька! Молодчина! Я сам за правду отца родного зарежу. А он, жлоб старый, ругает ее за это, за правду-то. «Лучше бы тебе не родиться на свет!» Боже мой, Боже мой! Где — правда?! Задвинуть бы ему нож в мех (живот).

Когда занавес опустился, Яшка стал хлопать в ладоши и орать:

— Биц! Браво, биц!

Из ста человек, находившихся на галерке, он один хлопал, так как один понимал пьесу. Остальные же пожимали плечами, сопели и пялили

глаза то на Яшку, то на спущенный занавес.

«Хоть убейте, люди добрые, ничего не понимаем», — говорили их вылупленные глаза.

Сознавая свое превосходство над этой темной и необразованной публикой, состоявшей из резников, биндюжников и торговок, Яшка окидывал их покровительственным взглядом, громче орал «биц!» и наводил вслух критику:

— И какой он король? Жлобара, а не король. Старец массовский (клиент Массовского приюта).

Набив ладони до красноты каленого железа и накричавшись вдоволь, Яшка извинился перед Надей и спустился вниз в буфет, где толпилась масса партерной публики. Яшка при помощи локтей ввинтился в самую середину, обмыл (обобрал) одного господина, другого, третьего и вернулся наверх к Наде с никелированным бимбором и двумя серебряными портсигарами в кармане.

По этому читатель может судить, как Яшка соединял приятное с полезным.

Занавес взвился вторично.

— Теперь посмотришь, — сказал Яшка Наде, — как старика будет жать Горилла. Вот она, Горилла! Слышишь, что она говорит лакею — «коли он чего потребует, так в шею его и никаких». А вот и Лир. Видишь, как лакей нос от него воро-

чает? Лир серчает. Как же не серчать?! Боже мой! Такая досада. Сам распоряжался, командовал, кому угодно в шею давал и в кич (тюрьма) сажал, а теперь его — в шею. А этот, что смеется с него — Ванька-ру-тю-тю, Петрушка (шут). Слышишь? «Дурак ты, — говорит он старику, — отдал все свои причиндалы дочерям, а теперь тебе — нос!» Как поет? «Добрая синичка кукушку кормила, а кукушка синичке голову скусила» (Яшка это двустишие знал наизусть). А Горилла старику — «можете, папаша, если вам мы не ндравимся, ко всем чертям убираться. Поищите другую ховиру (дом)».

— Бедный! — вырвалось у Нади.

— Бедный? — удивился Яшка. — Он-то? Так ему и следует. Пусть жлобом не будет. А как он Гориллу-то ругает! Слышишь? «Чтоб ты детей не рожала! А ежели и родишь дите, то чтобы оно — из желчи».

— Ах, Боже мой! Ну как же так можно?! — воскликнула Надя, перенося вдруг свои симпатии с Лира на Гонерилью.

Восклицание ее нашло полное сочувствие в близкой соседке ее — торговке, завороченной в дюжину кофт и юбок, с морщинистым и плаксивым лицом, похожей на эскимоса. Эскимос

покачал головой, сложил молитвенно руки и прошептал:

— Старый такой и так ругается. Грех.

Яшка теперь, напротив, взял сторону старика и заявил:

— Он еще мало ругает. Вот позволили бы мне, я бы ее отчитал. И дурак же он, дурак. Взял бы он ее, эту самую Гориллу, положил бы на стул, задрал бы ей хвост (шлейф) и дубовым поленом бы по этому самому месту.

— Теперь, — продолжал Яшка, когда в третий раз взвился занавес, — жлоб является к Стерване. Видишь, как он ливерует до нее (юлит), плачет и жалуется: декофт шпилит (голодаю), ховиры (дома) у меня нет, на дворе саук (холод), а в баржан (приют) без пети-мети (денег) не пускают. Боюсь еще в облаву попасть и чтобы меня этапом не отправили. «Не режется ли у тебя, Стервана, на шкал (нельзя ли достать шкал водки) или кусок кардифа (хлеба)?» А она ему: «У меня не благотворительное заведение». Видишь? Старый жлоб на колени становится перед Стерваной и плачет.

Надя при виде коленопреклоненного и горько плачущего старца сама заплакала. Заплакала и торговка, слушавшая все время со вниманием пояснения Яшки. Яшка продолжал:

— А вот и Горилла пришла. Стервана говорит ему: иди к Горилле, а он отвечает — «лучше в лесу спать буду». И опять плачет перед Стерваной. «Куда я пойду? Что я буду делать? На понт скакать (просить) я не могу, стрелять и батать (воровать) то же самое, потому что неученый я. С детства нужды не знал. Только и делал завсегда, что ел, пил и спал».

Когда занавес опустили, Надя повернула к Яшке свое заплаканное лицо и спросила:

— Что будет дальше?

— Увидишь, — ответил он, улыбаясь.

Он был очень доволен, что пьеса произвела на Надю такое впечатление.

Занавес вновь взвился, и Яшка, как чичероне, водящий туриста по музеям, продолжал:

— Теперь видите, — он обратился также и к торговке, — степь. Льет дождь.

— А почему не видать, что он льет? — спросила торговка.

— Так надо, — ответил Яшка. — Гудёт ветер. Слышите? Гу-у-у! Посмотрите, вон выходит старый жлоб. Какой страшный.

Надя взглянула на оборванного, безумного и босого Лира, выходившего из-за куста вместе с шутом, и побледнела.

Слезы готовы были опять хлынуть из ее глаз при виде беспомощного и разбитого горем и нуждой старца.

— А что у него на голове? — спросила, усиленно моргая глазами, торговка.

— Соломенный венок, — пояснил Яшка.

— Мама моя родная, — прошептала торговка.

— А у жлоба с досады, — пояснял дальше Яшка, — зайчик в голове завелся. А Петрушка (шут) все смеется с него.

Надя сделала сердитое лицо и проговорила сквозь слезы:

— Противный он.

— Кто? — поинтересовался Яшка.

— Да твой Петрушка. Человек босый, голодный, а он смеется с него.

Яшка расхохотался и взял шута под свою защиту:

— Что ты? Я люблю его, Петрушку-то. Он молодчина. Настоящий блатной (ловкий вор).

Лир предавался отчаянию, и Надя, и торговка с глазами, полными слез, прилежно вслушивались в его душераздирающий монолог:

Вы, бедные, нагие несчастливцы!
Где б эту бурю ни встречали вы,
Как вы перенесете ночь такую

С пустым желудком, в рубище дырявом?!
Кто приютит вас, бедные, как мало
Об этом думал я?! Учись, богач,
Учись на деле нуждам меньших братьев,
Горюй их горем и избыток свой
Им отдавай, чтобы оправдать тем небо.

— Хорошо он говорит, — прошептала Надя.

Яшка рассмеялся и заметил:

— Раньше он не говорил так, когда он на кресле сидел.

По окончании этого акта Яшка, пользуясь антрактом, опять пошел вниз, ввинтился в публику, легко снял с меха (живота) одного почтенного господина бимбор вместе с лентой и брелоками и полез опять наверх — к Наде.

На сцене шло уже представление.

— А что теперь? — спросила его Надя.

— А вот, — продолжал Яшка, — жлоб лежит в палатке, в постели. Его отыскала в степи меньшая дочь Корделька. А вот и она, в белом.

— Как невеста, — вставила торговка.

— Жлоб просыпается и говорит ей. Слышишь? «Светлый ангел, Корделька моя. Я тебя обидел, а ты меня согрела». А она отвечает: «Ничего, папашенька. Я злости на тебя не имею. Бог простит тебе».

Трогательная сцена встречи отца и дочери опять вызвала у Нади и торговки слезы.

— Слышь, — не уставал объяснять Яшка. — Он жалуется на Стервану и Гориллу. А Корделька отвечает ему.

Надя стала вслушиваться в монолог Корделии:

«Собака моего врага, собака, кусавшая меня, в такую ночь стояла бы у моего огня. А ты, отец мой бедный, в эту ночь должен был искать убежища в соломе смятой, в норе…»

— Бедный, славная, хорошая, — шептала Надя.

Свидание отца с дочерью растрогало ее, и она плакала теперь слезами радости. Зато последний акт поверг ее в ужас.

— Что это? — спросила она с тревогой, когда короля Лира и Корделию схватили воины и потащили.

— Засыпались оба, — ответил сердито Яшка.

— Как?

— Попались, значит, арестовали их, — пояснил он.

Торговка и Надя повесили головы.

Они сидели как убитые. Бледные-бледные. Их мучила эта вопиющая несправедливость. А когда Лир затем внес на руках мертвую Корделию и стал вопить: «Повешена моя малютка! Нет, нет,

жива! Зачем живут — собака, лошадь, крыса! В тебе ж дыханья нет!» — Надя судорожно ухватилась руками за барьер и истерически зарыдала.

Король Лир-Россов, вышедши на вызовы публики без грима, с удивлением посмотрел на галерку, откуда неслось истерическое рыдание Нади. Он недоумевал.

Не галлюцинация ли это слуха?

Он привык столько слышать всяких разговоров от своих товарищей, что классический репертуар отжил свой век, что пора сдать его в архив и что народ не дорос еще до него. А тут — истерический плач.

Три раза выходил артист на вызовы.

Ему бешено аплодировали. Но он не слышал аплодисментов. Он слышал только плач, и этот плач он принимал за лучшую награду за свою игру.

Он был счастлив…

С большими усилиями удалось Яшке успокоить Надю.

XI. Страдания Яшки

Сладко и весело жилось Наде.

Сегодня она — в зале Болгарова и аплодирует трагику Россову, завтра — у «Гамбринуса» и слушает волшебную скрипку Сашки, послезавтра — в цирке и хохочет над остротами клоуна Рибо, в воскресенье — на велосипедном треке и любуется икрами несравненного Уточкина, а в другое воскресенье — в саду «Флора» или в ресторане Макаревича. И ни в чем ей отказу от Яшки.

— Яшурка.

— Что, мамурчик? — нежно спрашивает он.

— Цизон (сезон) прошел. Новая шляпка полагается.

— Вира!.. Вот тебе баши (деньги) и покупай шляпку.

На другой день:

— Яшенька.

— Что, бароха моя?

— Зонтик.

— Скажите, пожалуйста… Получай баши.

Через два часа.

— Яшурчик.

— Что, макака сингапурская?

— Рисовая пудра.

— Получай.

Он готов был все «баши» отдать ей, только бы слышать со всех сторон от товарищей:

— Шикарная у тебя бароха.

Яшка был очень доволен Надей. Она сделалась для него предметом его гордости, и он даже серьезно полюбил ее.

Надя оказалась удивительно мягким, добрым и ласковым существом. Она вышила ему болгарскими крестиками лелю (рубаху), которую он с гордостью носил по воскресеньям, и играла ему на гитаре его любимые песни — «Марусю», «Отраву», «Прощай вся Одесса, веселый Карантин» и «Бродягу».

Одно только не нравилось ему в ней и огорчало его — ее чисто женское любопытство. Этакое противное любопытство! Сидит она, бывало, вечерком и играет «Марусю». Она весела, шутит, смеется. И вдруг она умолкнет, гитара вывалится из ее рук, лицо сделается скучным, вялым и глаза опустятся книзу.

— Что случилось? — спрашивает Яшка и хмурится.

Он знает, что случилось.

Надя молчит.

— Да что случилось? — повторяет он с раздражением в голосе.

— А ты не будешь бить?

— Не буду.

Надя поднимает глаза и говорит:

— Да вот, Яшенька… Живем мы с тобой столько времени, а я до сих пор не знаю, чем ты занимаешься. Уж очень много у тебя свободного времени и легко тебе достаются деньги. Скажи правду — чем ты занимаешься?

Голос Нади дрожит, и в нем слышны слезы. Яшка вспыливает, бросает на нее свирепые взгляды и орет:

— Дура ты, дура! Сколько раз я говорил тебе, что служу артельщиком в банке и что у меня — молочное хозяйство и кирпичный завод.

— Какой кирпичный завод? — недоверчиво спрашивает Надя.

— Какой, какой?! — передразнивает Яшка. — Такой, что кирпичи выделывает.

— Честное слово, Яшенька?

— Не честное слово, а покарай меня толчковский бог! Чтоб мне шмирником (ночным сторожем) подавиться.

— А ты покажешь мне его когда-нибудь?

— Кого?! Что?!

— Твой кирпичный завод.

Наивная просьба ее приводит Яшку в веселое настроение. Он хохочет, как сумасшедший, и отвечает:

— С удовольствием. Когда-нибудь покажу его. А пока играй дальше.

Подозрения Нади рассеиваются. Она опять становится веселой и продолжает наигрывать «Марусю». А Яшка садится против нее и подпевает своим пронзительным тенорком:

Чует мое сердце, словно ворожит,
В Карантинной гавани «Ярославль» стоит.
Ждет он арестантов, гостей из тюрьмы,
Гудят без прерыва громкие гудки.
Ветерочек веет, «Ярославль» гудит,
Идет мой Володя, цепями гремит.
Как взошел на палубу, глянул пред собой, —
Ждет его каюта с решеткой двойной.
Но вот раздался последний гудок,
«Ярославль» отчалил на Дальний Восток.
Скрылася Одесса, гавань-карантин,
«Ярославль» отчалил на остров Цакалин.
Но вот по Красному морю он плывет,
В Михайловской церкви венчанье идет.
Перед аналоем девица стоит,
На нее с любовью молодец глядит.

По любви женился, за себя берет,
На них с любопытством смотрит весь народ.
Вышел и священник, проповедь сказал,
Через час любовных он перевенчал.
И с тех пор Маруся счастливо живет,
«Ярославль» тем временем все дальше плывет…

Иногда по вечерам к Яшке приходили гости.

Чаще всех приходил Сенька-скакун, выдаваемый Яшкой за «штурмана дальнего плавания», плавающего то на «Ольге», то на «Марии», то на «Ксении», со своей барохой Катей Удержись — мордастой, как бульдог, толстой и неповоротливой, как тумба, со шрамом поперек носа и с канканчиком (чубчиком) в четверть аршина.

Дамы пили чай с вареньем и бисквитами и беседовали о нарядах, а кавалеры дули монофорт, рассуждали о городских происшествиях, обсуждали администрацию, критиковали ментов и шмирников и играли в карты — в «три листика с подходом».

Так протекали у Яшки и Нади дни.

Любовь Яшки к Наде крепла с каждым днем. Он баловал ее, как ребенка. Но по мере того, как крепла его любовь, Надя становилась холоднее, скучнее и задумчивее. Как осенний вечер.

Яшка замечал это, но терпел. Но всякому терпению бывает конец.

Однажды вечером, когда они сидели за чаем, он строго спросил ее:

— Чего у тебя рожа такая кислая? Чего ты на меня тоску нагоняешь? У меня и так на душе, как за решеткой.

— Я хочу знать, — простонала она.

— А?!.. Опять?!

Лицо Яшки позеленело, и блюдечко с чаем в его руках заплясало.

— Скажи правду, чем ты занимаешься? — простонала она вторично.

— Да я тебе сто раз говорил, — ответил Яшка. Он старался быть спокойным. — Ты, стало быть, не веришь? Ну ладно. Скажу правду. Я — часовой мастер. Видала, сколько у меня карманных часов?

Надя покачала головой и твердо заявила:

— Врешь!

Яшка посмотрел на нее в упор — он был ошеломлен ее смелостью, — и прочитал в ее глазах упрямство.

— Ты хочешь, значит, чистую правду? — спросил он сдавленным голосом.

— Да-да!

— Хорошо… Я — вор.

Надя побелела, быстро закрыла лицо руками и заплакала. Ее подозрения оказались основательными.

Яшка удивился.

Он был уверен, что она примет признание его иначе — спокойно, помирится со своим положением и перестанет изводить его своим любопытством. А тут — слезы. Слезы не только удивили его, но и оскорбили.

«Как? — подумал он. — Она плачет? Боже мой, Боже мой! Значит, ей совестно иметь со мной дело?»

И в нем стали закипать и подниматься, как пары над кипящим котлом, злоба и досада.

Яшка бросил на Надю убийственный взгляд, хватил вдруг о пол с грохотом и звоном блюдечко, вскочил из-за стола и спросил:

— Чего ты, чума бубонная, расплакалась?..

Надя в ответ заплакала еще громче.

— Что ж, по-вашему, мадам, вор — не человек?!

Ответа опять не последовало.

Яшка сделался неузнаваемым. Глаза у него вспыхнули, налились кровью, и скулы, и челюсти под тонкой желтой кожей ходуном заходили. Он оглянулся, схватил тяжелый табурет, на котором

сидел, и быстро занес его над головой Нади.

Одно движение, и табурет со страшной силой обрушился бы на ее голову. Но Яшка не сделал этого движения.

Подержав немножко табурет в воздухе, он уронил его на пол, отшвырнул ногой к железной кровати, которая издала оглушительный звон, и быстро, не глядя на Надю, зашагал по комнате.

В комнате сделалось тихо. Слышно было только пение самовара на столе, всхлипывания Нади, тяжелые шаги Яшки и странное скрипение. Это скрипение принадлежало Яшке. Он скрипел от душившей его злобы зубами.

Сделав, или, вернее, пробежав несколько десятков шагов, Яшка вдруг заговорил отрывисто и со злым смехом.

Он говорил, косясь на Надю и не переставая скрипеть зубами.

— Вор, вор!.. Да, я вор! Что ж такое?! Я вор, потому что умный. Только жлобы (дураки) не воры, а честные. Жлобы поэтому родятся голодными, живут голодными и околевают такими. Такой век у нас, что надо стрелять, батать и гамать, а то всегда на декохте сидеть будешь.

Яшка сделал маленькую паузу и стал развивать свои любимые взгляды на честных людей и труд.

— Вот, сидел я в позапрошлом году с одним образованным господином за решеткой. Дурак! Он свистел артистам в театре и большой тарарам (шум) на галерке устроил. Мы разговорились с ним. — Грех, — говорит он мне, — воровать. Надо к чужому добру уважение иметь. — А ежели, — спрашиваю его, — жрать сильно хочется и никто не дает, то батать разрешается? — Нет. Смотри заповедь — «не кради». — Ну, а за глотку, господин образованный, ежели ходишь-ходишь и глаза у тебя на лоб лезут, оттого что у тебя мех пустой — разрешается? — Тоже нет. Смотри заповедь: «не убий». Вот изводил меня заповедями. На все у него заповедь. — Так, по-вашему, — говорю, — только честным трудом заниматься надо? — Обязательно. И вам советую. Будете себя очень хорошо чувствовать. — Я подумал и дал ему честное слово, что как только мостовую увижу, честным трудом займусь. И я сдержал слово. Поступил в одно заведение, честным трудом занялся. Но и трех дней я не пробыл там. Плюнул и сбежал. С непривычки, должно быть. Да и как привыкнуть? Получаешь не в пропорцию, пятаки потертые, а с тебя на миллион взыскивают. Хитрые. Это бы ничего. Да вот чахотка берет. Хозяин этого самого заведения ходит вокруг тебя весь день, а мех у

него толстый, и все зудит: «Кому не угодно, получай ращет». Ну как не сбежать? Пошел я в другое, в третье заведение. И оттуда сплейтовал (удрал). Везде одно и то же. Никакого тебе удовольствия. Сиди целый день, кланяйся, получай каждую минуту «дурака» и питайся воздухом. Да хоть бы воздух был там хороший! Нет, не согласен. Не хочу я быть честным человеком. Невыгодно. А если очень хочешь, чтобы я был честным человеком и честным производством занимался, то награждай меня так, чтобы мех у меня, у моей барохи и барохинят был постоянно полон, чтобы ховира у меня была хорошая и чтобы три раза в неделю я мог разрешать себе либо поросенка с кашей, либо антрекот с набалдашником… Тогда, изволь!.. Вот ты, макака сингапурская. Сама жаловалась мне, что хозяйка твоя за 4 рубля 8 шкур с тебя драла!.. Был я вчера в суде. Судили там одного рогатого. Смешной он такой, рыжий, худой, как скерлет, ноги, как спички, и говорит все — «вай, вай». Но зато умный, шельма. — «Вай, вай, — говорит он, — гашпадин мировой шудью, у меня жена — калека на левую ногу, в животе у нее каламутная болесть и пятеро детей у нас маленьких. Все голы-босы. А мне говорят, чтобы я честным человеком был. Вай, вай! И как же

это, спрашиваю вас, г. мировой шудью, можно?» Вся публика смеялась… Вор, вор! Да кто нынче не вор? Позавчера в газетах напечатано было, что у одного ювелира фиксу и камней (золота и бриллиантов) — на 10 000 рублей украли. Мама моя родная! Как расписали эту кражу лепортеры! Среди бела дня! Как можно?! Караул! Подумаешь. Честного человека обокрали. Я помню его, когда он совсем маленьким человеком был, одно окно в табачном магазине занимал и солому ел. На окне у него тогда всего два поломанных медных бимбора висело и цепка, а он сам целый день за двугривенный в старом бимборе шилом ковырялся. Потом он подружился с нашим братом и стал расти. Где только бимбор, табачницу или булавку свистнем, сейчас же несем к нему. Он таким образом и нажился. Посмотри, какой у него теперь магазин. В десять окон, электричество. В окнах бимборов и камней как гороху насыпано. А я никогда не прощу ему за одно дело. Когда он разбогател, я принес ему серебряный бимбор, а он не хотел принять его. — Рубль хоть дай, — говорю. — Я тогда кровью харкал и лечился. Ни за что… А тот, что галантерейный магазин держит! Помнишь, мы у него ридикюль покупали, и он спросил меня, как, Яшка, поживаешь?.. Господи!

Сколько тюков всякого товару мы натаскали ему! У одного галантерейщика проломаем в магазине стену, вытащим несколько тюков с товарами и эти тюки тащим другому. И он выходит всегда честным, а мы — ворами. Его хата с краю. Он честный, потому что есть пословица: «Не пойман, не вор». А поймать его трудно, потому что чисто работают и ловко дело обставляют. Ну, да Бог с ними! Я не злой на них! Хвалю даже. Молодчины! Так и надо. Воруй и никаких. Не будешь воровать, сыт не будешь. Был у меня знакомый приказчик. Хороший мальчик, только жлоб. 10 лет честного человека корчил и голодом себя и жену морил. Работает, работает на хозяина, тот живет в свое удовольствие, а он в порванных штанах ходит. Жаль мне его стало, и я научил его: «Идешь домой, сунь в штаны стравусовый веер или хорошую припарку сделай. Обмотай кружевами или шелком и лентами живот и продай потом». Человек послушался и сыт теперь. Сыты и жена, и его дети.

Яшка говорил долго, убедительно, щедро уснащая свою речь трехэтажными ругательствами и, когда кончил, то остановился перед Надей и посмотрел на нее. Он был уверен, что «логическая» речь его, гимн культу воровства возымет свое

действие, и Надя поймет, как глупо относиться с таким предубеждением к ворам — к людям, которые не хотят голодать и влачить жалкое существование, а жить в полном удовольствии. Но он ошибся. Она, хотя в душе и соглашалась с некоторыми его доводами, но не вполне, и сидела, по-прежнему закрывшись руками, и всхлипывала.

Яшка пришел в ярость. Он взвыл, как зверь, подскочил к ней с кулаками, сильным ударом ноги опрокинул ее вместе со стулом на пол, смял под собой и стал истязать. Он душил ее, кусал, рвал зубами ее платье, топтал ногами.

Надя не защищалась. Она лежала на спине с закрытыми глазами и покорно принимала удары.

В несколько минут она сделалась похожей на биток. Юбки и кофта на ней были разорваны в клочья, плечи и руки искусаны, покрыты синяками, и по лицу и груди ее текла кровь.

Но вот ярость у Яшки прошла. Он посмотрел на Надю и содрогнулся. Она лежала без движения, жалкая, истерзанная.

Ему сделалось вдруг жаль ее. Он почувствовал, что любит ее, и припал к ней.

— Наденька, — заговорил он торопливо со слезами в голосе. — Прости. Я же не хотел тебя бить.

Вот как перед Богом. Ты сама довела меня до этого… Ну что ж, если я — вор? И у меня душа есть.

Надя открыла вспухшие глаза и печально посмотрела на него. Яшка поцеловал ее, осторожно поднял с пола, усадил на стул и полотенцем стер с ее лица и груди кровь.

Надя снова печально посмотрела на него, покачала головой и стала тихо всхлипывать, как ребенок.

Яшка, не зная, каким образом загладить свою вину, бросился перед нею на колени и забормотал:

— Прости! Пожалей меня, гнусного вора. Я же люблю тебя. Душу отдам за тебя. Я много страдал. Погляди — какой я несчастный!

Пробормотав это, Яшка руками и зубами сорвал с себя грязную сорочку и обнажил торс.

Глаза Нади при виде его оголенного торса широко раскрылись и наполнились ужасом. Торс его был похож на горящий фонарь. Он весь был испещрен, как иероглифами, красными, плохо зажитыми рубцами. В некоторых местах на нем чернели синяки и кровоподтеки.

И как она до сих пор не обратила на это внимания?

— Видишь? — жалобно спросил Яшка.

— Кто это? — спросила она испуганным шепотом, перестав всхлипывать.

— Люди, — ответил он, задыхаясь. — Всю кровь они у меня вытянули. У меня теперь ни капли крови… Когда мне было 11 лет, я хотел попробовать апельсин. До тех пор я ни разу еще не пробовал апельсина. Я хотел знать, какой в нем вкус. И вот, когда биндюжники провозили через таможенную площадь ящики с апельсинами, я разбил один ящик камнем, и апельсины посыпались. Я поднял один и стал грызть его. Боже, какой сладкий он был! Я грыз его и совсем забыл, что вокруг меня делается. В это время меня окружили биндюжники, повалили на землю и стали резать кнутами и топтать ногами. А я был тогда маленький, худенький, слабенький… А сколько раз меня угощали селедкой! Знаешь, что такое селедка? Резина такая. Раз ударить ею, то дух захватывает…

— Бедный, — прошептала Надя.

Она обвила его шею руками и притянула к своей груди его голову.

Глаза у Яшки просветлели.

— Бедный? — повторил он, словно не доверяя своему слуху. — Правда твоя. Пожалей же меня, полюби. Меня никто не любил и не любит. Будь

мне заместо сестры и матери.

Яшка высвободил свою голову из ее рук и стал покрывать их поцелуями.

XII. Зверь с зелеными глазами

После описанной сцены Надя окончательно помирилась с Яшкой, полюбила его, согласилась с его оригинальными взглядами на людей, честный труд и жизнь и искренне уверовала в то, что:

— Не украдешь, сыт не будешь.

Яшку такой поворот в ее взглядах чрезвычайно радовал. Он чувствовал такое облегчение, точно с него сняли кандалы.

Он перестал стесняться ее. И сподручные его блотики (воришки), принося теперь Наде сбатанные им кожухи, кринки с молоком, клетки с квочками и чемоданы, не говорили больше:

— Яков Иванович купил и послал вам.

Надя с течением времени, к большому удовольствию Яшки, стала даже входить в его интересы, радовалась, когда день у него выдавался удачным, и заставляла его рассказывать, как он сбатал то или другое.

Яшка рассказывал, а она так и покатывалась. А он мастерски рассказывал. Он был большой комик.

— Понимаешь? Иду я сегодня по площади и

вижу — сидит на мешке баба толстая такая, в кохейном платье, и держится за него обеими руками, как черт за сухую вербу. — Что у вас, тетенька, в мешке? — спрашиваю. — Крымские яблочки, деточка. Хо, хо, хо! Это я — деточка. Как тебе нравится, Надя? — И что вы выдумываете? — отвечаю я ей. — Какой я вам — деточка? У меня, тетенька — такие дочки, как вы. Одна — замужем за пожарного, другая — за трубочиста, третья — за дворника. И у всех троих — десять штук детей. Они меня дедушкой называют. — Баба глаза вытаращила и говорит: — Извините. А я думала, такой молодой. — Это ничего, тетенька, что молодой. Молодой да фартовый… Чи продаете, тетенька, яблоки? — Н-не! — А далеко везете их? — В экономию, до одного помещика. Я служу там. — Г-м! Как бы, думаю, добраться до твоих крымских яблок?.. Ладно. Достаю из кармана перочинный нож и чирк им по мешку снизу вверх. Мешок фррр! Треснул, и яблоки брызг из него. Баба — за голову. Караул, батюшки! Орет и все нажимает на мешок. Хоть бы догадалась, дура толстая, слезть. Она все нажимает, нажимает, а яблоки, знаешь, фонтаном так и брызгают из мешка во все стороны, так и брызгают. О-хо-хо! Охо-хо! Ой, живот!

— А-ха-ха! Ха-ха-ха! — заливалась Надя.

— Хо-хо-хо! — ревел Яшка. — А я давай подбирать. Хо-хо-хо! И кричу Сеньке — зекс! Не зевай! Набили мы яблоками карманы, шапки, пазухи и драло. О, хо, хо!

— Ха-ха-ха!

— А вкусные яблоки, Надя?

— Очень.

— Ты из них компот… Хо-хо-хо!

— Ха-ха-ха! Можно компот.

— А не то пирог.

— А не то пирог… Ха-ха-ха! Ой, замучил. Черт!

Когда Яшка был в ударе, он смешил ее до колик.

— Правда, Яшка, что ты первый скакун и блатной в городе? — спрашивала его часто Надя.

— Правда, — отвечал Яшка.

Надя покрывалась густым румянцем. Ей было лестно, что она — бароха человека не серого, а выдающегося.

— А расскажи, как было дело с капором, — приставала она почти каждый вечер к Яшке.

Яшка ломался и говорил:

— Да сколько раз я уже тебе рассказывал это.

— Расскажи еще раз. Я поцелую тебя.

Она обхватывала его за шею, влепляла ему в

щеку два звонких поцелуя, и он в двадцатый раз повторял историю подаренного им Наде розового, с отделкой из голубых лент и кружев капора.

— Понимаешь? Идут они рядышком, кавалер, значит, и барышня. Он плюгавый байер (франт) такой, в потертом клифте и в большой шляпе. На носу у него пенсне, а в руках — три толстые книги. А она ничего, клевая, невредная девочка. Только куцая немножко и смешная. В коротенькой гейше и в этом самом капоре. А ножки у нее тоненькие, как у курчонка. Я, знаешь, — за ними. Иду сзади, руки у меня в кармане, выжидаю момента и слушаю, что они говорят. — Скажите, вы любили когда-нибудь? — спрашивает она его тоненьким-тоненьким, как волос, голосом. — Нет, — шепелявит он и сморк, сморк в платок. — Неужели? Но почему? — спрашивает она. — Не признаю, — отвечает. Она засмеялась и до него. — Ой, какой вы скоромный. — Скоромный не скоромный, — отвечает он, — но и не дурак, мамзель. А я вот возьму завтра и пулю себе в лоб! — Понимаешь, Надя, какой сердитый молодой человек? Она, как услышала, замахала руками и пошла-пошла. Говорит, как из книги. — Мур, мур, мур! Тра-та-та! Тру-ту-ту! Как можно пулю в лоб? Стыдитесь. У вас — все вперед

ди. — А он как разозлится и тоже: мур, мур, мур! Тра-та-та! Тру-ту-ту! Что вы мне рассказываете — впереди! Впереди один кич[17] и каланча!.. Ничего у меня — впереди. А она ему: — Мур, мур, мур! Тра-та-та! Тру-ту-ту! Не волнуйтесь. Надо терпеть. И на нашей улице будет праздник. — Какой праздник? — спрашивает он. — Праздник святых апостолов Варфаломея и Тита? — Нет, другой, — отвечает она. — Какой же? Кирилла и Мефодия?..

На этом самом месте я хлоп вдруг ее по капору, сорвал его и марш-марш рысью. Барышня спервоначалу обмерла, а потом очухалась и задишкантила:

— Ой, мой капор! Боже мой!

А байер:

— Держи, лови его! Горрродовой!

— Ха, ха, ха! — заливалась Надя.

— О, хо, хо, хо! — грохотал Яшка.

— Как, как она дишкантила? — переспрашивала, давясь смехом, Надя. Яшка повторял:

— Ой, мой капор! Боже мой!

— Ха, ха, ха!

— О, хо, хо, хо!

---

[17] Примечания: 17
Тюрьма.

— Довольно, а то помру от смеха…

Да! Горячий был блатной Яшка.

— Огонь-мальчик, — отзывались о нем с почтением все скакуны. — Что ни увидит, сожжет.

А сам о себе Яшка говорил:

— Такая у меня уже душа, что горит до всякой вещи. Ну все, что увижу, хочу иметь.

Недаром глаза у Яшки постоянно шарили, как мыши, и руки дрожали при виде бимбора (часов) или кожуха.

Беда была с ним Наде. Сидят они, например, на третьих местах в русском театре. Надя смотрит на сцену, а Яшка косится на живот соседа, облизывается и нашептывает Наде:

— А важный у него (соседа) бимбор и лента (цепь). Оба-два 30 рублей поднимут (стоят).

Надя дает ему щипка и отвечает с ужасом:

— Разбойник. Засыпаться (пойматься) хочешь? Брось!

— Не твое дело, — следует ответ. — Я же сто раз говорил тебе, что душа у меня такая, что горит до всякой вещи.

И Яшка дает ей в обмен такого щипка, что глаза у нее вылезают на лоб и захватывает дыхание. И смотришь — «оба два», и бимбор и лента — в руках у него.

Или едут они в «трезвость», а по тротуару навстречу идет господин в новеньком пальто.

Яшка начинает вертеться на дрожках, как на жаровне, бросает плотоядные взгляды на господина и говорит:

— Хороший клифт (пальто) идет.

— Ну и пусть себе идет, — замечает Надя.

— Постой!

Яшка хочет соскочить с дрожек, но Надя вцепляется в него руками и не пускает. И клифт благополучно уносит ноги.

А Яшка зол и всю дорогу фыркает на Надю.

Однажды Надя со смехом сказала ему:

— Чудак ты, Яшка.

— Чего? — спросил он.

— Никогда ты не скажешь — «человек идет». А непременно — «клифт идет» или каракуль (шапка каракулевая) идет.

— Так, как я говорю — правильно, — ответил он серьезно.

— Почему?

— Потому...

И Яшка самым серьезнейшим образом стал доказывать ей, что не клифт, колеса, каракуль и бимбор созданы для людей, а люди — для оных. Вроде манекенов и вешалок.

Надя после этого объяснения долго и много смеялась.

* * *

— Все было бы хорошо, — говорил часто Яшка, — если бы я не был больным человеком. У меня сотня болезней. И как меня еще ноги носят? Очень мне это вдивительно.

В самом деле, как его носили ноги?

Во-первых, он страдал острым ревматизмом.

Ревматизм этот был нажит им в пустых и гнилых каменоломнях и канавах за городом, где он некогда спал, скрываясь от «дурного глаза».

Когда ревматизм мучил его, Надя без слез не могла смотреть на него. Он, как уж, извивался на кровати, стонал, плакал, богохульствовал.

Надя в такие дни бережно укладывала его в постель, растирала с ног до головы горчичным уксусом, поила малиной, закутывала в два одеяла, в свои теплые нижние юбки и кофты, и среди ночи, когда он просыпался мокрый, меняла ему белье. То же самое проделывала она, когда он возвращался или, вернее, приползал на карачках домой после заданной ему добрыми людьми бани.

Во-вторых, он страдал сильнейшей одышкой, катаром желудка…

Господи! Чем он только не страдал?! Он изображал собой ходячий лазарет. Но главная болезнь его была мания преследования.

Проклятая мания! Она причиняла ему адские муки.

Когда он был здоров, он вспоминал о ней с содроганием и рисовал себе ее в образе черного косматого зверя величиной в большой кегельный шар, с большими зелеными глазами, жирными, красными, как кровь, губами и длинными острыми когтями. И 2–3 раза в году этот зверь нападал на него. Присасывался к его груди своими жирными губами, глубоко вонзал в нее свои когти и сосал.

Нападения свои он делал на него обыкновенно на улице, с наступлением сумерек. Как все хищные звери, он любил сумерки. И нападал всегда неожиданно, вдруг.

Идет Яшка, заложив руки в карманы, и весело насвистывает «Маргариту».

Вид у него самый беспечный. И он далек от мысли, что этот страшный косматый зверь — близок, подле него, подкарауливает и точит когти.

— Здорово, товарищ! — перебрасывается он на ходу приветствием с блатным Мишкой.

— Здорово!

— Что нового?

— Печенки еще целы. Не знаю, что через час будет.

— Отобьют, думаешь?

— А почему нет?

— Что ж, не беда! Пойдешь на бойню, купишь новые. Ха, ха, ха!

Яшка очень доволен своей остротой. Смеется и продолжает насвистывать «Маргариту».

Вдруг сердце у него похолодело и заныло. Яшка обрывает свист и говорит упавшим голосом:

— Ага!

Он чует близость зверя.

Вот он! Он подползает к нему, поблескивая своими колючими зелеными глазами, и трется с фырканьем у его ног. И через минуту Яшка чувствует уже его у себя на груди.

Черный, косматый, тяжелый, он ворочается под сорочкой, жалит его своей жесткой свиной шерстью, шарит своими влажными и холодными губами, присасывается и медленно вонзает когти.

Какой-то твердый ком подкатывается к горлу Яшки и душит его.

Лицо его бледнеет, ноги и руки наливаются свинцом, и силы уходят куда-то вглубь, в землю. И

несчастного со всех сторон окутывает, как туман, какая-то безотчетная тоска и уныние.

Куда делся его беспечный вид?!

Он сократился, съежился. Как будто на него пахнуло сильным холодом.

Яшка делает нечеловеческое усилие, желая сбросить с себя непрошеного гостя. Но это не так легко. Разве оторвать его вместе с мясом.

А непрошеный гость, после попытки Яшки освободиться от него, глубже зарывается когтями в его грудь, добирается ими до самого сердца, присасывается еще крепче и сосет-сосет.

Нет! Не справиться Яшке с этим зверем.

Яшка дико озирается, и ему начинает казаться, что за ним следят. Следит вон этот старик с большой белой и как бы накладной бородой, этот франтоватый господин с вульгарным лицом, мало гармонирующим с его шикарным желтым пальто и цилиндром, посыльный с красным околышем и подозрительно длинными и черными усами и молодой человек в серых брюках.

Вскоре ему начинает казаться, что все на улице следят за ним, что они не спускают с него глаз и, сообразно с ним, то замедляют, то ускоряют шаги. Открытие это приводит его в ужас. Он теряет всякое самообладание, чувствует, что провали-

вается в какую-то бездну, и для того, чтобы не провалиться в нее окончательно, ободряет себя с насильственным смехом:

— Вот еще глупости. И кого я боюсь? Трус Яшка. Ну-ка! Вира наша! Встряхнись!

И он с большими усилиями встряхивается. Выпрямляется, принимает прежний беспечный вид и насвистывает «Маргариту».

Сердце как будто перестает ныть, а зверь язвить и сосать. Он, кажется, оставил его.

Но не проходит и минуты, как Яшка опять обрывает свой свист. Опять съеживается, сокращается и обнаруживает присутствие зверя.

Тяжело, душно!

Яшка в отчаянии. Он замечает теперь, что, кроме перечисленных лиц, следят за ним и этот дворник в белом фартуке с медалью и домовладельческой книгой под мышкой, и этот чистильщик сапог, и трубочист. И количество преследователей все растет и растет. Вся улица следит за ним. Тысячи глаз устремлены на него.

Необходимо бежать! И Яшка бежит.

Тяжело дыша и задыхаясь, он сворачивает то в один переулок, то в другой, как лисица, заметает следы. Он хочет уйти от своих преследователей.

Но это оказывается невозможным. Они не от-

стают от него.

Вот они! Тот же старик, господин в желтом пальто, посыльный, молодой человек в серых брюках, дворник, чистильщик сапог и трубочист. К ним присоединились еще — дама вся в черном под густой вуалью и стекольщик.

От страха в глазах у Яшки начинает двоиться. Он видит уже не одного старика, а двух, двух посыльных, двух молодых человек в серых брюках, двух дворников, двух дам в черном, двух стекольщиков. Вместе с людьми двоятся дома, фонари и акации.

Какая масса акаций! Целый лес.

И как шумят они?! Как в грозу.

А улица! Она ревет, стонет. Из окон освещенных домов ружейными залпами вылетает смех и колокольным звоном музыка роялей, как сотня паровозов, гудит фабричный гудок, копыта лошадей, и колеса биндюгов и дрожек так гремят, точно по мостовой во весь опор мчится артиллерия, тра-та-та! — несется с высокого сиденья омнибуса, и кажется, что трубит труба архангела. И красной нитью, бурным потоком проходит и проносится через все эти бешеные звуки звон колоколов.

Какая масса колоколов!

Яшка оглушен, сбит с толку.

Он останавливается для того, чтобы собраться с мыслями, и весь мокрый прислоняется к акации. Но из-за этого шума, пальбы, звона, гуденья и топота трудно собраться с мыслями.

Голова Яшки идет кругом, и все перед ним пляшет. Дома, лица. Все смешалось в одну пляшущую кучу, и из этой кучи глядят на него знакомые лица. Его мучители. Вот они все — старик, господин в желтом пальто, посыльный, стекольщик… Они ехидно улыбаются, подмигивают ему глазами и как будто хотят сказать:

— Шалишь, брат. Не уйдешь. Не отвертишься. Сколько угодно заметай следы.

Яшка в ужасе закрывает глаза и затыкает уши для того, чтобы ничего не слышать и не видеть. Но он тотчас же открывает их.

Взгляд Яшки падает теперь на длинноволосого мужчину в широкой черной шляпе, потом на босоногого паренька в красной рубахе и на старьевщика.

А им что надо?! Что надо этой черной шляпе, красной рубахе и рыжей бороде?! Они тоже преследуют его. Они тоже гонятся за ним. Все, все, без исключения.

Яшка сильнее прижимается мокрой спиной к

акации, как бы ища у нее защиты, и безумными и растерянными глазами глядит на своих преследователей.

Некоторые из них проходят мимо него и, проходя, строго косятся, а некоторые останавливаются и выжидают, очевидно, когда он оставит акацию.

Вот в 20 шагах от него остановился господин в желтом пальто. Он достал из бокового кармана портсигар и закурил папиросу.

Зачем он сделал это?

О, Яшка отлично понимает его! Он сделал это нарочито, для того чтобы не обратить на себя внимания…

Хитрый! Вишь, как он посматривает на него исподлобья.

А посыльный? Он тоже остановился у большого дома, задрал голову и будто читает дощечку. Читает и тоже исподлобья поглядывает на него.

«Посыльный — ты? — вертится в голове у Яшки. — Знаем вас. Такой посыльный, как я — Осман-паша. Сейчас узнаю, кто они. Я пойду, и если они пойдут за мною, то, стало быть, следят».

Яшка отходит от акации. И как только он отходит, господин и посыльный моментально снимаются со своих мест.

Сомнений больше не может быть! Ясно — за ним следят.

Яшку охватывает панический страх, волосы на голове у него встают, он бросается вперед и летит, как вихрь. А за ним поспевают — старик, господин, посыльный. Вся улица.

Они обжигают его затылок дыханием и цепляются за него руками.

А в ушах у него — по-прежнему динь-дон, трата-та, гу-у-у, топот и грохот.

Косматое чудовище с зелеными глазами из боязни упасть и разбиться все глубже и глубже зарывается когтями в грудь и душит.

Вот Яшка зацепился за бордюр панели, со всего размаху полетел на мостовую и раскровянил себе лицо. Но он не замечает и не чувствует этого.

Какая-то неведомая сила поднимает его с мостовой, как перышко, бросает вперед и несет дальше.

Яшка налетает на прохожих, сбивает их с ног, разбивается о фонари и акации…

«Господи! Хоть бы смерть! Разбиться бы на кусочки!» — вертится у него в голове.

Несчастный Яшка!

Если бы он знал, что никто не интересуется им, не думает следить за ним и что никому нет до

него дела! Ни этому старику с почтенной бородой, ни господину в желтом пальто, ни посыльному, ни молодому человеку в серых брюках, ни чистильщику сапог.

Все идут своей дорогой.

Старик спешит к своей дочери и внуку, господин на чай к знакомым, посыльный с письмом к барышне от кавалера, чистильщик в трактир, где его ждут товарищи.

И весело на улице. Залитая лунным светом, она смеется, радуется.

Белые, как снег, акации струят аромат, кружат головы. Кругом слышны веселые возгласы.

Из большого освещенного окна со второго этажа несется задорный весенний мотив. Кто-то под аккомпанемент рояля поет красивым грудным голосом:

Пусть льются веселые звуки,
Пусть льются потоки вина!..

А Яшка, за исключением набата и грохота, ничего не слышит.

Он продолжает лететь, преследуемый призраками и душимый кошмаром в образе зверя с большими зелеными глазами.

Но вот перед ним блеснул знакомый огонек.

Огонек этот зажжен Надей. Его родной, доброй Надей. Славный огонек!

Сколько раз он открывался ему в такие тяжелые вечера.

Вот он совсем близок. Он смеется, манит.

Яшка напрягает остатки сил и, как бомба, влетает к Наде.

Надя встает из-за стола, на котором кипит самовар, бросает шитье, и идет ему навстречу, и спрашивает с тревогой:

— Что с тобой?

Он стоит перед нею безмолвный, без шапки — шапка его осталась на улице, — бледный, со слипшимся на лбу чубом, и тяжело дышит.

— Что с тобой? — повторяет Надя.

— Закрой двери… двери закрой, — срывается с его губ шепот.

Надя поспешно закрывает двери.

— На крючок!

Она закрывает на крючок.

— Так… так!.. Теперь окна!..

Она закрывает окна.

Протяжный вздох, вздох облегчения вылетает из груди Яшки, и он, как подкошенный, падает на табурет и закрывает лицо руками. Надя подсаживается к нему и участливо спрашивает:

— Что с тобой? Посмотри, какой ты потный. Ты бежал?

— Да.

— Отчего?

— Так… Ах, не спрашивай.

Надя больше не спрашивает его, снимает со стены полотенце, вытирает им его потное и окровавленное лицо, грудь, руки и подносит ему чай с ромом.

Яшка с жадностью выпивает три стакана чаю, и силы, растерянные им на улице, мало-помалу возвращаются к нему. Лицо его покрывается краской, сердце перестает ныть и глаза дико озираться.

Косматый зверь с зелеными глазами исчез куда-то, и на груди теперь так легко.

— Спой что-нибудь, — просит Яшка Надю.

— Что?

— Бродягу.

Надя берет гитару, настраивает ее, садится возле него и заводит сладкую и сентиментальную песенку о бродяге:

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащится с сумой на плечах.

На нем рубашонка худая
И множество разных заплат,
Шапчонка на нем арестантска
И серый тюремный халат.
Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбачью там лодку берет,
Унылую песню заводит, —
Про родину что-то поет:
«Оставил жену молодую
И малых оставил детей,
Теперь я иду наудачу:
Бог знает, увижусь ли с ней».
Бродяга Байкал переехал,
Навстречу родимая мать.
«Ах здравствуй, ах здравствуй, мамаша!
Здоров ли отец, хочу знать?»
Отец твой давно уж в могиле,
Давно уж землею зарыт;
А брат твой давно уж в Сибири —
Давно кандалами гремит.

Яшка слушает и плачет. И когда Надя кончает, он поднимает свое заплаканное лицо и молит:

Еще. Еще раз…

XIII. Порядочный дом

Пять лет жили по-семейному Яшка с Надей, и на второй год на крышу их дома спустился белый аист с пакетом в клюве. В пакете оказалась хорошенькая девочка.

Яшка был очень рад сюрпризу, созвал товарищей с их барохами и устроил выпивку.

Когда зашла речь о том, как назвать девочку, Яшка и Надя слегка поспорили. Он хотел назвать ее «Корделькой» (Корделией), именем младшей дочери короля Лира. А Надя упрямилась.

— Не позволю назвать ее «Корделькой».

— Почему, дура? — спросил Яшка.

Надя резонно ответила:

— Не хочу, чтобы родная дочь моя была такая несчастная, как Корделька.

— Как же ты назовешь ее?

— Олимпиадой.

— Черт с тобой. Назови ее Олимпиадой.

Белый аист затрепетал своими белыми крыльями, взвился над их домом и улетел.

Через год он прилетел снова и принес другой пакет. В пакете на сей раз оказался мальчик.

Мальчику было дано имя Коля в честь деда

Яшки — славного форточника, умершего во цвете лет в больнице от побоев двух дворников, шмирника и какого-то неизвестного мещанина.

Прошел еще год, и неутомимый аист принес третий пакет. Пакет был вдвое тяжелее первого и второго, и когда счастливые родители развернули его, то обнаружили двух мальчиков-близнецов, из коих один не подавал никаких признаков жизни, лежал камнем, а другой, напротив, двигался, пилил руками и ногами, пищал, хлопал глазами и шмыгал носом.

Первого Яшка без церемоний сплавил dahin, куда шах персидский, султан турецкий, Менелик абиссинский и сэр Чемберлен ходят пешими, а второго поручил бабке.

Яшка вспомнил о несчастном дяде своем — отставном бомбардире, сосланном за святотатство на каторгу, и назвал его Юрой.

В первое время Яшка был примерным отцом.

Он увеличил штат своих блотиков (воришек), учредил для них постоянные посты возле села Кривая Балка, из которого по два раза в день отправлялись в город с молоком кривобалковские жены и дщери, и заставлял их приносить тройную порцию сливок, творогу и всякой живности. Если же таковые в известном количестве не при-

носились, то он жестоко бил их.

Яшка сам на досуге кормил из рожка Юру, варил на бензинке кашку для Коли и Олимпиады, нянчился с ними и часто тащил их в городской общественный сад «на свежий воздух».

Все няньки и мамки в городском саду диву давались той нежности, с которой он относился к своим птенцам. Он ежесекундно утирал им носы, поправлял под ними пеленки и развлекал их погремушками.

В высшей степени интересно было посмотреть на него, когда он бережно вынимал детей из плетеной коляски и симметрично, в ряд, рассаживал их под золотистой туей или чайной розой. Одетые в разноцветные платьица и капоры, убранные кружевами и лентами, они сидели под чайной розой, как ласточки на телеграфной проволоке, и наивными глазками поглядывали на прохожих. А Яшка сидел в стороне на скамейке и с увлечением читал подобранный на улице подметный листок.

Прелестную идиллию эту нередко нарушал свирепый, невоспитанный сторож, питавший страшную ненависть к детям и поклявшийся однажды одной мамке, что он разорвет ее ребенка надвое, если увидит его еще раз в кустах.

Увидав детей под чайной розой рядом с художественным фонтаном — гордостью отцов города, он приходил в ярость и орал, потрясая палкой:

— Чьи эти дети?! Кто смел посадить их сюда?!

— Я, — спокойно отзывался Яшка.

— Уберите их сейчас! Слышите?!

— А ты кто?

— Сторож.

— Очень приятно.

И Яшка углублялся в свой подметный листок.

Сторож грозил, взывал к Яшке, как к гражданину города, которому должны быть дороги интересы города. Но все его угрозы и мольбы разбивались о цинизм и наглость Яшки, и, махнув рукой, он уходил прочь, провожаемый громовым хохотом нянек и мамок.

* * *

Долго возился Яшка с детьми. Но вот вся эта канитель надоела ему, и он однажды, после того как Коля испачкал его новый шевиотовый костюм, сказал «баста» и передал детей в полное распоряжение Нади. А спустя несколько дней исчез из дома. Вместе с ним исчезли и блотики, а с блотиками исчезли из дома молоко, творог и всякая живность.

Олимпиада, Коля и Юра подняли крик. Надя ждала Яшку день, два, три и не могла понять причины его отсутствия.

— Должно быть, засыпался (попался), — решила она.

Но она ошиблась. Ей сообщили, что Яшка на свободе и гуляет.

Надя стала искать его и нашла в трактире. Он сидел, широко растопырив ноги, у машины в компании двух товарищей и толстой женщины с нахальным вызывающим лицом и хриплым голосом и покрикивал на двух чистильщиков сапог, мальчишек, стоявших перед ним на коленях и мазавших лаком, один — левый его ботинок, а другой правый. Надя подошла к нему.

— Что тебе? — спросил он грубо.

— Где ты пропадаешь? — спросила Надя.

Яшка вспыхнул, как порох, вырвал правую ногу из рук чистильщика и крикнул на весь трактир:

— А тебе какое дело?!

— Как какое дело?! — удивилась Надя.

— Что мы с тобой, венчаны, контракт на сахарной бумаге мелом писали?!

— Боже мой, что ты говоришь, Яшенька?

Лицо у Нади вытянулось от испуга.

— То, что слышишь. Человек! Еще стакан пива,

только без манжета (пены)!

— А ты ведь говорил, что никогда не оставишь меня, — проговорила упавшим голосом Надя.

— Ну, так что? Не век с тобой жить. Я — человек свободный, блатной. Меня в тюрьму посади, я и оттуда сбегу.

— Дети голодные сидят, — робко заикнулась Надя.

— А мне какое дело?

— Чем я кормить их буду?

— Мало, что ли, бычков на улице? Подцепи одного, другого, вот у тебя и на обед будет.

Товарищи и толстая женщина громко захохотали. Надя побледнела, обвела всех растерянным взглядом, насильственно улыбнулась и шепотом спросила Яшку:

— А может быть, пойдешь домой?.. Я на гитаре тебе сыграю «По диким степям Забайкалья», «Марусю»...

— Плевать мне на твою драчилку. — Яшка называл гитару «драчилкой». — Ну, отстань! Женичка, серебро мое, обними меня, — обратился он к толстой женщине.

Женичка обняла его. Яшка хлопнул ее рукой по плечу, подмигнул Наде и весело воскликнул:

— Вот это бароха! Я понимаю! С нею и в Сибири

не пропадешь!

Надя чуть не расплакалась и оставила трактир.

* * *

На другой день Надя вторично отыскала Яшку и стала опять соблазнять его гитарой и самоваром. Но он не поддавался соблазну.

— Отстань! — твердо сказал он.

Надя махнула на него рукой и отправилась в ломбард. Она заложила все, что у нее было ценного — кольца, браслеты, серьги, дорогие платья.

Вырученных денег хватило ей на две недели.

Когда растаял последний рубль, Надя глубоко призадумалась. Как быть? Пойти опять на службу в няньки или горничные «за все», опять закабалить себя, закрепостить за 4 рубля, похоронить себя в четырех стенах душной и грязной кухни, приковать себя к лохани, превратиться в прежнюю валаамову ослицу? И после чего? После такой сладкой жизни.

Это показалось ей ужасным. Уж лучше в петлю полезть.

Надя не придумала бы ничего, если бы ей не пришла на помощь старуха-факторша — типичный Кощей, жалкая, согнутая, с ястребиным

носом, красными воспаленными глазами, вся в черном и с большим зонтом в руке.

Старуха явилась к ней, села, поставила промеж ног зонт, с которого текла вода, оперлась на него, покачала головой и сказала:

— Такая красавица и пропадает.

— Что вы? — покраснела Надя. — А что же мне, бабуленька, делать?

— Как что делать? Как вам это нравится? Да с такой красотой! Боже мой, если бы я была такая красивая! Ты можешь жить с полным вдовольствием.

— Каким образом?

— Поступи в порадочный дом.

— Какой порядочный дом?

— Разве ты не знаешь? Постой. Я сейчас расскажу тебе.

Старуха подвинулась к ней, взяла ее за руку и стала знакомить с «порядочным домом». Она расписывала его яркими красками.

— Настоящий рай. Кушать там дают столько, что можно лопнуть. Обращение, как с родной дочерью. Всякий почет и уважение.

Надя слушала ее со вниманием, краснела и, когда та кончила, спросила с замиранием в голосе:

— А не страшно там, бабуленька?

— Страшно? Ха-ха-ха! Ты думаешь, что будешь там одна? Там — сорок барышень, и никому не страшно. А как там весело. Всю ночь играет раял. Какие там почетные гости бывают! Молодежь, скубенты, господа с эполетами, купеческие дети, аристократы, писари, конторщики, прапорщики, агенты, чиновники…

Старуха расписывала целый час и убедила Надю поступить «туда».

— А как быть с детьми? — спросила Надя.

— Детей можно отдать кому-нибудь на воспитание. Будешь платить 5–6 рублей в месяц.

Надя согласилась.

* * *

Спустя два дня Надя стояла посреди большой комнаты со старинной мебелью перед баллонообразной дамой-мастодонтом без шеи и тальи. Это была хозяйка «порядочного дома».

Дама сидела в желтом атласном платье, стрелявшем и лопавшемся по швам при каждом ее повороте, с большой брошью, покрытой эмалью, и тяжелой цепью на груди за столом возле самовара и чистила жирными короткими пальцами, залитыми золотом колец, мандаринку.

По левую сторону ее сидела знакомая старуха с

зонтом промеж ног и жадно хлебала горячий чай из большой чашки. А по правую сторону стояли — здоровая женщина, настоящий гренадер, с грубым мужским лицом, неопрятная, растрепанная, со связкой ключей на боку, и рядом с нею — молодая девушка в нижней красной фланелевой юбке с черным рисунком, в белой кофточке и с распущенными темными волосами.

Девушка среди этого великолепного трио — женщины с ключами, старухи и хозяйки — выглядела затравленным и беспомощным зайцем.

Надю сразу потянуло к ней, и она почувствовала большую жалость. Девушка была нежная, худая. Лицо у нее было белое, как картофель, вялое, сонное. Казалось, что она не спала несколько суток.

Она еле держалась на ногах, глухо покашливала и большими черными испуганными глазами глядела на хозяйку, которая, глотая, как устрицы, кусочки мандаринки, пилила ее:

— Ах ты, такая-сякая. Я тебя взяла с улицы в порадошный дом, сделала из тебя порадошную женщину, а ты еще задаешься и шкоды делаешь мне. Вчера бонжур от лампы поломала, сегодня — стакан.

Глаза девушки вспыхнули на секунду злым

блеском.

— Потом, что это за мода плакать, когда гости в зале? Плачь, черт с тобой. Я никому не запрещаю плакать. Все это знают. Плакать можно, только не в присутствии гостей. Когда гостей нет, можешь плакать даже целый год. Антонина Вановна! — обратилась хозяйка к женщине с ключами. — Не церемоньтесь с нею. Если она сделает еще одну шкоду, — по морде ее.

— Слушаю, хозяйка, — басом ответила Антонина Ивановна.

Ответив, она звякнула ключами и надулась, как индюк.

— А теперь убирайся с глаз моих, — закончила хозяйка.

Девушка, не промолвив ни слова и не переставая покашливать, убралась с глаз хозяйки.

— Дрянь паршивая, — напутствовала ее хозяйка и отправила в рот одну за другой две ложечки клубничного варенья.

Надя во время разговора хозяйки нетерпеливо переминалась с ноги на ногу и поглядывала то на хозяйку, то на факторшу. Она хотела, чтобы почтенная и обаятельная дама удостоила наконец ее своим просвещенным вниманием. Факторша, заметив ее нетерпение, робко кашлянула и спро-

сила хозяйку:

— Так что же вы скажете насчет нее?

Хозяйка подняла голову, посмотрела на факторшу своими маленькими зелеными глазами, глубоко зарытыми в больших яблоках жира, а потом — на Надю. По телу у Нади пробежала холодная дрожь.

Она почувствовала, что эти маленькие глазки шарят по всему ее телу и нащупывают ее со всех сторон.

— Как насчет нее? — повторила лениво хозяйка. — Честное, благородное слово, не знаю, что вам сказать. Опять девушка. И откуда столько берется их? Каждый день мне приводят по 40 девушек. А разве можно принять всех? Разве у меня благотворительное заведение? Позавчера только одну приняла. Как ее звать?... Я забыла...

— Еленой! — пробасила Антонина Ивановна.

— Да, Елена... Пришла, знаете, упала передо мной на колени, целовала руки и ноги и плакала: «Тетенька, голубонька, возьмите меня, а то пропаду с голоду, под поезд брошусь. Второй день во рту хлеба не имела. Не допустите до греха». Ну, что было мне с нею сделать, скажите, пожалуста? Вы ведь знаете, какое у меня слабое сердце. Я приняла ее. А тебе сколько лет? — спросила

хозяйка Надю.

— 27.

— А ты здорова? Грудь у тебя крепкая? Я тебя спрашиваю за грудь потому, что у нас тут дома три чахоточные девушки. Видели дрянь, которая была здесь? — обратилась хозяйка к старухе. — У нее чахотка, чтоб она не дождала до завтра. Представьте себе мое положение. Приходит хороший благородный фуч (гость), говорит с нею по-деликатному, а она в платок кровью харкает.

— У меня грудь крепкая, — успокоила ее Надя.

— Ну и слава Богу. Оставайся. Насчет жалованья, посмотрим. Если гости не будут жаловаться на тебя, я не обижу. А ты не танцуешь?

— Не танцую.

— Вальц не танцуешь?

— Нет.

— А шмарконд?

— Шакон, — поправила хозяйку со смехом Антонина Ивановна.

— Пусть будет шмарконд, — согласилась хозяйка.

— Нет, — ответила опять Надя.

— Что же ты танцуешь? Полонез, падеспань, мазур, бешеный кадрель (болгарскую)?

— Нет.

Хозяйка тяжело вздохнула и сказала старухе:

— Видите? Берешь их в порадошный дом с улицы совсем неграмотными. Ничего не умеют. Кушать только умеют. У тебя аппетит хороший? — спросила она Надю и беззвучно рассмеялась.

Старуха и Антонина Ивановна тоже рассмеялись. Надя улыбнулась и ответила:

— Аппетит у меня небольшой. Я мало ем.

— Ну хорошо, хорошо. Кушай себе на здоровье. Ты у нас потолстеешь. Видишь, какая я толстая. Пожалуста, Антонина Ивановна, научите ее танцевать, а то срам. Придет фуч, попросит ее танцевать, а она не танцует. А почему у тебя?.. Как тебя звать? — обратилась она опять к Наде.

— Надей.

— Почему у тебя, Надя, такое скучное лицо? У нас нельзя скучать. Наш дом веселый, и все должны быть веселыми. Ну-ка, засмейся.

Надя засмеялась.

— Ну вот. Так. Надо постоянно смеяться. Кто смеется, тому легче живется. Антонина Ивановна, покажите ей комнату. А ты, Надя, во всем слушайся Антонину Ивановну. Она экономка наша и у нас вроде генерала и министра.

Надя кивнула головой, а Антонина Ивановна,

надувшись еще больше, подмигнула ей глазом и пошла к дверям.

Надя пошла за нею.

— Ну и морока с ними, — сказала старухе со вздохом хозяйка и отправила в рот еще две ложки клубничного варенья.

XIV. Цукки

Антонина Ивановна провела Надю через темный коридор, наполненный удушливым запахом светильного газа, в предназначенную для нее комнату.

Комната была недурно обставлена, но грязна и не убрана. На широкой железной кровати с медными решетчатыми спинками против дверей лежало скомканным шелковое одеяло, а на полу — окурки папирос, обгорелые спички, две пустые бутылки и пробки.

— Вот ваша комната, — сказала Антонина Ивановна.

Надя кивнула головой. Антонина Ивановна быстрым движением руки поправила на умывальном столике в углу кувшин с отбитой ручкой, подобрала с пола бутылки и добавила:

— Комнату эту раньше занимала одна полька, Марина. Вот она, — и Антонина Ивановна указала на кабинетную карточку, стоявшую на подставке на туалетном столике, среди целой коллекции пустых коробочек, склянок и бутылочек.

Надя сняла со столика карточку вместе с подставкой и с любопытством стала разглядывать

свою предшественницу. Она была красивая шатенка с умным улыбающимся лицом и длинными пышными волосами.

Полулежа в широком пеньюаре на кушетке, она нежно целовалась с белоснежным голубком.

— А она хорошенькая, — заметила Надя.

— Ничего, — процедила Антонина Ивановна, продолжая наводить порядок в комнате.

Она поправила на стене картины и смахивала с них пыль. Надя опустилась на стул и спросила:

— А почему она ушла отсюда?

— Потому что заболела. Ее вчера повезли в больницу.

— Бедная. — В голосе Нади послышалась неподдельная нотка жалости. — А чем она заболела?

— Чем?.. Тем самым… Известно, чем… Ну, теперь — капут ей. Третий раз заболела.

Антонина Ивановна с шумом придвинула кровать к стене.

Надя вздрогнула. Она поняла, на какую болезнь намекала экономка, и у нее вырвалось:

— Как жаль ее.

— Чего? — сухо спросила Антонина Ивановна, обдергивая одеяло, и ругнулась по чьему-то адресу: — Черти! Никогда не приберут. Я должна за всех.

Надя с изумлением посмотрела на экономку. Ее поразила ее сухость. Ведь речь шла о загубленной жизни.

— Такая молодая, красивая. Ишь, как с голубком целуется… Как жених с невестой. Улыбается как…

И Надя сама улыбнулась.

— Что ж, что молодая? Она — не первая, — ответила на это, как прежде, сухо Антонина Ивановна.

Надя вторично вздрогнула, и улыбка исчезла с ее лица.

— Не первая? — повторила она и подумала: «А что, если и я заболею?»

— Ну, чего зажурилась? — спросила со смехом Антонина Ивановна.

Смех у нее был отвратительный, шипящий. Антонина Ивановна поправила потом розовый ночник, висящий посреди комнаты на тоненькой цепочке, и оставила комнату, бросив в дверях:

— Я скоро буду!

* * *

После ухода экономки Надя стала подробно знакомиться со своей комнатой.

Она заглянула во все уголки, раскрыла шкаф.

Шкаф был пуст. Только на дне его валялся старый поломанный корсет, брошенный, должно быть, ее предшественницей.

Не понравилась Наде ее комната. Она была темная, неприветливая. От стен ее, прикрытых полинявшими коврами и голубыми обоями, несло сыростью, плесенью и холодом. Надя даже почувствовала, как у нее холодеют руки и ноги.

Покончив с осмотром комнаты, она подошла к окну, завешенному грубой белой занавесью. Окно выходило на грязный узкий двор.

Посреди двора катался на велосипеде смешной юноша, длинный, рыжеволосый, весь в веснушках, без пиджака, в цветном жилете, в желтых ботинках и клетчатых брюках. Он, по-видимому, только учился кататься, так как поминутно падал вместе с велосипедом.

На него с ужасом в заплывших глазках и на лице взирала хозяйка дома — мать. Она стояла на втором этаже на балконе и при каждом падении его всплескивала руками и взвизгивала:

— Лева! Боже мой, Боже мой! Что ты от меня хочешь?! Осторожно!.. Осторожно, тебе говорят!

Лева, потирая ушибленные бок, нос или скулу, сердито отвечал:

— Чего вы кричите, мамаша?

— Как чего я кричу?! Разбойник! Только вчера надел новые брюки. 13 рублей заплатила за них. Ты хочешь разорвать их? Что ты думаешь, что я — мильонщица?.. Осторожно, чтоб тебя холера забрала! Лучше бы ты сдох прежде, чем ты родился!.. Симон! Симон!.. Ой, я уже не могу говорить. Я уже расстроена!.. Скажи ему, Симон, чтоб он перестал кататься.

На балкон вылез из комнаты Симон, круглый, как мяч, весь лысый, в белой сорочке, с отвислым животом и турецкими туфлями на босу ногу. Это был супруг хозяйки и папаша упрямого юноши.

Симон перевесился через балкон, придал своей физиономии свирепое выражение и внушительно сказал сыну:

— Подожди… Вот я сойду вниз. Я тебе покажу, как портить новые брюки. Перестань, говорят. Ты!.. Потерянный человек, кадет, карманщик.

— Вы сами, папаша, хороший карманщик, — ответил спокойно сын, не переставая кататься.

Симон побагровел, повернул голову к супруге и спросил:

— А?.. Ты слышишь?

— Слышу, — ответила со вздохом мамаша.

— Это ты все виновата. Ты его так разбаловала. Где палка?

— Около дивана, в спальне.

Симон пошел искать палку.

Сценку эту наблюдали из окон две девицы в одних сорочках, с распущенными волосами, и прачка с высоко подоткнутой юбкой. Прачка стояла в дверях прачечной, откуда плыли густые облака пара.

Все покатывались со смеху.

Одна девица громко передразнивала хозяйку:

— Лева, осторожно! Ты разорвешь брюки.

Надя также не могла удержаться от смеха и ждала, что будет дальше.

Вот вышел на балкон Симон с толстой суковатой палкой и стал тяжело спускаться, как слон, вниз по деревянной лестнице.

— Вот я тебе покажу, — пыхтел он…

Кто-то постучал вдруг в комнату, и Надя отскочила от окна.

— Можно? — спросил за дверьми робкий голос, душимый сильным кашлем.

— Можно, — ответила Надя.

Дверь открылась, и в комнату вошла та самая девушка, которую хозяйка пилила в присутствии Нади. На девушке, как прежде, была нижняя красная фланелевая юбка с черным рисунком и незастегнутая кофточка, показывавшая ее вдав-

ленную грудь.

Надя обрадовалась ее приходу. В памяти ее еще свежо было приятное впечатление, произведенное на нее этой девушкой.

Девушка посмотрела на Надю своими большими, черными, грустными глазами и, кашляя и задыхаясь, спросила:

— Вы заняты?

— Нет, — ответила Надя и ласково улыбнулась ей.

— Спасибо.

Девушка посмотрела вокруг и спросила:

— Можно сесть?

— Конечно… пожалуйста.

Девушка села на краешек сундука возле туалетного столика и сильно закашлялась. Она кашляла теперь так, что вся фигура ее трепалась, как старый парус.

Откашлявшись, она вытерла губы и глаза, полные слез, скомканным в клубок платочком и проговорила с сильным еврейским акцентом:

— Мы немножечко знакомы. Я видела вас у хозяйки. Помните?

— Да, помню.

— Она ругала меня тогда.

— За что? — поинтересовалась Надя.

— Черт ее знает!.. Швейцар разбил бонжур от лампы, так я виноватая… Вы что? Остаетесь здесь?

— Да, — ответила Надя.

— А в каком «доме» вы раньше были?

— Ни в каком. Я имела свое собственное хозяйство.

— А!.. Вы, значит, в таком доме первый раз?

— Да.

Девушка покачала головой.

Надя заметила на ее лице нечто похожее на жалость и сочувствие.

— А как вам живется здесь? — спросила Надя.

Она обрадовалась случаю узнать что-нибудь об этом доме.

— Всем моим врагам дай Бог такое житье. — Девушка протяжно вздохнула. — Разве это жизнь? Мало того, что ты отдаешь кровь, так тебя за какой-нибудь паршивый бонжур от лампы ругают… А вы почему пошли сюда?

— Я осталась без средств, и мне оставалось вместе с детьми умереть с голоду.

— Ой. Нехорошо голодать, — тихо проговорила девушка. — Я однажды три дня голодала. Если бы городовой не взял меня в больницу и там не накормили бы меня, я давно была бы уже на том

свете.

Девушка опять закашлялась. Надя страдала, глядя, как она корчится от кашля.

— Может быть, у вас папирос есть? — спросила сквозь кашель девушка.

— Нет, — ответила Надя. — А вы разве курите?

— Курю.

— Неужели? Ведь вам вредно.

— Э! Все равно умереть. Мы видим, что люди, которые не курят, раньше умирают, чем те, которые курят… Извините. Я сейчас приду.

Девушка ушла и через две минуты вернулась с дымящейся папиросой в зубах. Кашель теперь душил ее безбожно. Казалось, что он разорвет ее грудь на клочья.

— А вы видели уже эту карточку? — спросила девушка и указала на Марину.

— Видела.

— Она раньше занимала эту комнату. Ах, какая она красивая.

— Это видно…

— Что видно?!.. Вы посмотрели бы на нее не на карточке. Такая стройная, волосы такие густые, глаза большие, карие… Ее имя Марина, но все называли ее «Краковьянкой», потому что она родилась в городе Кракове. Знаете, такой город есть.

В Польше. А какая она была гордая. Не подходи к ней. «Я естем Краковьянка», — говорила она всем. А какие почетные гости у нее бывали. Все студенты, чиновники, провизора, офицеры. Они приносили ей шоколад, папиросы, бананы, цветы, кольца, брошки. Вот, смотрите, какие гости.

Девушка сняла с туалетного столика плетеную корзиночку с визитными карточками.

— Вы грамотная? — спросила девушка.

— Нет, — ответила Надя.

— А я грамотная. Слушайте. — И она стала читать карточки. — Антон Андреевич Серебряков — техник, Александр Абрамович Давидсон — фармацевт, Семен Григорьевич Золотарев — настройщик фортепиан, Самуил Григорьев Бершадский — дантист, Иван Петрович Сыроедов — губернский секретарь…

— А я его знаю, этого Сыроедова, — перебила Надя и улыбнулась.

— Кто он? — спросила девушка.

— Муж моей бывшей хозяйки… Господи! Неужели и женатые люди сюда в дом ходят?

— О-го-го-го! Еще сколько! — Девушка поставила обратно на столик корзинку. — Ко мне ходит домовладелец, так у него жена и пятеро детей. Одна дочь у него даже невеста. А как вас звать,

мамочка?

— Надей.

— А меня — Цукки.

— Как? — переспросила Надя.

Девушка лукаво сощурила левый глаз и повторила:

— Цукки.

— Первый раз слышу такое имя, — призналась Надя.

Девушка засмеялась и сказала:

— Видите: настоящее мое имя Бетя. Бетя Шварцман. Но здешние девушки и хозяйка называют меня Цукки. А знаете почему? Потому что я лучше всех танцую бешеный кадрель (болгарскую).

Хвастливый огонек вспыхнул в глазах Бети.

— А вы знаете, кто такое Цукки? — спросила она потом.

— Нет, не знаю.

— Первая танцевальщица. Она танцевала в городском театре.

— Вы ее видели?

— Нет. Мне за нее господа студенты и один подпрапорщик рассказывали.

Прежний хвастливый огонек опять блеснул в глазах Бети.

— Если бы я не танцевала так хорошо, хозяйка

давно уж выкинула бы меня.

Бетя все время роняла слова сквозь кашель и почти не отрывала ото рта платочка.

— Вы видите? — спросила Бетя и показала вдруг Наде платочек.

Надя ужаснулась и отвела глаза в сторону. Платок весь был в крови.

— Чахотка, — проговорила Бетя и добавила: — Эта проклятая фабрика. Если бы она сгорела прежде, чем я узнала ее.

— Какая фабрика? — спросила Надя.

— Табачная… Я раньше на табачной фабрике работала за папиросницу и чахотку получила там. Вы не были никогда на табачной фабрике? Там такая паскудная пыль. Прямо в душу лезет… А здесь, вы думаете, лучше? Здесь можно скорее чахотку получить, чем на фабрике. Мне вчера доктор говорил, что мне непременно надо бросить эту жизнь и поехать в Славуту (курорт). Там сосны-лес (сосновый лес) и камыш (кумыс). Э!.. И что эти коновалы выдумывают. Они смеются только. Куда я поеду, если у меня ни копейки в кармане и я 80 р. должна хозяйке… В прошлом году я пила молоко, и мне сделалось лучше. Я перестала харкать кровью. Но я танцевала бешеный кадрель с одним, сильно простудилась и

опять стала кровью харкать. Тут к нам гречонок ходит один. Молодой такой, брунет, красивый, в лакированных ботинках, с красным галстухом и в широкой черной шляпе. Его зовут Спиро. Что? Вы не знаете его? Его все знают здесь. Он хорошо танцует. Я с ним тогда танцевала. Все гости кричали «браво». Я, знаете, вспотела и в мокрой кофточке выбежала на балкон… Эх! Нехорошо харкать кровью!.. А вы «медведь» можете пить?

— Какой медведь?

— Что, вы не знаете, что называется «медведь»? Пиво с коньяком или вином.

— Нет, не могу пить.

— А я могу… Только он противный, горький. Голова после него такая тяжелая. И ты все равно как мертвая… Ой, не люблю я его.

Бетя поморщилась.

— Почему же вы пьете его? — спросила Надя.

— Вы спрашиваете меня?.. Спросите их.

— Кого их?

— А этих, «образованных». Они требуют, чтобы мы пили. Ой, если бы вы знали, что они вытворяют… Позавчера один подрядчик вылил мне на голову графин воды и велел гавкать, как собака. Чтобы я так здорова была. Ну, как вам это нравится?

Бетя замолчала и низко опустила голову.

В комнату ворвался сноп света.

Солнце до сих пор обходило эту темную неприветливую комнату и только теперь решилось заглянуть в нее. Надя посмотрела на Бетю и вздрогнула. Перед нею сидел теперь не человек, а восковая фигура.

Свет пронизал лицо Бети, как нежное, желтое яблоко, и огненными, ломаными полосами очертил ее горбатый тонкий нос, ухо, губы, подбородок и лежащую на сундуке руку. Жутко было смотреть на нее.

У Нади стали закипать слезы, и у нее явилось желание обнять несчастную девушку, прижать ее крепко к своему сердцу и наговорить ей много ласковых теплых слов. И она протянула уже руки. Но ей помешала Антонина Ивановна. Экономка вошла неожиданно, сильно хлопнув дверьми, с большим свертком в руках. Увидав Бетю, она нахмурилась и зашипела:

— О! Уже здесь! Прилезла жидовская морда!

Бетя съежилась на сундуке, как тигр под хлыстом укротителя, и испуганно посмотрела на нее.

— Пусть она будет… Она не мешает мне, — вступилась за нее Надя.

Но экономка не слушала ее. Она бросила молниеносный взгляд на Бетю и крикнула:

— Проваливай отсюда!

Бетя вскочила с сундука и шмыгнула в дверь.

— Чахоточная! Жидяра! — послала ей вслед экономка.

Поведение экономки огорчило Надю. Она находила ее жестокой и хотела высказать ей это. Но побоялась.

— Что? Жаловалась вам, наверное, на непорядки у нас? — спросила экономка.

— И не думала, — угрюмо ответила Надя.

— Знаю… вот еще анафема. Как только новая девушка поступит в дом, она уже тут, марьяжит (юлит) вокруг нее и жалуется, что плохо кормят здесь и все такое прочее.

XV. Неудачное бегство

Погорячившись еще немного, Антонина Ивановна положила принесенный сверток на стул, развернула его и сказала:

— Вот ваш костюм.

Она затем стала разбирать каждую принадлежность его в отдельности и пояснять:

— Это — юпка, это — кофточка, это — перелинка (пелеринка), это — чулки, это — тухли, это — лента для волос. Сегодня вечером вы оденетесь и выйдете в зал к гостям.

Надя выпучила глаза. Ей показалось, что экономка издевается над нею, так как костюм был впору скорее на 13-летнюю девочку, чем на нее — взрослую женщину. Антонина Ивановна, заметив ее удивление, поспешила заявить:

— Это костюм гимназистки. Вы будете всем говорить, что вы — гимназистка и из пятого класса выступили.

— А разве мне поверят? — спросила Надя.

— Делайте так, чтобы поверили. Говорите, что вы из киевской гимназии бежали со студентом или лучше с ахтером и что отец ваш — отставной подпоручик и имеет две медали.

Надя улыбнулась и спросила:

— А почему отец мой должен быть отставным подпоручиком?

— Потому, — ответила Антонина Ивановна тоном, не допускающим возражения, и спросила: — Вы не забудете, что я вам сказала?

— Нет, не забуду. Но… Ведь я большая. Посмотрите сами. Какая я гимназистка? Как я надену этот костюм? Ведь из меня трех гимназисток выкроить можно.

— Это ничего, что вы большая, — перебила экономка. — Распустите волосы, вплетите в них вот эту красную ленту и сюсюкайте, как девочка. Говорите так: «Папаса, мамаса». И готово. А чтобы вы были больше похожи на девочку, держите всегда руки на коленях. Хорошо, если вы часто будете задумываться… Сядете возле кумина (камина) и глаза закинете на потолок. И если гость спросит вас: чего вы задумались? — отвечайте: — «Я думаю за свой родной Киев, Днепр-реку, папасу и мамасу…» А что я еще хотела сказать вам? Да! Как только познакомитесь с гостем, сейчас же накройте его на пиво, милинад, апельцин или папиросы. Требуйте, чтобы он угостил вас. У нас тут буфет есть… А пока можете прилечь и спать до вечера. У нас теперь все спят.

Прочитав свою лекцию, экономка показала Наде свою жирную широкую спину и удалилась.

* * *

Надя после ухода экономки почувствовала себя сильно разбитой. Она с трудом держалась на ногах. Сердце ее ослабело и как бы замерло.

Надя вспомнила, что она с утра ничего не ела.

«Поесть бы чего-нибудь», — подумала она и тоскливо посмотрела вокруг себя в надежде найти хотя бы кусочек съестного. Но съестного ничего не нашлось.

Усталый взгляд ее упал на кровать. Кровать манила к себе.

Надя вспомнила слова экономки, что можно прилечь и спать до вечера, и решила воспользоваться милостивым разрешением.

Шатаясь, как пьяная, она подошла к кровати и рухнула на нее всем телом.

Сладкая истома охватила ее. Она вытянула отяжелевшие руки, закрыла глаза и пыталась уснуть. Но попытка эта не удалась ей.

Ухо ее с болезненным напряжением ловило голоса, раздававшиеся во дворе, и скрип чьих-то шагов в коридоре. Кто-то во дворе тонким звенящим голосом орал:

— Такой кадет, такой жулик! Позавчера забрал у меня 4 рубля, вчера — 2, и сегодня дай ему еще рубль. А дули не хочешь?

— Покричи, покричи! — басил кто-то в ответ. — Давно рыбы (лупок) не ела. Я тебе дам дулю.

Но вот голоса смолкли, смолк скрип в коридоре, и в комнате воцарилась гробовая тишина. Только слышно было, как за обоями под потолком неспокойно ворочается таракан и, шурша бумагой, спешит куда-то.

Наде стало казаться, что она одна во всем доме, и ей сделалось жутко. Она открыла глаза, притаила дыхание и с удвоенным напряжением стала ловить отдаленнейшие звуки и шорох.

Где-то, как ей показалось, рыдали.

На стене, против кровати, висел разрисованный ковер. Надя только сейчас обратила на него внимание. Он изображал охоту на тигра. Несколько арабов и англичан в чалмах и пробковых шляпах верхами окружили огромного тигра и безжалостно палили в него из винтовок, полосовали его саблями и кололи пиками.

Стиснутый со всех сторон и страшно разъяренный, тигр впился зубами и когтями всех четырех лап в белую, как молоко, гордую шею прекрасной лошади, на которой сидел араб, и повис

наподобие желтого, туго набитого куля. Тяжело было смотреть на несчастную лошадь. Желая освободиться от этого страшного куля, она делала отчаянные усилия, вставала на дыбы, металась, ржала и глядела в небо большими круглыми глазами.

Надя не могла оторваться от этих глаз и все думала: «Где я видала эти глаза?» Они были знакомы ей. Она, наконец, вспомнила. Такие глаза были у ее новой знакомой Бети (Цукки). И Надя стала думать о ней.

Она с содроганием вспомнила ее жалкую, тщедушную фигурку с исковерканной грудью, кашляющую, задыхающуюся, истекающую кровью, всю пронизанную лучами солнца, восковую, и ее хриплый усталый голос, пробивающийся сквозь кашель с таким трудом, как воин сквозь ряды неприятелей:

«Разве это житье? Всем моим врагам дай Бог такое житье… Ой, нехорошо голодать. Я однажды три дня голодала и, если бы городовой не взял меня в больницу и там не накормили бы меня, я давно уже была бы на том свете…»

Надя вспомнила также возмутительную сцену с экономкой, как та накричала на Бетю своим хлестким шипящим голосом, и как Бетя, мо-

ментально съежившись в маленький клубочек, оплеванная, униженная, быстро шмыгнула в дверь, словно боясь, чтобы та сгоряча не пнула ее ногой, как собаку…

Сон окончательно покинул Надю. Она приподнялась на кровати, свесила на пол ноги и посмотрела вокруг себя растерянным взглядом.

В комнате было темно и душно. Пахло плесенью и сыростью.

— Боже, куда я попала? — прошептала Надя.

Она стала припоминать все подробности поступления своего в этот дом и ужаснулась. Как этот дом не был похож на тот, который так ярко, розовыми красками расписывала факторша.

Надя еще немного посидела на кровати, а затем стремительно вскочила, быстро надела на голову шляпку, схватила в руки зонтик и твердыми шагами направилась к дверям. Она решилась бежать. Но у дверей твердость покинула ее. Сердце у нее болезненно забилось и ноги отказались служить.

Надя прислонилась на минуту к стене, передохнула и высунула голову в коридор. Она хотела узнать, нет ли кого в коридоре. В коридоре было по-прежнему темно, по-прежнему в нем стоял противный удушливый запах светильного газа

и на всем протяжении его не видно было ни одной души. Можно было бы подумать, что весь дом вымер, если бы не странный шум, волнами ходивший по коридору.

Надя прислушалась к этому шуму и слегка улыбнулась. Этот шум был храп, вылетавший из двух рядов комнат, расположенных по обеим сторонам коридора.

А сладко и артистически храпели в этом доме! Как в селении праведников.

В одной комнате кто-то храпел тигром лютым, а в другой — кто-то не то храпел, не то курским соловьем заливался. По секрету сказать, тигром лютым храпел в апартаментах Любы Донской казачки надворный советник Иван Степанович Золотарев — папаша весьма и весьма многочисленного семейства, а курским соловьем заливался новоиспеченный студент-математик Пифагоров.

Надя подобрала высоко юбки и, чуть дыша и крадучись, пошла через весь коридор к лестнице.

Перед лестницей лежала широкая площадка, вымощенная квадратами цветного мрамора. На площадке стояли столик, накрытый красной вязаной скатертью — работой младшей экономки

дома Раисы Ивановны, кушетка и два кресла. А над столиком висело круглое зеркало.

По вечерам на этой площадке восседали и возлежали — хозяйка, вся унизанная бирюзами и алмазами, толстая, неотразимая и великолепная, как слон с берегов Ганга в священной процессии в честь Брамы и Вишны, и придворный штат ее из трех экономок, всяких приживалок и фавориток, льстивый до крайности. Очаровательные дамы пили чай с вареньем, вытирая потные лица батистовыми платочками, рукавами и подолами юбок, грызли фисташки, курили, сплетничали, гадали на картах и вели нескончаемые беседы о «прежних временах и нонешних», о том, как теперь совсем вывелись порядочные фучи (гости), которых можно было накрыть на бутылку шампанского и дюжину пива, и приветливыми улыбками и распростертыми объятьями встречали одесскую молодежь.

Лестница вела на улицу.

Очутившись на площадке, Надя вздохнула всей грудью. Еще несколько тревожных минут, и она на свободе. Надя положила руку на перила, обитые красным плюшем, и занесла ногу на ступеньку. Но она тотчас же отдернула назад руку и отскочила. Ее словно ужалил кто-то.

Внизу были люди. Надя успела разглядеть здоровенного, длинноногого, вихрастого детину с большой головой и широкими плечами и низкорослого парня в фуражке с желтым околышком. Первый был Николай Егорович — важнейший и необходимейший винт в механизме этого дома, а именно — вышибайло. На нем лежала почетная обязанность сворачивать наручником скулы и челюсти невоспитанным гостям, раздавать им фонари и вышибать их «на воздух», в тень душистых акаций и на середину мостовой.

А вышибать Николай Егорович был мастер, виртуоз. Двинет ногой в то место, откуда растут ноги какого-нибудь индивидуума, и тот летит в дверь со скоростью пробки из монопольной бутылки или ядра, будь он даже 10 пудов весом.

Другой — в фуражке с желтым околышком — был швейцар. На этом лежала не менее почетная обязанность. Он должен был воевать с гостями, требовать, чтобы они оставляли внизу галоши, а также не пропускать такой элемент, который мог шокировать благородных гостей, как то: матросов, мастеровых, вообще плебеев и учеников и мальчишек на вид меньше 14–15 лет.

Надя прижалась к стене и от неожиданности не могла сдвинуться с места. Испуганными глазами

она глядела поверх ступенек на матовые стекла и железные узорчатые решетки дверей, на головы вышибайла и швейцара и слушала, как вышибайло рассказывал разбитым басом:

— Сидит он, понимаешь, у кабенете и дует с Наташкой Коротконогой кондяк. Хорошо. Вдруг он как ни запузырит бутылкой в трюм (трюмо). Трюм как ни дзинкнет. Вдребезги! А потом давай душить Наташку. Сел на нее верхом и душит. Ладно. Она, — конечно — тарарам. Антонинка до меня. «Скорее ступай наверх. Гость напился, трюм разбил, а теперь Наташку душит». Ладно… Я наверх и говорю: «Мусью, а мусью. Ведь вы человек — образованный, благородный». — «А ты кто такой? — отвечает он. — Подлец! Рразобью». Я засмеелся и говорю: «Охота вам срамиться. Вы не на базаре, а в порядочном доме». А он: «Молчать! Хам! я коллежский лигистратор. Медаль за непорочную службу имею. Через пять лет пенсию получать буду!» и бац меня в ухо. Хорошо. Я ему — как полагается, сдачи. Завинтил ему наручником рраз, два в нюхало, в едало, в глюзы (глаза). А потом как ни чеборакну полным ходом, вира наша, со всех лестниц вниз. А потом — на воздух его. И Наташку тоже по морде раз, другой. Зуб надвое переломал ей, потому что она — всему

виной. Видишь, пассажир — спиридон (пьяный), убирай бутылки.

— Верно, — согласился швейцар.

Надя во время рассказа менялась в лице.

Площадка под ее ногами заходила, и ей показалось, что она проваливается вместе с нею куда-то глубоко-глубоко.

Смешно было думать теперь о бегстве.

Путь был отрезан. Сидевшие внизу, наверно, задержали бы ее и представили экономке.

Надя опустила голову и поплелась назад, в комнату.

* * *

Единственным желанием Нади по возвращении ее в комнату было забыться, отдохнуть от всего виденного и пережитого. Но и на этот раз ей не удалось отдохнуть. Как только она легла, полил сильный дождь.

До Нади донеслось со двора частое хлопанье окон и голос хозяйки:

— Николай, Николай! Вынеси скорее на двор горшки с фикусами.

Голос хозяйки скоро умолк, окна перестали хлопать, и Надя услышала теперь ясно и отчетливо, как выбивает дробь на крыше и стеклах дождь и

как он шумит в водосточной трубе.

Против окна остановилась громадная черная туча и проглотила все предметы в комнате. Ей не удалось только проглотить яркого ковра, на котором истекала кровью белая прекрасная лошадь с гордой шеей и печальными глазами.

Наде опять сделалось жутко. К шуму дождя вдруг примешался какой-то резкий звук, затем другой. Во дворе заиграла шарманка.

Тягучий мотив наполнил все уголки двора и влился с дождем в тоскливую, ноющую и унылую мелодию.

Надя, сама не зная почему, вспомнила свою и дядину поездку в Одессу.

О, эта проклятая Одесса!

Как это было давно! Был такой же дождливый день. Они ехали степью. Телега качалась из стороны в сторону по ухабистой и набухшей дороге.

Небо было серое-серое. Надя глядела по сторонам, и сердце ее сжималось болью.

Ветер гнул до земли придорожные деревья, унизанные мокрыми воробьями и галками, и кружил столбы водяной пыли…

Через некоторое время к музыке дождя и шарманки примешались два тоненьких серебристых голоска — альт и сопрано. Оба лениво и вяло,

точно по принуждению, тянули убийственно-грустный трактирный романс:

Сколько клялась и божилась
Перед маменькой родной,
Что с изменником жить не стану,
И махнула я рукой.

Надя подошла к окну. Она хотела посмотреть, кто играет и поет.

Играла высокая, похожая на гороховый стручок, в желтом платье, немолодая женщина. Из черной косынки ее, туго повязанной на шее, выглядывало постное, рябое, пучеглазое лицо с птичьим носом. Дождь обливал ее плечи, спину, грудь, обнаженную по локоть вертевшую шарманку руку, — шарманка висела у нее на животе на ремне, — саму шарманку, прикрытую какой-то тряпкой, и стоящий на ней зеленый продолговатый ящичек с тремя отделениями. В каждом отделении ящичка за легкой решеткой пряталась канарейка.

А пели две маленькие девочки. Они стояли по бокам женщины, достигая головками ее мокрых колен и прижимаясь узенькими плечиками к шарманке, в черных пелеринках, рваных платочках и коротеньких юбочках. Дождь и с ними

не церемонился. Они стояли в больших лужах и совершенно потонули в них своими легонькими туфельками. Но это нисколько не смущало их.

Они пели, не останавливаясь, шмыгали носиками, по которым катились дождевые капли, и живыми умными глазками шарили по всем окнам.

Скрылось солнце за горою,
За заставой городской,
Повстречался мне парнишка
Очень милый, дорогой.

Одна из них, вместо «парнишка» и «дорогой», выводила «пальнишка» и «дологой».

Купил он мне шкалик водки,
Два стаканчика вина,
А я сидела на диване
И здесь же сделалась пьяна.

Жалкий вид детей, мокнущих под проливным дождем, напомнил Наде ее детей, и материнское сердце ее заныло. У нее стали подступать слезы к горлу.

Маленькие певицы между тем не унимались. Они продолжали тянуть, как заведенная машина:

Посадил он меня на дрожку,
С понтом (шиком) ехали домой.

А дождь все усиливался.

Больше десяти минут хрипела шарманка и пели дети. Но вот она чихнула, и хрипение ее оборвалось. Женщина взяла в руку клетку, подняла ее в уровень с плечом и глухим голосом крикнула на весь двор:

— Купите «счастье»! Всего 5 коп.! Узнаете настоящее, будущее и прошедшее. Кому хороший жених, кому неожиданная радость, кому большое наследство!

Она при этом открыла дверцы клетки, и на крышу шарманки желтым мячиком выкатилась канарейка.

Спрятав на груди свой черный носик и нахохлившись, она круглыми маленькими глазками обводила двор и как бы говорила:

«Ну-ка, добрые люди. Раскошеливайтесь. Купите счастье. Пожалейте вдову и сирот. Пожалейте и нас, бедных продрогших и голодных птичек».

— Счастье, купите счастье! — звенели дети.

Но напрасны были старания этой милой компании. Никто не откликался, никто не удостаивал ее вниманием, и сурово глядели на нее закрытые и заплывшие холодной влагой окна.

Надя полезла рукой в карман за монетой, но в кармане, к большому огорчению ее, оказалась безнадежная пустота.

Женщина вместе с детьми покричала еще немножко, спрятала канарейку обратно в клетку и заиграла «Те пташки».

«Те-е-е пта-а-ашки-и ка-а-на-рей-ки та-ак жа-а-лоб-но по-ю-ут…» — затянули дети.

Затянула и женщина.

Заслышав знакомый «родной» мотив, канарейки в клетке встрепенулись и присоединились к общему хору.

«Тювить, тювить, вить, вить! фью-у!» — защебетали они.

Получился адский концерт.

Компания, очевидно, решила не оставлять этот неприветливый дом до тех пор, пока не получит хоть какое-нибудь вознаграждение за свой труд. Она хотела всполошить весь дом.

«Что мы, даром, что ли, пели и играли вам под дождем? — читалось на оскорбленных лицах женщины и детей. — Свиньи вы. Чтоб вам света божьего не видать. Погодите. Уж мы вас доймем».

Замысел компании удался. Она разбудила Симона, крепко спавшего после сытного обеда и

бутылки хорошего бессарабского вина — «выморозка».

Он заворочался, как бегемот, на широкой тахте, потер рукой волосатую грудь и оглянулся вокруг. Он хотел узнать, кто осмелился разбудить его. И когда он услышал этот адский концерт, душу выворачивающий романс «Те пташки канарейки», то пришел в ярость.

Проклятая шарманка! Он так сладко спал и такой хороший сон снился ему. Ему снилось, что он сидит в Стамбуле у одного важного паши, которому он привез «товар», на шелковых подушках и ест вместе с ним пилав, причем паша хлопает его дружески по животу, дергает за нос и со смехом говорит ему:

— Хороший ты человек, Симон. Душа-человек. Аллах шикур качкавал эффенди. Кишмиш хочешь? Хады на мой дом. Качкарда якши. Хороший кишмиш.

Фу! Симон фыркнул, поднялся с тахты, вылез на балкон и рявкнул на весь двор:

— Вон!.. Николай! Выбрось их вместе с шарманкой! Я вам покажу!

Апчхи!

Шарманка чихнула, и концерт моментально оборвался. Женщина испуганно схватила в руку

клетку с «пташками-канарейками», вскинула на плечо шарманку и быстрыми шагами пошла к воротам. За нею, цепляясь за ее платье и озираясь на Симона, побежали дети.

— В участок их!

Симон выругался по-площадному, выждал, пока компания оставила двор, и потом спокойно завалился на свою тахту.

Во дворе сделалось пусто и скучно. Дождь лил по-прежнему и тянул свою тоскливую мелодию.

Надя отошла от окна, бросилась на кровать и зарыдала. Она рыдала больше четверти часа и затем крепко уснула.

XVI. Перед выходом

Когда она проснулась, в комнате было совсем темно. В окно глядели звезды.

Надя приподнялась на кровати, крепко обхватила одно колено руками и задала себе вопрос:

«Что же теперь будет?»

Но она не могла сосредоточиться на этом вопросе, так как ее отвлекал шум за дверьми. Каждую минуту кто-то, шурша накрахмаленными юбками, проносился по коридору, кто-то с кем-то обменивался крепкими словечками, кто-то перед кем-то оправдывался. Исключительно были слышны женские голоса.

Надя повернула голову к дверям и с любопытством стала прислушиваться к незнакомым голосам:

— Манька! Это ты забрала мои «тухли»?

— Здорово, кума!

— Пожалуйста, без фокусов.

— Отстань, пластырь! Очень нужны мне твои туфли!

— Фу, дьявол! Летит, как сумасшедшая! Чуть с ног меня не сшибла!

— А ты чего поперек дороги стала, как воз с

огурцами?!

— Лелька, чтоб тебя дождик замочил! Одолжи мне на сегодняшний вечер твой пояс.

— Еще что тебе одолжить?

— Ну, чего собрались?! Ишь, благотворительное «засидание» в коридоре устроили. Ступайте по комнатам одеваться. Скоро гости соберутся.

Последние слова принадлежали Антонине Ивановне. Надя узнала ее по ее неприятному шипящему голосу.

— Антонина Ивановна, — произнес вкрадчиво чей-то женский голос, — можно сегодня не выходить в зал?

— А что случилось?

— У меня сильно бок и горло болят. Спросите у Любы.

— Ничего тебе до самой смерти не будет. У меня тоже бок болит. Марш в комнату…

— И что вы скажете, Антонина Ивановна? Прицепилась она ко мне и чипляется, чипляется. Я семь лет жила в одном доме, и чтобы с кем-нибудь спор имела. Да Боже меня сохрани.

Надя до того увлеклась этими диалогами, разбавленными какой-то особенной бранью, составляющей принадлежность исключительно подобных домов, вызывавшей в ней то отвра-

щение, то улыбку, что не обратила внимания на легкий стук в двери. Двери вслед за стуком тихонько отворились, и в комнату из коридора ворвалась широкая полоса яркого света. Она легла на пол, угол туалетного столика и кровать.

Внезапный свет ослепил Надю, и она закрыла глаза. И когда она открыла их, то увидала в полосе света, в дверях, молодую, поразительной красоты девушку.

Девушка была вся в красном и с головы до ног искрилась. Одна рука ее, обнаженная по локоть и белая, как алебастр, лежала на груди, а другая — на чугунной ручке дверей. Девушка не двигалась и улыбалась доброй кроткой улыбкой.

Надя сгоряча приняла девушку за сказочную принцессу, за видение и глядела на нее, широко раскрыв глаза. Но вот видение ласково заговорило:

— Вы не спите, милочка?

— Нет, не сплю, — ответила, заикаясь, Надя.

— Что, вы не узнаете меня?

— Н-нет.

— Я — Бетя, Цукки.

— Бетя?!

Надя вытянула шею и недоверчиво стала всматриваться в ее лицо. Всмотревшись, она радостно

воскликнула:

— А я, ей-Богу, не узнала вас! Извините, пожалуйста! Будете богаты!

Бетя засмеялась, кашлянула и ответила:

— Спасибо… Ой, как у вас темно. У вас есть спички?

— Нет.

— Сейчас принесу. — И она ушла.

Пока Бетя искала у себя в комнате спички, Надя думала:

«Неужели это Бетя? Та самая чахоточная восковая Бетя?»

Она не доверяла своим глазам.

Бетя возвратилась через несколько минут, и скоро розовый ночник заливал своим мягким светом всю комнату. Бетя показалась теперь Наде еще красивее. Она производила впечатление 17-летней здоровой цветущей девушки и была похожа на пунцовую розу, обрызганную росой, в своем «выходном» шелковом, огненного цвета платье, густо усыпанном блестками и поддельными драгоценными камнями, которые при каждом повороте и движении ее сыпали искры.

Сыпали искры и несколько рядов белых крупных бус, лежащих у нее на груди и эффектно оттенявших ее тонкую, белую шею.

Надя, сидя по-прежнему в кровати, не спускала с нее глаз.

— Чего вы смотрите так на меня? — спросила Бетя и плотно притворила двери, вытеснив полосу света.

— Я смотрю и дивлюсь, — ответила Надя. — Вы теперь — настоящая кукла.

Бетя горько улыбнулась, протяжно, по-еврейски вздохнула и грустно промолвила:

— Это все краска виновата. Краска даже старуху сделает куклой.

Она после этого облокотилась обеими руками о стул и добавила с прежним вздохом:

— Что делать? Надо краситься. Надо быть красивой. Надо обманывать гостей, а то никто тебя приглашать не будет. Вы знаете, как делают «наивысший» сорт табаку? Мешают первый сорт с третьим. Я знаю, потому что работала на табачной фабрике. А как старые сухие сливы делают мягкими и сладкими, — знаете? Их мешают с патокой. Имейте в виду, дорогая, что всякий товар подкрашивают. Мы — тоже товар.

Бетя засмеялась фальшивым смехом. Надю от этого смеха всю передернуло.

— Так-так, — протянула потом Бетя и повернулась к зеркалу.

Надя через плечо ее увидала, как она охорашивается. Бетя поправляла то завитушки на лбу, то бусы, щурила глаза, кокетливо облизывала губы и строила себе самой улыбки.

— И кто теперь скажет, — опять заговорила она, — что я «потерянная чахотка»?.. Кукла. Не правда ли, я похожа теперь на куклу? А я вам правду скажу. Я люблю краситься. Это самое лучшее мое удовольствие. Сидишь перед зеркалом желтая, как смерть, а через две-три минуты ты уже — красная-красная, как будто кровь у тебя из лица брызжет. И ты забываешь, что ты такая несчастная. Знаете? Чтоб я так здорова была. Мне иногда кажется, что я на самом деле такая румяная и свежая.

Бросив еще один взгляд на зеркало, Бетя спросила Надю:

— Вы что-нибудь ели?

— Нет.

— Ай, ай, ай! Чего же вы не сказали мне?

Бетя исчезла и скоро явилась с тарелкой, на которой лежали — котлетка, половина соленого огурца и кусок хлеба.

— Кушайте, — сказала Бетя.

Надя поблагодарила, взяла тарелку и стала есть с жадностью.

— Когда вы покушаете, то умоетесь и оденетесь. Мыло у вас есть?

— Нет.

— А пудра и краска?

— Тоже нет.

— А щипцов и глицерина, наверное, тоже нет?

Бетя исчезла в третий раз и вернулась с перечисленными предметами.

Расставив принесенное на туалетном столике, она спросила:

— А костюм у вас есть?

— Есть. — Надя указала на стул, стоявший в углу.

Бетя подошла к стулу, разобрала костюм и воскликнула:

— А!.. Костюм гимназистки! Что, она (экономка) не могла дать лучшего костюма?! Вот зловредная женщина. Мало разве у нас других костюмов? Она могла бы дать костюм балерины или сестры милосердия. А вы знаете, кто раньше носил этот костюм? Женька Молодец. Она умерла. Ее подколол ее милый…

— Вот видите, — перебила ее Надя. — Я говорила ей, что не могу носить этого костюма. Я такая большая.

— Это ничего, что вы большая. Женька была

еще больше вас. Ей было 45 лет.

Бетя вдруг засмеялась.

— Чего вы смеетесь? — спросила Надя.

— Ой! Если бы вы видели, какой она — Женька — была гимназисткой! Можно было умереть. Все студенты смеялись с нее и один дразнил ее: «Женька! Ифигения! Приготовила на сегодня урок? Расскажи, во сколько раз солнце больше твоего носа. Я тебе хорошую отметку поставлю». Женька злилась, показывала фиги и говорила: «Мамаше своей поставь отметку!»

— Вот видите. — Надя нахмурилась. — Над нею смеялись. Как же я надену этот костюм?

Бетя живо успокоила ее:

— Вы — дело другое. Вы на лицо в два раза моложе ее. Уверяю вас, вы будете настоящей гимназисткой.

Комплимент Бети заставил Надю покраснеть и помирил ее с костюмом.

— Ну, слезайте теперь! Довольно греть кровать! — скомандовала Бетя.

Надя слезла.

— Умывайтесь.

Бетя, очевидно, взяла на себя добровольно обязанность руководить Надей, как новичком, и быть кормчим в ее дальнем плавании. Надя

поняла это и всецело отдалась в ее распоряжение. Она поспешно сбросила кофточку и стала мыться. Когда она умылась, Бетя сказала:

— Теперь садитесь. Я буду завивать вам чуб. — И она подвинула стул к туалетному столику.

Надя села.

Бетя засуетилась. Она извлекла из абажура ночника маленькую лампочку с плоским донышком и узким стеклом, поставила ее на столик, прибавила пламени и сунула в отверстие стекла щипцы.

— Подождем, пока щипцы нагреются, — сказала Бетя.

— Подождем, — согласилась Надя.

За дверьми по-прежнему шуршали юбки и раздавались голоса и трехэтажные ругательства.

— Феня! Дай папиросу!

— На Дерибасовской есть табачная лавка. Знаешь какая? Арап с кольцом в носу в окне сидит и сигару курит.

— Ну, постой. Приедет коза до воза и скажет: «Дай сенца».

— Плевать я на тебя через крышу хотела…

— Маргарита!

— Что?

— У меня конфеты есть. Тот беззубый, носатый

принес вчера.

— Дай одну.

— А медвежьего окорока не хочешь?!..

— Кто это разговаривает? — спросила Надя Бетю.

— Девушки наши. Балуются. Так каждый вечер. Собираются в коридоре, и пока упросишь их в зал пойти, глаза вылезают. Не любят они зала.

— Да скоро ли вы оденетесь и в зал выйдете? Хотите, чтобы я Николая или хозяйку позвала? — послышался за дверьми знакомый шипящий голос.

Бетя вздрогнула, глаза у нее засверкали, и она с ненавистью произнесла:

— Вот она. Антонина Ивановна. Знаете, как мы называем ее? «Чума бубонная».

— А она точно похожа на чуму бубонную, — согласилась Надя.

— Ах-ах! — Бетя приложила руку к щеке и несколько раз покачала головой. — Это такая зловредная женщина. Чуть что, она уже бежит к хозяйке и жалуется.

— А какая ее главная обязанность?

— Обязанность?.. Она получает выручку и смотрит за тем, чтобы мы постоянно были веселы…

— Как так?

— Так. Если кто-нибудь сядет в угол, задумается, сложит руки и опустит голову, — она подходит, хватает за нос и говорит: «Ну, чего зажурилась? Дитё при смерти, что ли, хата сгорела или пароход утоп? Видишь, гости сидят. Нечего Конкордию (погребальная контора) ломать...» Еще у нее обязанность товар расхваливать. Она так может гостю заморочить голову, что тот дверей не найдет. «А вы, молодой человек приятной наружности, брюнет жгучий, красавчик — и где берутся такие красавчики? — обратите внимание на эту барышню, что в красном платье сидит. Ягода, апильсин, абрикос, баклава, мармелад, а не девочка. Только сегодня утром поступила к нам. Она из хорошего, семейного дома, — папаша ее старший механик на Добровольном флоте, — хорошо говорит по-французски, играет на фортепиано и очень скромная. Видите, как она сидит, глаза опустимши. Неловко ей в чужом доме. Непривычная. Не теряйте случая. А как она хорошо на канве полотенца вышивает!»

Надя с удивлением слушала Бетю. Она раньше и не подозревала присутствия в ней комической жилки, и когда та стала знакомить ее с системой расхваливания товара экономки, то от души хохотала. Бетя сама тоже давилась смехом. Ей,

по-видимому, доставляло большое удовольствие критиковать экономку.

— А почему она велела мне называться дочерью подпоручика в отставке? — спросила Надя.

— Потому, что ей так нравится. Она каждой девушке что-нибудь придумывает. Положим, иначе нельзя. Гости постоянно пристают — кто ты, в душу к тебе лезут. Противные. Зачем это, не понимаю. Пришли, взяли что надо, и довольно. Уходите. Нет. Они садятся около тебя и расспрашивают — кто твои родные, как ты сюда попала? И надо ответить. Конечно, нехорошо сказать правду, что ты дочь дворника или портного. Мне, например, хозяйка велела говорить, что я — дочь аптекаря из Мелитополя, хотя отец мой сапожник, и я из Вильны. А Фене, отец которой извозчик, велели говорить, что она — дочь купца из Ростова-на-Дону.

Разговаривая, Бетя вынула из стекла нагретые щипцы, подула на них, повертела ими, вытерла их тряпочкой, провела по ним пальцем и стала завивать Наде чуб.

— А я хотела удрать отсюда, — сказала Надя.

— Когда?

Бетя намотала на щипцы прядь волос и ловко сделала колечко.

— После того, как вы ушли от меня.

И Надя рассказала, как ей сделалось вдруг страшно, как она была уже на лестнице и как она испугалась двух незнакомых мужчин.

— Это бывает с каждой новой девушкой, — заметила Бетя, выслушав ее. — Я тоже, когда поступила сюда, в первый же день хотела бежать… А вы напрасно так сильно пугаетесь, милочка. Положим, я виновата. Я напугала вас. Знаете, что я вам скажу? Если присмотреться, то здесь хорошо. Кормят три раза в день.

— Неужели?

— Да. Они (хозяева) если бы даже не хотели кормить, то не могут. Это их же интерес. Что? Хорошо, если девушка будет похожа на дохлятину и у нее сил не будет? Гости смотреть на нее не захотят. Одно только страшно, что на тебя смотрят, как на товар, как на вещь.

— Кто? Хозяйка?

— И хозяйка, и гости. Больше гости. У них ни капельки совести.

— А кто те мужчины, о которых я вам рассказывала, которые сидели внизу, под лестницей? — спросила Надя.

— Швейцар и Николай.

— А кто этот Николай? Он такие ужасы рас-

сказывает?

— Он у нас вроде сторожа, защитника. Все его называют «вышибайло». Он смотрит, чтобы гости не обижали девушек и не делали скандалов. На прошлой неделе пришел к нам пьяный господин, подошел ко мне и говорит: «Послушай, иерусалимская крыса. Сколько возьмешь за то, чтобы я тебе по уху смазал?» Понимаете? Такой дурак. Я ответила ему: «Можете смазать по уху вашу жену или дочь. А меня не смеете. Вы не думайте, что если я нахожусь в этом доме, то вы имеете право бить меня». Он рассердился и ударил меня. Я закричала. Девушки закричали тоже и позвали Николая. И Николай ему дал. — Бетя прищелкнула языком и покачала головой. — Ах, он ему дал. Ва! Он так бил его, так бил! — Глаза у Бети заблистали торжеством.

Рассказывая, Бетя старательно выводила на лбу у Нади колечки.

— А как вы думаете, — спросила Надя, — Николай или швейцар остановил бы меня тогда, когда я хотела удрать?

— Остановил бы.

— Разве кто-нибудь имеет право удерживать меня здесь?

— Права не имеет, но вас не выпустили бы без

экономки… А веселая наша жизнь, — в голосе Бети зазвучала ирония. — Кто танцует в году раз, а мы — 365. Каждую ночь. С вечера до утра. У меня постоянно голова шумит от танцев, и мне кажется, что я и сейчас танцую.

Бетя окончила завивку чуба и сказала:

— Теперь давайте пудриться.

Надя взялась за пуховку с рисовой пудрой, но Бетя остановила ее:

— Раньше надо вымазаться глицерином, а то пудра не будет держаться.

И она стала мазать ей лицо и шею. Вымазав ее, Бетя стала пудрить. Она пудрила и болтала без умолку.

— А как вам наша хозяйка нравится? Вы знаете, как ее называют? «Фараонова корова». Ее так один чиновник назвал. Она такая смешная. Она всем говорит, что «фирма» ее существует с 1843 года. А сынка ее знаете?

— Леву-то?

— Да, Леву. Ах, какой это потерянный человек. Сколько он стоит хозяйке денег! Раньше он учился в реальном училище, потом в коммерческом, и ничего из этого не вышло, потом учился играть на скрипке. Хозяйка думала, что он будет хорошим скрипачом и будет концерты давать. И из этого

тоже ничего не вышло. Он заложил скрипку в ломбард. И что он делает с хозяйкой? Он ругает ее, как последнюю, и выманивает у нее все деньги. Вы только посмотрите на него. Каждый день на нем новый галстух и брюки. И каждый день он катается на резиновых шинах.

— А Симон? — спросила Надя.

— Симон? Что ему? Он хорошо кушает, пьет, по пятницам ходит в Харьковскую баню, по субботам в синагогу, играет в «дурачки» с хозяйкой и лезет до всех девушек.

Надя, слушая характеристику хозяйки, хозяина и сына, не могла вторично удержаться от хохота.

Бетя заканчивала свою работу. Она накладывала заячьей лапкой на уши и щеки Нади румяна.

Когда румяна были наложены, она распустила ей волосы, тщательно расчесала их и вплела в них ленту. Вплетая ленту, она сказала:

— Знаете, что я вам скажу? Я вас полюбила, как сестру.

— И я тоже, — призналась Надя.

— Давайте будем на «ты».

— Давайте.

— Жаль, что нет вина, а то мы выпили бы брудершафт. Я вчера пила брудершафт с одним инженером путем сообщений. Вы знаете, что

такое «путем сообщений»?..

— Нет.

— Я тоже не знаю.

— А хотите, мы поцелуемся?

— С удовольствием.

И новые подруги крепко поцеловались.

— Теперь можете одеваться, — сказала Бетя.

Надя оделась.

Бетя отошла немного в сторону, прищурила левый глаз и посмотрела на нее с таким выражением, с каким смотрит художник на свое произведение. И она осталась весьма довольной ею.

Надя, в зеленой юбочке с черными клетками, в пелеринке и туфлях, надетых на открытые по щиколотку и обутые в черные чулки ноги, выглядела прелестной гимназисткой.

— Мы можем теперь пойти в зал, — сказала Бетя.

— Да?

Надя торопливо перекрестилась, схватилась рукой за грудь, в которой сильно трепетало сердце, и вместе с Бетей вышла в коридор.

XVII. Чертог сиял

В коридоре было светло, как в оранжерее. Его освещали несколько пар газовых рожков и ламп.

Посреди, у стены, разрисованной букетами, птицами и херувимами, на хромом столе стоял курносый белобрысый парень и поправлял фитиль в лампе.

Надя узнала в нем швейцара. Кроме него, в коридоре никого не было. Зато ежесекундно то из одних дверей, то из других вылетала с визгом, с папиросой во рту полуодетая, прилизанная, намазанная девица и врывалась в соседнюю комнату.

Длинная белая дорожка с красными каймами вела в зал, и Надя с Бетей направились к нему.

Дорогой Надя заглядывала в раскрытые настежь и полуоткрытые двери и видела, как девушки старательно наводили на себя красоту, завивали чубы, красились, зашнуровывали туфли, туго затягивались в лифы.

Швейцар, когда Надя поравнялась с ним, перестал возиться с лампой, поклонился и сладеньким голосом поздравил:

— С новосельем-с вас, барышня!

Надя растерялась и не нашла, что ответить.

— С каким новосельем поздравляет он? — спросила она Бетю шепотом.

— Как с каким? — Бетя засмеялась. — Ведь ты здесь — на новой квартире. Тебе надо будет дать ему на чай.

Бетя хотела сказать еще что-то, но неожиданно перед самым носом их распахнулась дверь, и в коридор павой выплыла божественная Антонина Ивановна.

Надя от изумления чуть не ахнула. Как теперешняя цветущая, румяная Бетя не была похожа на прежнюю — чахоточную, желтую — так и экономка. Она была похожа теперь на «грандам», на одну из тех, которых Надя так часто видела разъезжающими в экипажах на Дерибасовской.

Экономка, как любят выражаться некоторые романисты, вся утопала в шелках и благоухала, как свежесорванная роза. На руках у нее колокольчиками звенели браслеты и с густо накрашенного лица сыпалась и падала еле уловимая глазом душистая пыль.

Неизвестно, для какой цели на ашантийском носу ее было водружено великолепное пенсне, а сбоку, на поясе из кавказского серебра, как всегда, покоилась толстая связка в 15 фунтов разнообраз-

ных ключей от всех тайников и сокровеннейших мест этого любопытного учреждения. В правой руке у нее покоился пышный страусовый веер. Увидав Надю, очаровательная экономка протянула «а!», остановила ее, осмотрела со всех сторон и вынесла резолюцию:

— Хорошо.

Затем она с шумом подобрала длинное платье, искусно устроив из целого ассортимента нижних цветных юбок нечто похожее на радугу, сильнее зазвенела браслетами, величественно прошла мимо и гаркнула на весь коридор:

— Эй, вы, дармоедки, лодыри! Долго еще одеваться будете?! Полно красоту наводить! Пора в зал!

Бетя не утерпела и проворчала по ее адресу:

— Смотри, сколько у нее браслетов. Нажилась. Все наши соки… А вот зал!

Перед Надей открылась большая светлая комната с хрустальной люстрой, расписанным потолком, большими зеркалами, художественным камином и хорошо навощенным паркетным полом. Вдоль стен тесно стояли стулья, а по правой стороне дверей, в углу, стоял почти новый, наполовину закрытый чехлом рояль. За роялем сидел какой-то мужчина, небрежно одетый в

засаленную тройку, в грязной рубахе и в рыжем помятом котелке на затылке, и что-то фальшиво наигрывал.

Все это вместе отражалось в паркете, как в залитом солнечным светом озере. Надя с непривычки ступала по паркету, как по ледяному катку.

— Я на минуту уйду, — сказала Бетя, — а ты, если хочешь, посмотри на картины. — И она ушла.

Надя кивнула головой и подошла к ближайшей картине. Картина была препикантная. Какая-то дева, без единой ниточки и мушки на прекрасном, слишком даже прекрасном теле, сидела на корточках в зеленых камышах среди бела дня и целовалась с лебедем. Другая была написана на библейскую тему и изображала самый скандальный момент из печального пребывания нравственного и примерного юноши — прекрасного Иосифа — у величайшего рогоносца того времени — начальника фараоновых телохранителей — Пентефрия.

Талантливый художник, выражаясь языком художественных критиков, удивительно передал всю неудовлетворенность и ярость замужней дамы, а равно испуг и стойкость удивительного юноши. Держа в правой руке одну принадлежность его туалета, она грозила ему кулаком,

изрыгала всякие ругательства, а он улепетывал и, улепетывая, посылал ей укор большими голубыми глазами.

Под картиной — в уголке, на бронзовой раме — были выцарапаны булавкой довольно загадочные слова: «Не одобряю».

По наведенным одним отставным подпоручиком — частым посетителем этого дома — справкам, слова эти начертал какой-то студент-филолог.

Кого не одобрял строгий филолог? Жену Пентефрия или Иосифа?

Третья картина изображала скверную копию с известной «Женщина или ваза» Семирадского. Перед почтенным патрицием с утиным носом и отвислой нижней губой, в тоге с венком из роз на голове, стояла насильно раздетая евнухами дама.

Патрицию предстоял выбор между нею и вазой, и он глубокомысленно морщил лоб. Он не знал, на что решиться.

Как под предыдущей, так и под этой картиной стояла надпись, но уже не загадочного, а довольно жизнерадостного свойства: «И чего он, болван, думает? Конечно, женщина!»

— Ну как? Нравятся тебе картины? — спросила

Бетя, возвратившись в зал.

— Ничего, — ответила Надя. — А почему ни одной девушки нет в зале?

— Подожди. Скоро выйдут.

— А это кто? — Надя указала на мужчину, сидевшего за роялем.

Он не переставал наигрывать.

— «Топор» наш.

— Как?

— «Топор» (тапер), который играет. Идем, я познакомлю тебя.

Бетя взяла ее под руки и подошла с нею вплотную к роялю. Надя, увидав «топора» вблизи, чуть не прыснула. Он был очень смешон. Маленький, кругленький, с громадным флюсом вроде балкона на левой щеке.

Благодаря флюсу рот у него скривился и растянулся до левого уха, а левый глаз и бровь полезли вверх.

— Мусью Макс, — заискивающе обратилась к нему Бетя.

Макс чуть-чуть повернул голову, сделал гримасу и недовольно посмотрел на Бетю правым глазом.

«Не люблю я, когда мешают моему “вдохновению”», — хотел он сказать.

Он сочинял новый «бешеный кадрель».

— Ну? — протянул он затем, продолжая работать пальцами и извлекать фальшивые ноты.

— Позвольте представить вам новую девушку.

Макс опять сделал гримасу, бросил быстрый взгляд на Надю, буркнул «Очень приятно» и совсем ушел в свою музыку.

Несмотря на всю грубость и высокомерие «топора», Бетя была в восторге от него. Она смотрела на него с восхищением и подмигивала Наде: «Послушай, дескать, как он играет, ах, как он играет».

Когда они отошли от рояля, Надя спросила:

— Чего он такой важный?

— А как же? — ответила серьезно Бетя. — Он такой ученый. Ах, как он хорошо читает газету и говорит о политике. Ты знаешь, через почему Россия хочет драться с Китаем?

— Нет, не знаю.

— А я знаю. «Через потому, что Англия много себе воображает… Вот и…» Теперь ты знаешь! Я слышала, как вчера Макс рассказал хозяйке. А как он хорошо на рояле через руку играет!

— Как «через руку»?

— Увидишь потом.

В зал вдруг влетела, шумя юбками, в желтом

платье с большим декольте, толстая девица. Она оглянула зал и, громко и тяжело дыша, спросила Бетю:

— Цукки! Не видала Антонину Ивановну?

— Нет.

— Ах! — она сделала нетерпеливый жест. — Мне нужен носовой платок. Черти! Все платки растаскали! — И она устремилась к дверям.

— Постой! Раиса! — крикнула Бетя.

Раиса остановилась в дверях.

— Что?!

— Познакомься с новой девушкой.

— Очень приятно!

Раиса подошла к Бете быстрыми шагами и протянула ей руку.

— У вас, мамочка, нет волосной булавки? — спросила она сейчас же фамильярно Надю.

— Есть.

Надя выпростала из прически булавку и подала ей.

— Мерси вам! — И Раиса умчалась.

Не прошло и получаса, как зал постепенно наполнился девицами. Их набралось 40.

Девицы были одеты, как на маскараде. Одна — балериной, другая — турчанкой, третья — малороссиянкой, четвертая — полькой, пятая

— добрым молодцем в плисовых штанах, красной шелковой рубашке и лакированных сапожках с мелким набором.

В зале сделалось душно, шумно и весело.

Девицы разбились на пары и группы. Некоторые расселись вдоль стен, некоторые развалились на кушетках, а некоторые, обнявшись, стали прогуливаться по залу.

Все без исключения курили, ругались по-площадному с какой-то особенной удалью и молодечеством, сплетничали, тянули всякие «романцы», вели циничные разговоры, осуждали экономку и хозяйку, часто употребляли незнакомые Наде слова.

Надя с любопытством и жадностью свежего человека прислушивалась к их разговорам и присматривалась к их лицам. И ей становилось страшно.

Лица у них были какие-то особенные, странные, непохожие на все те, которых она до сих пор встречала. Они поражали своей поношенностью, равнодушием ко всему окружающему и были скорее похожи на маски, чем на лица. Поражали Надю и их голоса. Все почти девицы сипели и хрипели.

Возле рояля одна девица раскладывала карты,

а другая, шалунья, с лицом 10-летней девочки, — Леля, по прозванию «Матросский Свисток», — лежала на кушетке, на спине, как разнузданная лошадь, болтала в воздухе ногами и орала во все горло:

И дым идёть, и пар гудёть,
«Митридат» подходить,
А мой милай смутнай, бледнай
По палубе ходить.
Видю его по походке,
Как билеются штаны.
Его волос под шантрета
И на рипах сапоги.
Дай дюжину, дай другую,
Сегодня гуляю.
Возьми, ципа, мои деньги,
А то потеряю.

— Не разоряйся! — крикнул ей кто-то.

— Сядем, — сказала Бетя Наде. И они сели.

Мимо них, не удостаивая их взглядом, продолжали прогуливаться девушки.

Надя обратила внимание на сидевшее у камина vis-a-vis удивительное создание, — огромный кусок мяса с тройным подбородком и толстыми руками. Мясо это было втиснуто с невероятными,

как видно, усилиями в красный корсаж и тяжело дышало.

Несчастный корсаж жалобно трещал, полз по швам и дал уже несколько широких трещин.

— Господи!.. Кто она? — спросила Надя.

— Ксюра, «Пожарная Бочка». Бывшая жена акцизного чиновника. Знаешь, какие шутки она выкидывает? Она ставит на грудь — посмотри, какая у нее грудь, — миску с борщом, и ни одна капля не проливается. И не только миску. И графин с водой.

— Скажи, пожалуйста.

— А эта, видишь? — Бетя указала на рыжеволосую немку с красными руками и квадратным лицом. — Это — Нана.

— Нана? Первый раз слышу такое имя. Почему — Нана?

— А я знаю — почему? Студенты так называют ее. Они такие выдумщики. А эту они называют Надеждой Николаевной.

Надя посмотрела на Надежду Николаевну. Закинув голову с красивой прической, сидела, развалясь, на стуле высокая девушка, скромно, но со вкусом одетая, и покуривала папиросу. Она медленно пускала колечки дыма и следила за ними большими, темными, мечтательными

глазами.

— Какая она славная, — сказала Надя.

— А какая образованная! — подхватила Бетя. — Рассказывают, что отец ее — генерал. Она говорит по-немецки, французски и английски. Когда к нам приходят из порта «энглишмэны», то она говорит с ними по-английски. Она очень строгая. Она ни с кем из девушек не имеет дела и не любит их за то, что они так ругаются. Девушки ее тоже не любят и называют «гнусной гордячкой».

— А как она сюда попала?

— Как? — Бетя пожала плечами. — Как я попала сюда? Как ты? Как попадают в эти дома тысячи девушек? И чего ты спрашиваешь?

Надя сконфузилась.

Мимо Надежды Николаевны прошли, нежно обнявшись, добрый молодец в плисовых штанах и красной рубашке и балерина. У балерины было узкое страдальческое лицо с двумя глубокими ямами на щеках. Она ткнула пальцем в Надежду Николаевну и хрипло и язвительно проговорила:

— Клавдия. Отдай под козырек. Не видишь, генеральская дочь сидит?

Клавдия, или добрый молодец, засмеялась и ответила:

— Таких генеральских дочек много по ботанику (ботаническому саду) шляется.

Наде сделалось больно за Надежду Николаевну, а та хоть бы бровью повела. Она не обратила никакого внимания на их остроты и, не изменяя позы, продолжала выпускать колечки дыма.

— А это Елена.

Бетя указала на молоденькую тоненькую девушку. Она сидела в уголке, скрестив руки, и испуганно поглядывала на гуляющих девушек серыми наивными глазами.

— Это та самая, что позавчера поступила? — спросила Надя.

— Да. А ты как знаешь ее?

— Хозяйка рассказывала о ней факторше. Бедная. Она хотела под поезд броситься… А эта кто? — Она указала на высокую женщину в фантастическом костюме.

Женщина эта прогуливалась с заложенными на спине руками и напевала ужасным голосом:

Я в школе не училась,
С кадетами дружилась,
И в 16 лет
Сгубил меня корррнет!
Трра-та-та-та-та,
Трра-та-та-та-а!

— Это Саша-Шансонетка. Она когда-то пела в саду. А эта — Чешка.

Чешка была блондинка низенького роста, с плоским лицом и широким чубом.

— Она еще в прошлом году с арфой по дворам ходила вместе со своим милым.

— А куда он делся, ее милый?

— Умер. Она поэтому и поступила сюда. А это Роза-цыганка.

В толпе гуляющих по залу легко и грациозно solo выступала стройная гибкая девушка. Лицо ее было смуглое и глаза черные-черные.

Она была одета в пестрый костюм, в такой, какие носят цыганки, шатающиеся по дворам и бульварам.

В маленьких ушах ее болтались большие, круглые арабские кольца и в двух тонких, как нагайки, косах позванивали монеты. В левой руке, заложенной за спину, она держала тамбурин, а в правой папиросу.

Все почему-то сторонились ее и давали ей дорогу. И это ей, по-видимому, доставляло удовольствие. Она скалила зубы и улыбалась.

— Вот так красавица! — воскликнула Надя.

— А злая какая, — заметила Бетя. — Как кошка. Ее так и называют «дикой кошкой». Все боятся ее,

и никто не хочет иметь дело с нею. Когда ее затронешь, она кусается и царапается. Она одному гостю чуть глаза не выцарапала. Известно — азиат. Зато как она хорошо гадает на фасолях! Она всегда гадает мне. Роза! Иди сюда! — крикнула она цыганке. — А я не боюсь ее. Она меня любит и только со мной дружит.

Роза медленно подошла или, вернее, подкралась грациозно, как кошка.

— Ну? — спросила она.

Вблизи Роза была еще красивее. Это был тип настоящей дикой красавицы. Глаза ее, черные, как лес в осеннюю ночь, метали искры, тонкие ноздри маленького изящного носа раздувались, вздрагивали, и от всей ее изящной фигурки веяло неукротимой энергией и свободой.

— Познакомься с новой девушкой, — сказала Бетя и указала на Надю.

Роза молча протянула ей руку.

Познакомившись, Роза нервно взмахнула тамбурином, тряхнула и зазвенела косами, нахмурилась, отчего глаза ее сделались еще темнее, и спросила Бетю:

— Он не приходил еще?

— Нет.

Роза достала из лифа финский нож и спокойно

проговорила:

— Пусть придет.

Ноздри ее шире раздулись, и в глазах блеснул зловещий огонек.

Надю бросило в холод.

— Охота тебе связываться с ним, — сказала Бетя.

Роза посмотрела на Бетю долгим взглядом. Ей не понравился ее посреднический тон, и она тихо, но внушительно ответила ей, показав на нож:

— Может быть, и ты хочешь? Я могу тебя…

Бетя подалась назад, замахала руками и воскликнула с деланой усмешкой:

— Сумасшедшая!

Роза спрятала нож, засмеялась тихим смехом, повернулась к подругам спиной и пошла прочь.

— Кого это она хочет зарезать? — спросила Надя.

— Э! Тут целая история, — ответила Бетя. — Один гость, чиновник, обидел ее. Сказал хозяйке, что она будто украла у него кошелек. Она за то зла на него. Ты видела, какая она? Вот азиат! Чуть меня не зарезала. Надо сказать после хозяйке, а то, если он придет, будет скандал.

Успокоившись, Бетя опять стала знакомить Надю с обитателями дома.

— Это Сима Огонь.

Сима прохаживалась об руку с турчанкой. У Симы было круглое, нахальное лицо с влажными глазами и крупными чувственными губами. Тяжелый чуб, свитый из каштановых волос, закрывал ее брови и переносицу. Через плечо у нее был небрежно, по-испански, переброшен длинный белый платок с бахромой и волочился по полу.

Она курила папиросу за папиросой и звонко сплевывала через крепко стиснутые зубы, как сплевывают жулики и уличные мальчишки.

— А это — «Тоска». Так ее называет один артист. Она когда-то ехала на резинах и купалась в шампанском. Из-за нее застрелился в гостинице помещик. Посмотри, какое на ней платье. У нее целый сундук с такими платьями. И еще один сундук в ломбарде.

Тоска стояла в дверях и грызла яблоко.

Бетя не врала. Тоска действительно когда-то каталась на резинах и купалась в шампанском. Она была камелией и, судя по ее красивому, хотя и помятому, усталому и немного морщинистому лицу, довольно эффектной камелией.

В этом учреждении за обладание женщиной платили рубль. А когда-то ей платили сотнями.

— Макс! Сыграйте вальс, а то скучно! — громко сказала Сима Огонь.

— Пожалуйста, Макс! — подхватили хором девушки.

Макс нехотя взял несколько аккордов. Он не любил играть даром. Он играл только за деньги.

— Играйте «Волны Дуная»!

— Надоело! «Ласточку» лучше!

— Иди к черту со своей «Ласточкой»! «Мой любимый старый дед»!

— Поцелуй ты своего старого деда! Макс! «Не теряя минуты напрасно, объяснился он гейше прекрасной»!

Макс поддергивал правым плечом, нетерпеливо разводил руками и справедливо заметил:

— Господа! Я же не могу разорваться на части. Одна хочет «Гейшу», другая — «Ласточку», третья — «Волны Дуная». Что-нибудь одно.

Макс при этом сказал такую фразу, что Надя глаза вытаращила. Она и не подозревала, чтобы этот ученый, играющий «через руку» и обсуждающий Россию, Китай и Англию, умел так выражаться.

Девушки загалдели и постановили сыграть «Ласточку». И Макс стал играть.

Девушки завертелись.

— Пройдемся немножко, — сказала Бетя и

пошла с Надей на знакомую площадку перед лестницей.

На площадке уже сидела, как по обыкновению, во всем своем великолепии хозяйка, а вокруг нее раболепно теснились три экономки и какие-то приживалки. Руки хозяйки покоились на животе, а ноги, обутые в красные туфли и черные чулки с желтыми полосами — на бархатной скамеечке.

Перед нею на столике стояла большая чашка с горячим чаем и смородинным вареньем. Одна экономка — Анна Григорьевна — стояла по левую сторону хозяйки и осторожно, чтобы, Боже сохрани, не задеть за нос или за ухо, обмахивала ее китайским веером, а остальные экономки — Антонина Ивановна и Секлетея Фадеевна — все беспокоились и старались:

— Хозяйка, поставить поближе скамеечку?

— Может быть, чай слабый?

— Может быть, свет глаза вам режет? Закрутить один рожок?

— А хорошо вы ответили тому — провизору. Умница-хозяйка. «Если вам не нравится, не ходите сюда».

Хозяйка милостиво улыбалась, пыхтела, кивала головой, хлебала чай и часто обращалась к субъекту в гороховом пальто, с хищнической

физиономией и в синих, выпуклых очках. Он сидел подле нее.

Субъект этот был мусью Лещ из Вознесенска — тоже содержатель «порядочного дома». Он приехал на 5 дней в Одессу за «товаром».

— Вы спрашиваете, — говорила ему хозяйка, — как наши дела? Какие у нас могут быть дела, когда развелось столько одиночек? Вы были на Дерибасовской улице? Они — эти одиночки — перехватывают всех мужчин, чтоб им за живот перехватывало. И что себе город думает, не знаю! Скоро ни одному порядочному человеку нельзя будет пройти по улице. А сколько в Одессе секретных домов!

Хозяйка глубоко вздохнула.

— Вам вредно много говорить, — заметила ей Антонина Ивановна и сунула обратно вылезавший из ее шиньона черепаховый гребень.

— Э! — ответила на это хозяйка. — Говори не говори, все равно 200 лет жить не будешь… А долги. Мне должны 5000 руб., у меня есть векселя и расписки, и я не знаю, как получить их. Ко мне, например, три года ходил один богатый фуч. За три года он провел четыре тысячи рублей. А теперь он перестал ходить, потому что женился. Он остался мне должен 300 руб. за один «интересный

вечер». У меня расписка есть от него. Полгода я его не беспокоила и вчера только послала к нему Симона с распиской. Но этот Симон, чтоб он светлого дня не имел, вы же его знаете, 200 раз я говорила ему, чтобы он расписку дал только ему в руки, а он показал расписку его жене. Можете себе представить, что было. Господин этот прибежал сюда и такой тарарам наделал. Ногами топал, волосы на себе рвал и кричал: «Вы погубили меня! Жена хочет развестись со мною!»

— А Лева ваш как поживает? — спросил собеседник.

— Э! Беда мне с ним.

Хозяйка, увидав Надю, поманила ее к себе пальцем и, не говоря ни слова, поправила на ней пелеринку.

Надя после этого пошла вместе с Бетей обратно в зал и заняла прежнее место. Макс играл падеспань.

— А ты умеешь «скирать по-балабарски»? — спросила Бетя Надю.

— Что такое?

— Говорить по-«балабарски». Балабарски, это такой разговор. Мы — девушки — говорим по-балабарски, когда не хотим, чтобы нас гости понимали. Хочешь, я научу тебя? «Ски-

рать» — значит говорить. «Хромчать» — кушать, «хромчальник» — рот, «бырлять» — пить, «кирьяный» — пьяный, «мотрачки» — глаза, «шпилять» — играть… Будешь помнить?

— Буду… Но почему гостей еще нет?

— Обожди. Еще рано. Гости являются после 12 часов ночи, после театра, именин.

XVIII. Одесская молодежь

— Кто будет подметать?! Девушки! — крикнула на весь зал Антонина Ивановна.

— Не я! Не я!

— Я вчера подметала!

— А я позавчера! — ответили девушки.

— Ах вы, лодыри! — выругалась экономка. — Стало быть, никто подметать не будет?!

— Я буду! — заявила вдруг Леля — Матросский Свисток и спрыгнула с кушетки.

— Вот паинька-девочка, — похвалила экономка. — Сейчас принесу веник. — И она вышла в коридор.

По уходе ее девушки окружили Лелю и стали приставать к ней с просьбами:

— Леля-мамочка! Подмети мне хорошего пассажира (гостя). Толстого такого подрядчика, чтобы можно было скинуть ему баши (сорвать с него куш).

— А мне душку-флотского!

— А мне офицера, только не пехотного, а казачьего!

— А мне волопромышленника!

— А мне варшавского или бердичевского куп-

ца.

— Хорошо, ладно, слышу, — отвечала, смеясь, Леля.

— Иди-ка сюда, — крикнула ей экономка, появившись в дверях с веником.

Леля подошла. Экономка передала ей веник и сказала:

— Подметай.

— Только не от дверей, а от лестницы! — крикнули ей девушки.

— Можно!

Леля вышла в коридор, подошла к лестнице и стала мести. Она мела медленно и с таким серьезным выражением лица, словно священнодействовала.

Скоро под веником образовалась небольшая кучка из окурков и обгорелых спичек. Леля, не изменяя выражения лица, вогнала эту кучку в зал.

— Есть что-нибудь? — спросили девушки.

— Есть, — ответила Леля.

Девушки подбежали к кучке, нагнулись и, как дети, захлопали в ладоши.

Одна, ткнув пальцем в окурок, крикнула:

— Вот мой волопромышленник.

Другая, ткнув пальцем в спичку, крикнула:

— Вот мой офицер!

Надя ничего не понимала, что вокруг нее делается, и обратилась за объяснением к Бете.

— Что они делают?

— Гадают, будут ли сегодня пассажиры (гости), — объяснила Бетя. — А пассажиры будут, и много их будет. Видишь, сколько окурков?

Леля, окруженная товарками, загнала кучку окурков на середину зала под люстру. Потом, разогнув спину, она с вытянутым над головой веником три раза обошла вокруг люстры, легла на пол на живот и заболтала ногами.

Последний «номер» не входил в программу гадания. Гадание, после того как она обошла люстру, окончилось.

Леля баловалась теперь, как школьник.

— Вставай! Будет лежать на полу, — сказала ей строго экономка.

В это время в зал пролез какой-то мастодонт, укутанный в меховую шубу и накрытый высокой меховой шапкой, из-под которой выглядывала курьезная физиономия — маленькие насмешливые глаза, толстый и синий, как картофель, нос, длинные висячие усы и большие красные щеки.

— Ура! Пассажир! — крикнула Леля.

— Подрядчик! — крикнула Тоска.

— Нет, волопромышленник! — крикнула Анто-

нина Ивановна.

Пассажира приняли с почетом. Шестеро девиц взяли его на абордаж и, награждая его всякими ласкательными эпитетами — «мамочка» и «душенька», — потащили его в угол.

Вслед за ним пролез в зал другой пассажир — в куцем пальто.

«Рррржжзззззз!» — донеслось вдруг с улицы. К дому подкатили трое дрожек.

Сима-Огонь подскочила к окну, распахнула ставни и выглянула на улицу.

Внизу, в светлом пятне от фонаря, высаживались молодые люди.

— Гости, гости! — весело вскричала Сима.

— Ура! — заорали девушки.

— А правда, я — молодчина? — приставала к каждой Леля.

Она была очень довольна своим гаданием и сияла.

— Правда, молодчина, — отвечали ей.

Около дюжины девиц бросились вон из зала и устремились к площадке, на которой, попирая ногами мат с надписью: «Добро пожаловать, милые гости», с улыбкой и распростертыми объятиями поджидала гостей Антонина Ивановна.

Молодые люди, расплатившись с извозчиками,

один за другим входили в прихожую со смехом, толкали друг друга, непечатно ругались и сдавали швейцару пальто и галоши.

— Вун-Чхи! — пронзительно крикнула Матросский Свисток.

— Вун-Чхи! — радостно повторили за нею остальные девушки.

Вун-Чхи был отставной студент, красивый парень лет 27, шатен с веселыми карими глазами. Он считался постоянным посетителем этого дома и был любим всеми девушками за свою доброту, благородство, жизнерадостность и многочисленные таланты.

Каждый приход его считался в этом доме большим событием. Как всегда, он предводительствовал небольшой компанией и был навеселе.

Волоча за собой, как шлейф, полузимнюю старую шинель с выцветшим бобром, он медленно подымался наверх по лестнице, убранной растениями, презрительно оглядывал следовавшую за ним компанию и, сильно жестикулируя, трагически декламировал знаменитое гейневское стихотворение:

Фраки, черные чулочки, —
Все так чинно, миловидно,
Комплименты и остроты,

Только сердца здесь не видно.
Ухожу от вас я в горы, —
Там в природе ближе люди,
Ветерок там тихо веет,
Легче дышится там груди.

Компания из семи юношей ржала и скалила зубы, и один из них по имени Онаний — совсем зелененький юноша, настоящий «карандаш» — ронял сквозь ржанье:

— Вот подлец! Вот фрукт! Чудак! Что выдумал? «Фраки, черные чулочки, горы!» Это он на горы лезет! Ой, умру!

Пока Вун-Чхи взбирался на горы, девушки столпились у верхней ступеньки и осыпали его приветствиями и вопросами:

— Здорово!

— Папиросы принес?

— А петефуры?

— Где брошь? Давай брошь! Ты обещал!

А когда он взобрался на площадку, они тесно окружили его и задергали.

— Тьфу, тьфу! — стал Вун-Чхи комично отплевываться и отмахиваться руками. — Да расточатся врази. Брысь!

Но девушки не «расточались». Они, напротив, теснее обступили его и сильнее задергали.

Антонина Ивановна поспешила к нему на выручку.

— Да что вы уцепились за него, как черт за сухую вербу?! — прошипела она.

— Дайте-ка им по шеям, — сказала хозяйка.

Девушки перестали дергать его и отскочили.

— Здорово, коллега! — проговорила весело Антонина Ивановна и протянула Вун-Чхи руку.

— Какой я тебе коллега? — ответил со смехом Вун-Чхи, пожав ей руку, и спросил начальническим тоном: — Все благополучно?

— Так точно! — отрапортовала Антонина Ивановна.

— А! Мадам! — воскликнул Вун-Чхи. — Как всегда — на славном посту! Я и не заметил вас! Пардон!

Хозяйка ласково улыбнулась и беззвучно засмеялась. И она также благоволила к нему.

— Позвольте пожать вашу честную мозолистую руку, — сказал Вун-Чхи и сильно потряс ее руку.

— Ой! — скривилась хозяйка. — Чтоб вы 200 000 рублей выиграли. Вы мне чуть руку не вывихнули.

Девушки и товарищи Вун-Чхи, глядя на эту сценку, так и покатывались.

Вид у Вун-Чхи был теперь самый бесшабаш-

ный. Шинель, скатившись с одного плеча, почти вся лежала на полу. Фуражка сбилась на затылок, и из-под нее на лицо вывалился, закрыв полноса, длинный локон. Увидав среди девушек 10-пудовую Ксюру — Пожарную Бочку, Вун-Чхи, как прежде, трагически продекламировал:

— Офелия! О, нимфа! Ступай в монастырь!

Вун-Чхи затем достал из бокового кармана шинели бутылку с бенедиктином, откупорил ее, поднял ее, как бокал, и важно обратился к окружающим:

— Леди и джентльмены! В наш, извините за выражение, XX век, в наш подлый, гнусный и возмутительный век, век пара и электричества, единственное утешение для порядочного человека — бе-не-дик-тин. А посему предлагаю тост за бенедиктинских монахов. Ура! — И он поднес бутылку ко рту.

Но девушки не дали ему пить. После первого глотка они схватили его под руки и повели в зал. За ним последовала с прежним ржанием его компания.

«Топор» при появлении его привстал, поклонился и вопросительно посмотрел на него. Он ждал приказаний. Вун-Чхи подумал немного и сказал по-еврейски (несмотря на то, что он был

православный, он недурно говорил по-еврейски):

— Шпиль мир а штикеле (играй мне кусочек) «Скажи, фарвус (зачем) тебя я встретил?».

«Топор» заиграл.

Вун-Чхи лениво подобрал шинель, ниже сдвинул на затылок фуражку и повернулся на каблуках.

Против него сидела Надежда Николаевна, как всегда, строгая и мечтательная. Вун-Чхи упал перед нею на колени и протянул руки со словами:

— О, моя греза прекрасная, принцесса моя светлоокая…

— Книгу принес? — оборвала она его.

— Как же, строгая женщина!

Он встал, порылся в шинели и протянул ей томик Гейне.

— Мерси.

— Не угодно ли тебе божественного нектара? — спросил он и указал на бутылку с бенедиктином.

Она отрицательно качнула головой.

— Спасибо. Мне больше останется. — И он стал тянуть божественный нектар.

Надежда Николаевна посмотрела на него долгим грустным взглядом, покачала головой и процедила:

— Неисправимый.

Вун-Чхи услышал это и сказал ей серьезно:

— Знаешь, когда я исправлюсь?

— Когда?

— Когда я найду человека.

— А я не человек? — весело спросила Саша-Шансонетка, неожиданно обхватив его сзади руками.

Вун-Чхи посмотрел на нее и решительно ответил:

— Нет.

— Кто же я?

— Падшая.

Саша медленно отняла руки и нахмурилась. Она сильно обиделась и хотела пойти прочь, но Вун-Чхи схватил ее за руку, обнял за талию и ласково проговорил:

— Извини. Ведь я, ей-Богу, пошутил. Ты не падшая. *У* тебя доброе, честное сердце. Падшие — те, «ликующие, праздно болтающие, обагряющие руки в крови».

Саша просветлела. Вун-Чхи оставил ее и обратился к Бете:

— Здравствуй, Мириам — прелестнейший цветок с Иосафатовой долины! Скажи мне, ветка Палестины, как твое здоровье? Как грудь?

Бетя вспыхнула, заерзала на стуле и поспешно

ответила:

— Благодарю вас. Мне немного легче. Я теперь меньше кровью кашляю.

— Смотри, берегись!

В зал вошла Роза-цыганка. Вун-Чхи обратился теперь к ней:

— Цыгане шумною толпой по Бессарабии кочуют! Привет тебе, дочь свободного табора, не знающего оков и прочих прелестей культуры!

Роза сверкнула зубами и лукаво спросила:

— А кольцо есть?

— Есть, есть! — запел Вун-Чхи.

Он порылся в жилете и достал золотое кольцо.

— Спасибо.

Роза взяла кольцо и стала любоваться им. Глаза ее блестели от радости.

— Кто он? — спросила Надя Бетю, восторженно глядевшую на Вун-Чхи и следившую за каждым его движением. Вун-Чхи заинтересовал ее.

Бетя, не отводя от него глаз, ответила:

— Что тебе сказать? Таких людей, как он, мало. Он такой славный, добрый, честный. Он последнюю рубаху отдаст тебе. А как он играет, поет и читает стихотворения! У него есть одно стихотворение «Подожди немного, отдохнешь и ты». Когда он читает его, я всегда плачу. Одно несчастье,

что он пьет. Ах, как он много пьет. Пропадает, бедный.

Когда Роза перестала любоваться кольцом, Вун-Чхи спросил ее:

— Нравится?

— Очень.

— Так поцелуй меня. Только знаешь как? По-цыгански. Как в таборах.

Роза усмехнулась, подошла к нему, откинула со звоном косы, крепко обвила своими смуглыми и тонкими руками его шею и, как булавка, впилась губами в его губы.

— Фу! — воскликнул он, когда она оторвалась от него. — Чуть не задушила. Смотри, как губы покусала.

Из нижней губы Вун-Чхи сочилась кровь.

— Пусти, я вытру.

Роза вытащила из-за пояса платочек и отерла ему губы. Вун-Чхи махнул рукой и крикнул «топору»:

— Вальс, божественный Макс!

«Топор» заиграл вальс. Вун-Чхи подошел к Тоске, сделал реверанс и сказал:

— Прелестная донна! Не откажите в одном туре.

— Не откажу.

Он повел плечами, и шинель скатилась на пол.

Экономка подобрала шинель, и Вун-Чхи пошел танцевать с Тоской. Смешно и забавно танцевал Вун-Чхи. Он вскидывал чуть не до потолка ноги, подпрыгивал и строил смешные рожи.

Его примеру последовали и товарищи. Каждый пригласил даму и дурачился.

Рррржжззз!

К дому опять подкатили дрожки, и в зал ввалилась новая партия молодых людей. Это были типичные одесские молодые люди, так называемые «сегодняшние», то есть современные, прелестно одетые, в очаровательных пиджаках и узких подогнутых брюках — для того, чтобы целиком были видны лакированные и желтые ботиночки на круглых пуговицах и тесемках, с высокими двойными воротниками, делающими их похожими на страусов, в пестрых декадентских галстуках и модных котелках с вентиляциями. В руке у каждого было по тросточке, усыпанной монограммами, и у каждого от кармана жилета к карману брюк была протянута металлическая цепочка.

Молодые люди эти занимали разное общественное положение. Одни служили по банкирским

конторам, другие — по экспортным, третьи состояли представителями «арапских» фирм и занимались распространением таких полезных предметов, как далматский порошок, подтяжки и геморроидальные свечи, третьи по 10 лет готовились и никак не могли приготовиться на аттестат зрелости, хотя, впрочем, они давно уже были зрелы, четвертые брали уроки пения и мечтали о славе Джиральдони, Саммарко и Баттистини, пятые ничего не делали, «околачивали груши», как выражаются одесситы, и жили на полном иждивении у своих нежных родителей — купцов 1-й гильдии, биржевых маклеров, лапетутников и домовладельцев.

Все, без исключения, описанные молодые люди некогда учились в прогимназиях, реальном и коммерческом училищах, стоили массу денег своим родным, жаждавшим на склоне лет увидать своих чад врачами, юристами или инженерами, но, вследствие сильного влечения к наслаждениям, оных заведений они не окончили, что, впрочем, весьма и весьма мало огорчало их, ибо они считали себя людьми вполне культурными, интеллигентными и компетентными во всех житейских вопросах. Жизнь их текла, как по маслу, как ручеек по шелковой травке.

Вставали они кто в 10, а кто в 12 часов. К этому времени к самому носу их красная огрубелая рука служанки подносила свежую сорочку, блестящие, как зеркало, ботинки и очищенные от бульварной и грандотелевской пыли брюки. Та же рука затем, крепко держа фарфоровый кувшин, наливала им на руки и маленькие, величиной в пятачок плеши холодную воду.

По окончании туалета они отправлялись к Либману, Робина или Фанкони, требовали газеты, «Будильник», «Figaro», «Flügende Blätter», кофе со сливками или мазагран, который с чисто парижским шиком тянули через соломинку.

После кофе они сходились у Кузнецова или Гоппенфельда и обедали вместе. А вечером — у Корони, в Гранд-отеле или в «Северной».

Весь интерес их, таким образом, вращался исключительно вокруг кондитерских, женщин, новомодных галстуков, тросточек и вырезных жилетов.

— О! Страусы, пистолеты приехали! — встретила их Матросский Свисток.

— Абрикосы!

— Суперинтенданты!

— Форс-мажоры! — разразились по их адресу прочие девушки.

Девушки не очень жаловали их за их аристократизм.

Не успели молодые люди рассесться, как в зал ввалилась новая партия молодых людей, таких же очаровательных, как первые, и в таких же ботинках на пуговицах и тесемках и с такими же двойными воротниками. Обе партии были прекрасно знакомы, и с обеих сторон послышались радостные возгласы:

— Аркаша!
— Нюмчик!
— Эстергази!
— Шарль-Леру!
— Уксус!
— Вот нападение!
— Коммэстато, синьоре?!
— Сколько лет, сколько зим?! Как здоровье?
— Грациа, синьоре! Вери вель гуд!
— Кишмиш, душа моя!
— Оуес! Ольрайт! Си, синьоре!
— Откуда, Эстергази?
— Из городского театра.
— Хороший Скарпиа был Саммарко?
— Что-нибудь. Шик.
— Лучше Джиральдони?
— В тысячу раз.

— Много ты понимаешь.

— О! Ты много понимаешь. Таких драматических баритонов, как Саммарко, надо поискать.

— Ну, будет. Ты сам был в театре?

— Нет. С двумя девицами.

— Они — какие?

— Из хорошего семейного дома.

— Хорошенькие?

— Так себе. Ломаются.

— Ты провожал их домой?

— Да.

— А далеко они живут?

— На Московской.

— Дурак. А ты, Борис, откуда?

— От невесты.

— А она знает, куда ты от нее пошел?

Спросивший засмеялся.

— Дурак я, чтобы сказать ей, — ответил Борис. Молодые люди громко захохотали.

— А вы, господа, откуда?

— Мы — от тети, с именин.

— Весело было?

— Кой черт. В цензуру, фанты, шарады и летучую почту с гимназистками играли.

— Фанты были с поцелуями?

— Без. Ломались девочки.

— Скажите, пожалуйста, невинные. Вот поэтому я не люблю иметь дела с такими девицами. Хорошо, по крайней мере, накормили вас?

— Не очень. А вот летучая почта, которую я получил. Послушай, что мне написала Адель: «У вас такое скромное и наивное лицо. Вы — мой идеал, и я вас люблю». Ха, ха, ха! Да!.. Там были два студента и говорили о Горьком. Понимаешь? Они возвеличивали его до небес. А я здорово обрезал их. Мишка, помнишь, как я обрезал их? Я сказал им: «Что — Горький? Горький купил себе дачу за 300 000 рублей».

— А Толстой разве лучше? Тоже говорит, что надо быть совестным человеком, а сам не подарит никому своего имения.

Надежда Николаевна подняла на молодых людей свои умные глаза и слушала их с презрительной улыбкой.

— Э! Они все такие, эти писатели, — махнул рукой Эстергази. — Теперь только деньги, деньги и деньги… Правда, Мишка?

— А вы где были?

— В парке.

— Весело там? Я давно уже там не был. Три дня.

— Не очень. Безголосые шансонетки. Хороша

одна Ленская. Как она удивительно поет:

Ах, бррранд-майоррр!
Когда в ударрре,
Ты на пожаррре,
Качай, качай!

— Ты знаешь, что я тебе скажу? Если бы Ленская бросила шантан и взялась за обработку голоса, она могла бы поступить в оперу.

— Ленька! Склизко-потерянный! Был у Марья-шеса?[18]

— Был.

— А с какой девочкой ты вчера в 2 часа ночи ехал на извозчике по Преображенской улице?

— А что? Хорошенькая?

— Невредная. Кто она?

— Работает на фабрике. Я вчера познакомился с нею на народном балу, и мы поехали ужинать. Приезжай в будущее воскресенье на бал. Там очень весело.

— Обязательно приеду. Скажи, твоя сестра еще в Одессе?

— Нет. Уехала.

— Куда?

---

[18] Примечания: 18
Популярный среди молодежи врач.

— В Женеву.

— Чего? Дома ей плохо, что ли?

— Спроси ее. Говорит, что хочет быть самостоятельной.

— А знаешь, сколько мы положили вчера за ужин у Корони? 43 р. 75 к.

— Господа! Как вам нравится история с принцессой Луизой?

— Скандал на всю Европу.

— А Жирон этот — хороший арап. Он, должно быть, одессит.

Молодые люди опять захохотали.

— А я познакомился вчера с одной дамой. Вот — богатая (эффектная) женщина.

— Кто она?

— Жена одного моряка.

— И что же?

— Мы вчера с нею обедали в отдельном кабинете.

— Ой, Уксус! Смотри! Узнает муж, печенки отобьет тебе. Моряки не любят шутить.

— А это что? — и Уксус, плюгавенький юноша с грудью, в которой в настоящем году не хватало пяти сантиметров, необходимых для солдата, показал кулак величиной с фигу: «Сунься, дескать, этот муж».

— Ты отчаянный, — заметил ему Миша.

— Сеня, у меня к тебе просьба.

— Какая, Миша?

Миша вынул бумажник, порылся среди 25-рублевок и сказал:

— Возьми два билета на благотворительный вечер. Этот вечер устраивает моя кузина.

— Отскочь!

К молодым людям подошла Сима Огонь.

— Это что за билеты? — спросила она.

— На благотворительный вечер. Может быть, возьмешь? Они недорогие, по 8 рублей.

Сима выпятила нижнюю губу и ответила:

— Плевать хотела я на ваш благотворительный вечер.

И она повернулась к ним спиной.

— А вы слышали новость? Гриша женился.

— Неужели? Царствие ему небесное!

— Мир праху его!

— Хорошее хоть приданое он взял?

— Ничего. 15 000 рублей и большой гардероб.

— А девица ничего?

— Как все одесские девицы. Хорошо танцует, говорит немножко по-французски и играет «шандатон» (Chant d'automne) Мендельсона.

— Ха, ха, ха! А когда твоя мамаша уезжает в

Франценсбад?

— Не знаю. Хотел бы, чтобы поскорее. Можно будет водить к себе девочек.

Уксус, желая порисоваться, вынул из портфеля сотенную и стал махать ею перед носом Чешки.

Та с жадностью стала ловить обеими руками сотенную.

— Эй! — крикнула Уксусу Матросский Свисток.

— Что? — спросил он.

— Никогда не следует показывать денег голодному человеку.

— Почему?

— Потому что он глотку прокусить может.

— Глупости!

Молодые люди до того увлеклись разговорами, что забыли про девиц.

Хозяйке это не понравилось, и она послала к ним Антонину Ивановну.

— Молодые люди, — обратилась к ним экономка. — Нечего греть стулья. Будет разговоры разговаривать. Занимайте барышень. Видите, как они скучают. Велите что-нибудь играть.

Молодые люди вздрогнули, вспыхнули до корней волос, прервали разговоры, разбрелись по залу и присоседились к дамам.

В зал, между тем, не переставали входить все

новые и новые «пассажиры».

В час ночи ввалилась компания из 15 человек в сюртуках и белых галстуках. В центре их находился маленький человечек в синих очках и с большой плешью. Он был также в сюртуке и белом галстуке.

В правой руке у него покоились какие-то папки.

Мужчина сей был юбиляр. Он верой и правдой прослужил 25 лет в качестве бухгалтера у своего патрона, не нажив ничего, кроме катара желудка и кишок.

Товарищи его по конторе и приказчики чествовали его сегодня с 8 ч. вечера у Шаевского в кабинете, а потом притащили сюда. В одной папке у него лежал длинный адрес, написанный выспренним языком и восхвалявший его — бухгалтера — доброту, и группа всех служащих, художественно исполненная фотографом.

Антонина Ивановна моментально забрала в свои руки всю эту компанию и сплавила ее в кабинет, где для нее уготовано было пиво и прочие спиртные напитки. Ушел в кабинет вместе с цыганкой Розой, Тоской и Бетей Вун-Чхи.

В зале сделалось скучно.

— Давай танцевать болгарскую, — предложил

Борис Мише.

— Есть такой разговор.

Борис поднялся с своего места, подкатил высоко новые брюки, чтобы не испортить их, и подмигнул глазом Максу. Макс грянул болгарскую.

Борис озарился светлой улыбкой, положил руку на плечо Мише, тот положил ему на плечо руку, и они артистически стали откалывать болгарскую.

— Борис! — крикнул Уксус. — Я сейчас позову твою невесту. Пусть посмотрит на тебя.

— Плевать, — ответил Борис.

В самый разгар болгарской в зал ввалилась компания блестящих студентов с хлыстами в руках, обтянутых белыми перчатками. От них сильно несло фиксатуаром, ангруазом и духами «Тебя, мой друг Коко, я долго не забуду». Они приехали с артиллерийского бала и слегка пошатывались от принятой вовнутрь немалой дозы крюшонов и донского.

Приход их наделал сенсацию. Девицы сорвались со своих мест, как перепела, вспугнутые выстрелом, и завизжали:

— Павочка! Жожка! Вольдемар! Аполлон!

Блестящая молодежь расплылась в улыбку и раскрыла объятия.

— Зина! Божество мое! Свет очей моих! Святыня

моя! Шура-Эфиоп!

— Противный, гадкий! Где пропадал?

— Занятия все. Уроки, лекции.

— Рассказывай. У Макаревича[19] пропадал.

Новые кавалеры внесли большое оживление в общество. Они острили, сыпали афоризмами, латинскими фразами, анекдотами.

Один громко напевал:

Эльза
Мила донельзя!
Альма
Нежна, как пальма!
У Матрешки
Ножки-крошки…

А пассажиры все прибывали.

Явились два заграничных студента — один из Дюссельдорфа, другой из другого какого-то «дорфа», в маленьких зелененьких шапочках на макушках и с радужными лентами поверх глаженых рубах. В зубах у них торчали коротенькие трубочки, и они переговаривались по-немецки:

— Iacob! Nicht war? Hier ist hübscher als hunten? (Яков! Не правда ли, здесь красивее, чем внизу?)

---

[19] Примечания: 19
Ресторан.

— Das ist kein wunder. Hunten kostet ein halbes Rubel, und hier-hoben ein ganzes (Ничего удивительного. Внизу стоит полрубля, а здесь, наверху — целый).

В зале сделалось опять тесно.

Молодые люди танцевали до упаду.

Но как не похожи были их танцы на те, которые они танцуют на балах, в обществе с барышнями.

Там они танцуют скромно, галантно и поражают всех своей воспитанностью. А здесь!

Господи! Чего они не выделывали?!

Они стреляли ногами, как из пистолета, становились на руки, ходили колесом, внезапно растягивались на полу пластом и неожиданно поднимали дам за талью выше головы.

Особенно отличался заграничный студент из Дюссельдорфа и какой-то художник.

Надя, оставленная Бетей, сидела в стороне и с испугом наблюдала эту удивительную картину.

Она боялась, чтобы кто-нибудь из молодежи не сломал себе ноги или шеи.

По правую руку Нади сидел юноша 21 года с маслеными глазками и держал на коленях Ксюру — Пожарную Бочку. Ксюра строила ему сцену ревности:

— Ах ты, обезьяна. Целый месяц не приходил.

Раньше, бывало, каждый вечер приходишь. Скажи, с кем сошелся, не то усы выщипаю тебе.

После второй кадрели студенты затянули:

Коперник целый век трудился,
Чтоб доказать Земли вращенье.
Дурак, зачем он не напился,
Тогда бы не было сомненья!

Заслышав пение, хозяйка вошла в зал и села у дверей. На лице у нее играла улыбка. Она слушала с удовольствием.

Но когда гости стали безобразничать, она перестала улыбаться и пронзительно крикнула:

— Потише, господа скубенты!

Замечание ее было встречено оглушительным хохотом и криком «браво!».

— Туш, туш! — предложил Уксус.

Макс сыграл туш.

Хозяйка, обезоруженная симпатичной молодежью, махнула рукой и ушла. Она хотя и показывала вид, что недовольна молодежью, но в душе симпатизировала ей. Да и как не симпатизировать ей? Ведь она была обязана этой молодежи всем своим благосостоянием.

Она хотела удалиться, но один студент подлетел к ней, схватил ее под руку и сказал:

— Хозяйка. Не откажите. Идемте танцевать падеспань.

— Что вы, с ума сошли? — ответила не без кокетства хозяйка. — Со старухой-то?

— Да какая вы старуха?! Вы 40 очков дадите любой девице.

— Ах вы, шутник.

Хозяйка ссылалась на порок сердца, на сахарную болезнь, но никакие отговорки не помогли. Энергичный юноша при помощи товарищей втащил ее на середину зала, и ей пришлось покориться.

Она подобрала юбки и поплыла. Проплыв ползала, она остановилась и заявила, что больше не может. И ее оставили, предварительно устроив ей шумную овацию.

XIX. Энглишмэны

— Польку!

— Польку-мазурку!..

— Канкан!

— Болгарскую! — заказывали молодые люди.

Макс изнемогал. Пот ручьями лился с него, рубаха на нем промокла насквозь, и пальцы, стучавшие по клавишам, вспухли и покраснели. Не менее его вспотели и молодые люди.

Прелестные высокие двойные воротники их скомкались, завяли и печально повисли.

Уксус, заказав канкан, скинул с себя для удобства пиджак, розовый воротник, манжеты и расстегнул белоснежный пикейный жилет.

Освободившись от всего лишнего и сделавшись легче пуха гагачьего, он принялся канканировать.

Вся аудитория пришла в бешеный восторг. Со всех сторон горохом посыпались аплодисменты.

Студент из Дюссельдорфа, похожий на голландского петуха в своей цветной шапочке и красной ленте, вскочил на стул и заорал:

— Hoch!

А товарищ его — тоже студент — затянул ни к

селу ни к городу «Wacht am Rhein».

Уксус канканировал, как настоящий парижский гамен, как гризетка с Монмартра. Недаром 10 лет подряд он считался «почетным» посетителем Гранд-отеля.

— А ну-ка, как Рибо! — крикнули ему товарищи.

Уксус мотнул своей узкой головой и стал копировать клоуна Рибо. Он высунул, поелику возможно, язык, вывернул ладони рук и завертел в уровень со своим носом левой ногой так быстро, как мельницей.

— Ха-ха-ха! — залилась аудитория.

— Ай да Уксус!

— Молодчина, стоишь два чина! — похвалила его Антонина Ивановна.

— Эй, ты, гидальго! Perpetuum mobile! — крикнул Уксусу какой-то подвыпивший субъект. — Болеро танцуешь?!

— Си-синьоре, — ответил Уксус.

— Карррамбо! Жарь болеро! Я хочу посмотреть!

Уксус перестал вертеть ногой, проглотил язык, остановился, отер рукавом со лба пот и крикнул Максу:

— Играй болеро!

— А какая музыка? — спросил Макс.

— «Муж, уезжая, красотке-жене так говорил, уезжая…» Знаете?

— А!

Макс зажарил. Уксус посмотрел вокруг себя и, увидав Симу, сказал ей:

— Дай твою шаль.

— На что тебе? — спросила она.

— Дай, говорят тебе, на минуточку.

И, не дожидаясь ответа, он сорвал с ее плеч шаль.

— Сумасшедший, — сказала Сима.

Уксус расправил шаль, взял ее обеими руками за концы, взмахнул ею и закружился, как испанка.

Молодых людей опять охватил восторг.

— Hoch! — вторично заорал студент из Дюссельдорфа.

А субъект, попросивший Уксуса протанцевать болеро, крикнул:

— Браво, perpetuum mobile!

Какой-то франт защелкал пальцами, подражая кастаньетам. Но Уксус ничего не слышал и не замечал.

Музыка, рожденная в стране навах, иезуитов, черных, как ночь, глаз и горячей, как лава, крови,

захватила его с ног до головы, опьянила. Он вообразил себя гитаной, делал головокружительные антраша, подпрыгивал, как резиновый мячик, внезапно опускался то на одно колено, то на другое и, всячески драпируясь в шаль, откидывался всем корпусом назад и страстно, с замиранием в голосе и с огнем в глазах, восклицал:

— Огей!

— Огей! — вторили ему прекрасные молодые люди.

По окончании болеро Уксус схватил Симу Огонь в охапку, взвалил ее на плечи и побежал с нею по залу.

Сима завизжала и вцепилась руками в его усы и голову.

— Энглишмэны (англичане) пришли! — раздался вдруг возглас Тоски.

— Энглишмэны, энглишмэны! — подхватили остальные девушки и устремились к дверям.

Здесь стояла живописная группа — трое рослых, красивых и прилично одетых джентльменов в котелках и перчатках, с каменными бесстрастными лицами, двое низкорослых, обезьяноподобных индусов в белых коротких штанах, коротеньких желтых курточках и маленьких малиновых шапочках, франтоватый негр в смокинге, белой

манишке и с электрической булавкой в красном галстуке, и толстый норвежец — типичный морской волк в тяжелых сапожищах, грубых толстых штанах, грубой матросской куртке, вязаной круглой шапке, с крупной, оливкового цвета, физиономией, обросшей седой клочковатой бородой, и с сильным запахом машинного масла и морской воды. Группа эта составляла часть экипажа индийского брига «Victoria», явившегося в Одессу за зерном и стоящего у брекватера.

Один был офицер, другой — механик, третий — штурман, индусы же — фаерманы (кочегары); негр — кок (повар), а норвежец — рулевой.

Джентльмены попыхивали коротенькими трубками, индусы тоненькими зелеными сигаретками, скатанными из ароматных листьев, а остальные жевали сладкий прессованный табак.

— Мистер, мистер! Гуд евенинг (добрый вечер)! — щебетали девицы.

Они были чрезвычайно рады англичанам, так как, по их мнению, только англичане умеют хорошо обращаться с женщинами, не позволяют себе обижать их, щедро платят — не жалкими грошами, а стерлингами, и вообще ведут себя, как истые джентльмены.

— Evening, — отвечали, слегка улыбаясь в усы,

энглишмэны и позволяли девицам дергать их за фалды пиджаков и рукава.

Уксус, как только услышал, что пришли энглишмэны, бросил Симу и подскочил к ним. Владея прекрасно английским языком, он моментально перезнакомился с ними, узнал, с какого они парохода, когда пришли, сколько будут стоять, когда уйдут, сколько тонн поднимает пароход, осведомился также, были ли они уже в Гранд-отеле и парке, видали ли они уже «наш» городской театр, Пассаж и биржу и какого они мнения о русской политике на Востоке. Девицы между тем не переставали липнуть к ним.

— Give me some tobacco (дай мне немного табаку), — просили они.

Англичане утвердительно кивали головами, методично залезали руками в карманы пиджаков и доставали пригоршни душистого, широко нарезанного табаку.

Девицы не оставили своим вниманием и индусов, негра и норвежца. Матросский Свисток, Сима-Огонь, Ксюра Пожарная Бочка и Раиса расхватали их, как горячие пончики, и потащили в разные углы.

— Come along (идем)! — пищала Ксюра, волоча за руку одного индуса.

В зал вошла хозяйка и спросила Антонину Ивановну, указав глазами на англичан:

— Чего же они стоят?

— Сейчас, — ответила Антонина Ивановна и крикнула: — Фаня, Циля, Маня! Идите сюда!

Девицы поспешили на зов.

— Намарьяжьте их на пиво (накройте), скиньте-ка им баши (сорвите с них куш), — сказала Антонина Ивановна.

— Попросите их в кабинет, — вставила хозяйка и обратилась к англичанам на убийственном английском языке — Вонт ю бир (хотите пива)?

— Yes! All right! — ответили, не моргнув глазом, англичане и спросили Уксуса: — Кто эта почтенная леди?

Уксус объяснил.

Фаня, Циля и Маня вцепились в англичан и потащили их в кабинет. А кочегары, повар и рулевой остались в зале.

Девицы забавлялись ими.

Матросский Свисток, заложив ногу за ногу, сидела на коленях у норвежца и выдергивала из его бороды седые волосы.

Выдернув седой волос, она подносила его к глазам норвежца: «Смотри, дескать, какая я умница. Я вырываю у тебя седые волосы для того, чтобы

ты помолодел».

Норвежец беззвучно смеялся, широко раскрывая рот и показывая волчьи зубы, одобрительно качал головой и похлопывал ее по узкому плечу своим широким, узловатым и мозолистым лапищем.

Ксюра в это время, при громком хохоте всей публики, танцевала вальс со своим поджарым индусом, который рядом с нею — Пожарной Бочкой — удивительно напоминал маисовое зерно…

Становилось поздно. Надя, покинутая Бетей, сидела одна-одиношенька у камина и страдала. Ее женское самолюбие было сильно задето. Никто из молодых людей не обращал на нее внимания.

«Неужели, — думала она, — я такая уже некрасивая и неинтересная?»

Она вспомнила совет экономки: «Закинуть глаза на потолок и задуматься».

И она последовала этому совету.

Совет оказался практичным.

Не прошло и пяти минут, как клюнуло. На нее обратил внимание студент из Дюссельдорфа. Он подошел к ней, остановился перед нею на далеком расстоянии, растопырил ноги и, пыхтя своей крученой трубкой, спросил:

— О чем, барышня, думаете?

— Я думаю, — ответила живо Надя, припоминая слова экономки, — за свой родной Киев и Днепр-реку.

— Вот как?! А кого вы там оставили?

— Папасу и мамасу.

— Сказите позалуста, мамасу и папасу, — передразнил он. — А в какой гимназии вы учились?

— У киевской.

— А доказать равенство двух треугольников умеете?

Надя выпучила глаза.

— А что такое логарифмы? А экстемпоралиа? А имя существительное?

Надя еще больше выпучила глаза.

Она ровно ничего не понимала.

— Ай да гимназистка!

Студент громко расхохотался и повернулся на каблуках.

Наде сделалось больно. Обидный и насмешливый тон студента сильно оскорбил ее, и на глаза ее навернулись слезы. В это время в зал вошла Бетя.

Бетя теперь была какая-то особенная. Глаза у нее задорно блестели, лицо улыбалось блаженной улыбкой, и во всей фигуре ее проглядывала какая-то удаль. Объяснялось это тем, что она

немножко хватила водки. Она только что оставила кабинет, где Вун-Чхи поил девушек.

Бетя отыскала глазами Надю, подсела к ней и спросила:

— Что с тобой?

Надя всхлипнула и рассказала, как ее обидел студент.

— Э! Плюнь ты на него, дурака, — сказала Бетя.

Надя перестала всхлипывать. Бетя закурила папиросу и проговорила с прежней блаженной улыбкой:

— А как хорошо было в кабинете. Если бы ты видела, что Вун-Чхи выделывал! Какие смешные анекдоты рассказывал… Ах! — вскрикнула вдруг Бетя, выронила папиросу и крепко прижалась к Наде.

Она моментально изменилась. Глаза ее потухли, лицо помертвело, вся ее фигура съежилась и забилась, как в лихорадке.

— Боже!.. Что с тобой? — спросила испуганно Надя.

— Пожар… посмотри, — прошептала с трудом Бетя. Она глядела перед собой большими глазами в одну точку.

Надя посмотрела и увидала, как в углу, возле рояля, горит пачка газет. Кто-то уронил в пачку

окурок.

Пламя яркими короткими змейками выползало со всех сторон, и одна уже жадно лизала пузатую ножку рояля. Но его моментально заметили.

Молодые люди веселой стаей налетели на пламя и с гиком, свистом и громким хохотом затоптали его своими желтыми и лакированными ботинками, туфлями и сандалиями.

Когда пламя было потушено и на его месте осталась кучка обгорелой бумаги, Бетя ожила. Глаза ее опять заблестели, она протяжно вздохнула, подняла упавшую на паркет папиросу и прошептала:

— Слава Богу.

— И чего ты, дурочка, испугалась? — спросила Надя.

— Ах, не спрашивай, — ответила Бетя и опять протяжно вздохнула. — Я так боюсь огня, так боюсь… Когда я слышу «пожар», я умираю. А знаешь почему? Когда я работала на табачной фабрике, однажды в нашем папиросном отделении произошел пожар. Я так испугалась, что осталась на месте. А все выбежали. Понимаешь? Все горит кругом меня. Папиросная бумага, ящики, столы, табак, бандероли, коробки. А я сижу. Дым в грудь мне лезет. Я хочу кричать и не могу. Хочу плакать

— не могу. Хочу бежать — тоже не могу. Спасибо одному пожарному. Если бы он меня не вынес на руках, я сгорела бы. Я после этого целый месяц была расстроена, не могла смотреть на лампу и пугалась, когда слышала звон. Я все думала, что пожарные едут… Ах, какая я нервная и больная. Я скоро, вот увидишь, умру.

Бетя проговорила последние слова упавшим голосом и закрыла лицо руками.

По частому вздрагиванию ее рук, груди и плеч Надя догадалась, что она плачет. Надя молча обхватила ее за талию и прильнула к ее щеке губами.

XX. Разбитая ваза

Было три часа ночи.

Молодые люда то приливали в зал, то отливали.

Потанцевав, подурачившись, поругавшись с девицами, они отправлялись в соседние такие же дома, где убивали остаток ночи.

Негр-кок (повар), засунув руки в карманы и поблескивая электрической булавкой и ослепительно-белыми зубами, откалывал посреди зала, к большому удовольствию публики, под музыку Макса, особый танец, похожий на «jig». Он топтался на одном месте и выбивал оглушительную дробь подметками и каблуками.

— А я не желаю! — пронесся вдруг по залу женский сердитый голос с истерической ноткой.

Надя быстро повернула голову в ту сторону, откуда послышался голос, и увидала Тоску. Она сидела, крепко обхватив левую ногу, заложенную за правую, на кушетке и сверкающими глазами, глазами разъяренной тигрицы глядела в упор на крайне несимпатичного субъекта.

Субъект стоял перед нею, выгнувшись всем корпусом, тормошил ее за плечо и несколько раз

переспрашивал:

— Так ты не желаешь?

— Да! Не желаю, и баста! — отвечала Тоска.

В одну минуту вокруг обоих образовалась кучка из девушек и молодых людей.

— Что там? — спросила Надя.

Бетя оторвала от красных и припухших глаз руки, посмотрела на кучку и, не говоря ни слова, направилась к ней. Надя последовала за нею.

Субъект говорил теперь повышенным и раздраженным голосом:

— Как ты не желаешь? Ты обязана!

— Врешь! — воскликнула Тоска. — Не обязана! Если мне гость не нравится, я могу отказать ему!

— Нравится или не нравится, мне — безразлично. Повторяю, что ты — обязана.

— Да?! Вот как?!

Тоска истерически захохотала, быстро и незаметно соорудила из пальцев фигу и ткнула ее назойливо липнувшему к ней субъекту в нос.

— На вот, ешь!

Девушки, враждебно настроенные против субъекта, громко захохотали.

— Молодчина, Тоска! — крикнула Саша.

Субъект оглянулся вокруг, побагровел, скрипнул зубами и, прежде чем Тоска успела опом-

ниться, влепил ей звонкую пощечину.

Все вокруг зашумели.

Получив пощечину, Тоска вскочила с кушетки и не то с любопытством, не то с недоумением посмотрела на субъекта. На правой щеке ее кровавым заревом горело пятно — отпечаток пощечины.

Тоска тяжело дышала. Но вот лицо ее потемнело, и уголки губ задергались.

— А, ты бить?!

С этими словами она вцепилась левой рукой в шевелюру субъекта, рванула к себе его голову и стала раскачивать ее из стороны в сторону, а правой, свободной, наносить ему по лицу гулкие, частые удары.

Субъект упал на колени. В глазах у Тоски засветилось торжество.

— Будешь еще раз бить? — спрашивала она, задыхаясь от злобы и презрения к барахтающемуся у ее ног субъекту.

— Пусти, пусти, говорят тебе, — тихо мычал субъект, ловя зубами и руками ее руки.

В его мычании слышалась просьба о пощаде и еле сдерживаемое бешенство.

После некоторой борьбы ему удалось больно впиться зубами в ее руку. Тоска вскрикнула и

сильно ударила его ногой в лицо.

Он выпустил руку.

Девушки теснее сгруппировались вокруг Тоски и подбадривали ее возгласами:

— Так его!

— По морде!

— Чего он себе думает?!

Ксюра оглянулась — нет ли вблизи хозяйки — и своей толстой, пухлой, как перина, дланью прибавила. Она так треснула субъекта по затылку, что тот звонко поцеловал лбом паркет.

— Ай да Ксюра! — похвалила Саша.

Тоска утомилась наконец и в последний раз ударила субъекта. Субъект упал навзничь.

Надя содрогнулась.

Субъект был ужасен. Лицо его было глубоко расцарапано, и по носу, по подбородку текла кровь, глаза подбиты, вздуты, как пузыри, волосы смочены потом, растрепаны и в одном месте вырваны с корнем. Расцарапаны до крови были также и руки.

Воротник вместе с галстуком висели.

Субъект растерянно, как помешанный, глядел на всех, растопырив вспухшие от царапин руки, щурил опухшие глаза и подергивал носом. Он собирался заплакать. В таком ужасном виде была

и Тоска.

Он растрепал ее прическу, покусал и поцарапал руку и порвал на плече лиф.

— Что случилось?! Что тут такое?! — с криком влетела в зал экономка.

Вслед за нею влетела перепуганная насмерть хозяйка.

Увидав их, субъект тихо заплакал, указал на свое лицо, руки, оторванные воротник и галстук и пролепетал:

— Посмотрите, что со мною сделали.

Он стоял перед хозяйкой и экономкой жалкий, униженный, оплеванный. Хозяйка схватилась за голову и спросила:

— Кто это?

— Я! — смело заявила Тоска и бросила вызывающий взгляд на хозяйку.

— Я и не знал, — забормотал субъект, давясь слезами, — что порядочному человеку нельзя являться к вам, что его здесь обижают… Я приглашал ее, а она отказывается… Что же это за порядки у вас?..

— Да! Отказываюсь! — зашипела на него Тоска. — Отказываюсь, потому что рожа твоя мне не нравится.

Саша, негодовавшая больше всех на субъекта,

воскликнула:

— Ты — порядочный?! А зачем ты бьешь? Как ты смеешь бить?! Ах, ты!..

— По голове его стулом, — предложила Сима.

— Ша! Ша! Чтоб на вас хороба напала, чтоб вы 30 лет в шпитале (больнице) лежали! — закричала на девушек хозяйка и обратилась к Тоске. — Зачем ты, морда поганая, шкандалы мне каждые две минуты устраиваешь?! Ты хочешь разогнать гостей?

— Я скандалов не устраиваю, — ответила Тоска.

— Как не устраиваешь, чтоб тебе глаза вылезли на лоб. Разве так честная и порядочная девушка поступает?! Если тебя приглашают, так ты должна идти.

— А если он мне не нравится?

— Что значит — не нравится? Тебе могут все не нравиться. За что же ты, холера, деньги получаешь? Ты должна идти!..

— Ну, это уж оставьте! Дудки! — перебил ее громкий и всем знакомый голос.

Все обернулись и увидали Вун-Чхи. Он слышал часть разговора хозяйки и Тоски.

Девушки посмотрели на него с нескрываемым удовольствием.

Вун-Чхи обвел всех влажными пьяными глазами, облизнул свои полные красные губы и повторил, заикаясь:

— Это уж, ах, оставьте, прелестная и целомудренная синьорина! Дудки-с! Раз он, — Вун-Чхи ткнул пальцем в субъекта, — ей не нравится, то она вправе отказать ему. Изволите ли понимать? Она вправе отказать ему, и никакие силы ада не могут принудить ее.

Хозяйка сделала зверское лицо и грубо отрезала:

— Это не ваше дело!

— А я говорю, прелестная, целомудренная синьорина, что это мое дело, — повысил Вун-Чхи голос и сильно напер на букву «р». — Она не ррра-быня. Изволите ли меня понимать, прррелестная синьорина? Не рра-бы-ня!

Хозяйка круто повернулась к нему спиной и повелительно сказала Тоске, указав на субъекта:

— Попроси у него извинения и ступай с ним.

— Ты не будешь достойна имени женщины, если пойдешь с ним, — сказал спокойно Вун-Чхи.

— Конечно, не пойду, — ответила Тоска.

В разговор вмешались почти все девушки.

— Не смей ходить! — крикнула Леля.

— Ишь, абрикос какой выискался! Умник!

— Драться пришел!

— Крепостную нашел!

— Позвать бы Николая, чтобы он ему еще бабок надавал.

Когда они перестали шуметь, Вун-Чхи подошел близко к субъекту и заговорил с нескрываемым презрением:

— Послушайте. Как вам не стыдно? Ведь это подло, низко. Вы пользуетесь тем, что она беззащитна, что ей некуда ходить, и насилуете ее. А по какому праву вы ударили ее? Надо быть подлецом, чтобы ударить женщину. *У* меня есть приятель-грузин. Он рассказывал, что в Грузии даже собака не смеет залаять на женщину. Понимаете? Потому что женщина — слабое, хрупкое, страдающее существо. Это — дитя, к которому надо относиться бережно. Если бы я не боялся замарать рук, — голос Вун-Чхи задрожал от негодования, — я вызвал бы вас на дуэль…

Атакуемый со всех сторон и боясь еще большего взрыва негодования, субъект подобрал с паркета свой котелок, портсигар, брелок, отскочивший от часов, и, крадучись, выбрался из зала. Девушки провожали его свистом и хохотом.

Хозяйка развела руками, подняла глаза к небу, словно ища там справедливости, плюнула и

выругалась:

— Чтоб на вас всех черна болесть напала!

* * *

Светало.

Публика в зале все редела и редела. Из «гостей» осталось всего три человека — какой-то мелкий приказчик, пьяный артельщик и франт с подбитым глазом.

Девушки, утомленные беспрерывными танцами, бесконечными разговорами, перебранками, сплетнями, девятичасовым пребыванием в накуренном и душном зале, сонные, вялые, поблекшие, как сорванные цветы, полусидели на стульях, громко зевали и хлопали отяжелевшими воспаленными глазами. Хлопал глазами и клевал носом за роялем несчастный Макс.

Шалунья Матросский Свисток, потеряв всякое уважение к таперу, щекотала его за ухом длинной скрученной бумажкой и, когда он вздрагивал и испуганно озирался, быстро приседала и пряталась за его спиной.

— Фу, как долго тянется ночь, — проговорила, широко и громко зевая, Саша.

— Ну! Чего заснули?! — крикнула Антонина Ивановна. — На том свете спать много будете.

Не видите, гости пришли?! Вставайте! — И она пропустила в зал двух молодых людей в пальто с поднятыми воротниками, в котелках, надвинутых на красные от мороза носы, и с палочками, заложенными в карманы. Девушки встрепенулись и оправили платья и прически.

— Садитесь, молодые люди, — сказала вкрадчиво-ласково Антонина Ивановна.

Но молодые люди не садились. Они сегодня делали «ревизию» всем домам и сюда зашли после седьмого дома. Зашли просто полюбопытствовать.

Будь здесь много народу и весело, они посидели бы «на шармака, на счет графа Шереметьева». А так не стоило.

Им следовало удалиться. Но им неловко было сделать это. Они видели, как экономка поставила на ноги всех девушек и Макс перестал клевать носом и приготовился играть.

Как бы удалиться поприличнее? Один помялся-помялся и дипломатично и громко, так, чтобы все слышали, сказал товарищу:

— Я тебе говорил, Альфред, что их здесь нет, а ты не хотел верить.

— Чем же я виноват? — ответил Альфред. — Вот подлецы.

— Идем в таком случае.

И они повернулись к дверям.

— Тпру! Молодые люди! Кавалеры! Амурчики! Куда же вы? Постойте! Посмотрите, какая славная девушка, вон та гимназисточка, — она указала на Надю. — Не девушка, а золото. С медалью гимназию окончила.

— Нет-нет, нам надо идти, мы только на минуточку зашли. В следующий раз, — отбивались молодые люди и быстрыми шагами направились к лестнице.

— Голодающие! — крикнула им вслед Матросский Свисток. — Шляются и спать не дают!

— Пистолеты гнусные!

— Идолы!

Девушки опять завяли, захлопали глазами и зазевали.

Матросский Свисток, у которой был обширный репертуар молдаванских и слободских песенок, сонно затянула «Призывника»:

Я сегодня ваш товарищ,
А назавтра — я солдат,
Ой, подождите, тай не берите,
У меня есть меньшой брат.
Ой, подождите, не стрижите,
Пускай милая придет,

Пускай мой родной чубчик
Слезами горькими обольет.

А Сима тоскливо тянула:

В голове моей мо-озги-и
Ссы-ы-хаются…

Из боковых дверей показалась хозяйка. Она собиралась на покой.

Увидав, что горят все газовые рожки, она крикнула не своим голосом:

— Антонина Ивановна!

— Что? — спросила та.

— Зачем горят четыре рожка?! Закрутите три! Чего вы мою кровь горите?!

— Го-го-го! — загоготали девушки.

В зале воцарился полумрак.

Убедившись, что рожки закручены, хозяйка плотнее запахнулась в свою желтую персидскую шаль и пошла спать.

Вун-Чхи, беседовавший с Тоской, встал и, шатаясь, подошел к Надежде Николаевне. Она сидела в углу, под лампой с красным абажуром, безучастная ко всему окружающему и происходящему вокруг и жадно глотала страницу за страницей принесенного ей Вун-Чхи томика Гейне «Путешествие на Гарц».

На щеках и на лбу у нее горели яркие пятна, и на красиво очерченных губах блуждала детская милая улыбка.

— Ты что читаешь? — спросил Вун-Чхи.

Надежда Николаевна подняла медленно свои красивые мечтательные глаза, обдала его кротким сиянием и ответила:

— О принцессе Ильзе. Ах, какой восторг, какая прелесть! — И лицо ее сплошь залилось краской.

— Да, это лучшее место в «Путешествии на Гарц», — проговорил Вун-Чхи.

Он потом медленно опустился на пол, полулег у ее ног и положил свою курчавую красивую голову на ее колени. Надежда Николаевна стала перебирать своими длинными изящными пальцами его локоны и выражать свой восторг по поводу прочитанного:

— Прелесть, прелесть! Читаешь и радуешься. Точно пьешь дорогое вино, точно купаешься в хрустальной воде, в прекрасном мраморном бассейне. Какая поэзия! Сколько целомудренной и божественной красоты. Как я люблю Гейне! Послушай!

Она взяла томик и процитировала вполголоса с большим чувством:

«Невозможно описать, с какой веселостью,

наивностью и прелестью Ильза пробегает по прихотливым скалам, встречающимся ей на пути; вода то дико шумит, пенясь струями, то изливается чистой дугой из каменных трещин, как из полных кувшинов, а внизу снова перепрыгивает по мелким камешкам, точно резвая девушка. Воистину справедливое сказание, что Ильза — цветущая принцесса, со смехом сбегающая с гор. Как блестит на солнце ее белая, пенящаяся одежда! Как развеваются по ветру серебряные ленты на ее груди! Как сверкают и горят ее алмазы! Пташки, реющие в воздухе, выражают свой восторг, цветочки на берегу нежно шепчут: “Возьми нас с собой, возьми с собой, милая сестрица!” Душа замирает от чистого блаженства, и я слышу сладкозвучный, как флейта, голос…»

— Постой, — проговорил как бы во сне Вун-Чхи. — Я буду продолжать.

И он продекламировал:

Живу я в Ильзенштейне,
Принцесса Ильза — я,
Приди ко мне, в мой замок,
И буду я твоя.
Твои омою кудри
Я светлою волной,
Забудешь все печали,

Друг бледный и больной…

Надежда Николаевна сидела, как завороженная.

Когда он кончил, она тяжело вздохнула и прошептала:

— Белая одежда, серебряные ленты на груди, алмазы, пташки, цветочки, лучистые звуки, сладкозвучная флейта, замок, грезы старой сказки… Боже! Как все это не похоже на всю эту грязь. — Она обвела глазами зал. — Ах, какая здесь грязь, какая грязь! — И она закрыла лицо руками.

— Да, друг мой, — сонно и устало протянул Вун-Чхи, — здесь ужасная грязь. Да не только здесь. Куда ни повернешься. Мы по уши сидим в грязи, захлебываемся, тонем.

— Ужасно, ужасно, — шептала Надежда Николаевна, не отнимая рук от лица. — Знать, что есть такая красота, такая дивная, здоровая красота, и барахтаться в грязи… Видишь? — она показала ему пятиалтынный.

— Что это? — спросил Вун-Чхи.

Надежда Николаевна горько усмехнулась и ответила:

— Я получила его сегодня «на чай» от одного осла. Он пришел, надругался и швырнул мне этот пятиалтынный, как швыряют лакею… А знаешь,

как называет каждую девушку хозяйка? У нее теперь новая для них кличка. *«Живая копейка на двух ногах».* Нравится тебе? — и она опять горько усмехнулась.

— Весьма.

Девушкам, знавшим о тесной дружбе Вун-Чхи и Надежды Николаевны, сделалось завидно.

— Эй, генеральская дочь! — крикнула ей Матросский Свисток. — Чего нюни распустила?

— Образованная! — прохрипела Ксюра.

Но Надежда Николаевна не слышала их. Великий поэт умчал ее на своих крыльях далеко от этого ужасного зала к Ильзенской долине, и, припав жадными губами к Ильзе, к сверкающей, лучезарной и резвой Ильзе, она тянула ее холодную влагу и погружала в нее свои руки.

Сидевший до сих пор смирно на коленях у Симы Огонь артельщик соскочил вдруг и заорал, крепко бия себя в грудь кулаком:

— Я — индивидуум!

— Ну так что, если ты индивидуум?! — спросил его сонно Вун-Чхи.

— Как что? — заорал громче артельщик. — Стало быть, я — личность! А личность имеет право на существование!

— Совершенно верно! — согласился Вун-Чхи. —

Ну и существуй себе на здоровье! Черт с тобой!

Артельщик умолк и тупо посмотрел на него осовелыми глазами.

Сима взяла его под руку и потащила в коридор.

— Постой! — стал упираться артельщик. — Я хочу сказать что-то ему!.. Я не индивидуум, а червячок!.. Червячок и больше ничего… Так сказать, прах!..

— Свинья! — напутствовал его Вун-Чхи и слегка задремал.

— Как бы выбраться отсюда? — спросила вдруг Надежда Николаевна Вун-Чхи.

Вун-Чхи открыл глаза и ответил заплетающимся языком:

— Очень просто… Поищи себе квартиру… Мало квартир в городе?

— Не то… Ты не понял меня. Ты спишь?

— Нет, не сплю. — Вун-Чхи поднял на нее свои отяжелевшие от нескольких бессонных ночей глаза. — А что?

— Я спрашиваю, как выбраться из этой грязи? Как очиститься?

— Трудненько…

— Ах, если бы можно было умереть и возродиться, — проговорила с отчаянием в голосе Надежда Николаевна, — и, возродившись, зажить новой,

хорошей жизнью, среди природы, подальше от людей.

— Если бы можно, — повторил, как эхо, Вун-Чхи, и лицо его сделалось безнадежно грустным.

Надежда Николаевна посмотрела на него продолжительным, любовным, материнским взглядом, стремительно вдруг обхватила его голову и проговорила, задыхаясь:

— Знаешь? Мне себя не так жаль, как тебя.

— Чего? — усмехнулся он.

— У тебя такое нежное, доброе сердце, ты так глубоко чувствуешь, ты так понимаешь чужое горе, чужие страдания. И ты даровитый. Из тебя получился бы прекрасный поэт, музыкант, художник, артист, все, что угодно. Зачем ты пьешь? Брось! Ну, прошу тебя. Родной, славный!

Голос у нее прервался, и она покрыла поцелуями его голову и руки.

— Что ты?.. Не надо… Оставь…

Он легонько высвободил свою голову из ее рук и печально заговорил:

— Бросить пить… Да разве я могу? Я — алкоголик. Ал-ко-голик.

Он переменил позу и повернул к ней лицо. Лицо его было искажено мукой.

— Знаешь? — продолжал он после длинной па-

узы. — Я всосал алкоголь с молоком матери. Да-да. Она отравила меня. Но я не виню ее. Отец — вот кто виноват. Вот кто мой убийца. Как я ненавидел его! Он разбил жизнь матери, мою, всей семьи. Она была такая юная, нежная, красивая, когда он женился на ней. У меня есть ее фотографическая карточка. А он — жестокий, настоящий тип Достоевского, деспот, мучитель, при этом мелочный, грубый. Одним словом, полнейшее ничтожество. Он женился на ней не по любви, а исключительно для того, чтобы в доме была хозяйка или, вернее, экономка, которая следила бы, чтобы служанки не разворовывали чай, сахар и крупу и чтобы иметь постоянную самку. Он тиранил ее за каждую израсходованную копейку, бранил, попрекал, не пускал на улицу, ревновал к каждому, сделал из нее затворницу. Она с горя запила. Мне потом рассказывали близкие, как она тайно от всех посылала за водкой, запиралась у себя в спальне и напивалась до бесчувствия. Я родился после того как она запила. Кормилиц в доме у нас в заводе не было. «Всякая порядочная мать должна сама кормить своего ребенка», — говорил отец. И она кормила меня и брата Костю… Ты моего брата не знаешь? Он сейчас в карантине. Ах, какой он страшный! Оборванный! Знаешь,

что он делает? Он ворует вместе с профессиональными кодыками (ворами). Вчера я проезжал по Приморской улице, а он стоит у пакгауза, жалкий такой, промерзший весь, борода и усы у него в сосульках, и уголь с проезжающих телег стреляет (тащит). У него белая горячка, и два раза он сидел в желтом доме… Я тоже там буду…

Вун-Чхи перевел дыхание, остановился и отер со лба холодный пот.

— Что ты говоришь? Господь с тобою, — проговорила дрогнувшим голосом Надежда Николаевна и опять прильнула к его курчавой голове губами.

У нее закипали слезы. Отдохнув, Вун-Чхи продолжал:

— Я страшно любил свою мать. Когда мне было десять лет, она рассказывала мне такие хорошие сказки. О добрых феях, о снегурочке, о Нал и Дамаянти. И вот рассказывает она, рассказывает так спокойно, гладко, голубые глаза ее горят, как лампадки, и вдруг она разрыдается, как дитя. Я рыдаю тоже… Тяжело было жить ей. Отец все соки высасывал у нее. Он постоянно говорил, что по закону муж властелин и господин, а жена — слуга покорная мужа. Когда я вырос, я воевал с ним. Я держал всегда сторону матери. И однажды, когда

он, как волк, грыз ее и она заливалась слезами, я схватил со стола нож и крикнул истерически: «Если не перестанете, зарежу вас». Он побледнел и оставил ее. Но он не исправился. Он остался прежним тираном. Не раз я хотел вырвать ее из его рук. Я говорил ей: «Мама! бежим! оставь его». Но она отрицательно качала головой и отвечала: «Мне все равно жить осталось недолго. Я не хочу бежать. Что скажут добрые люди?» «Добрые» люди! Она боялась добрых людей. Каких добрых людей? Кумушек, сплетниц… Я был большим фантазером тогда и мечтал увести ее далеко-далеко на какой-нибудь цветущий, но безлюдный остров, уложить ее на душистую траву, окружить цветами, целовать ее руки и ее красивые светлые волосы и стеречь. Я хотел, чтобы она под синим небом, в тиши, среди цветов отдохнула душой и телом, моя дорогая, славная мама. Но мечты остались мечтами. Она скоро сгорела… Когда она умерла, я без шапки бежал за город, в степь, упал на землю и рыдал, пока меня не подобрал железнодорожный сторож… Тебе теперь понятно, почему я отношусь так хорошо ко всем женщинам? Потому, что в каждой я вижу страдалицу. Она страдает со дня основания мира… Отец перед смертью зовет меня и говорит:

«Слушай. Брат, Костя, с пути сбился. Мать умерла. Ты единый наследник мой. Береги деньгу. Деньги — сила. Не транжирь, не процыганивай их. Недешево достались они мне. По копеечке копил. Во всем отказывал себе». — «Слышу», — отвечаю и думаю: «Погоди. Закрой только глаза». — Как закрыл их, я давай сорить. Потому что руки жгли подлые деньги. Я хорошо помню, как он в мороз вдову с ребенком на улицу из дома выжил и она у подъезда плакала и народ собирала… Тетя в прошлом году говорит: — Пора над тобой опеку учинить. Больно ты раскутился. — Тю-тю-тю, тетенька! — отвечаю. — Какая тут опека, когда вчера портсигар в ломбард отнес… А знаешь, какую штуку я удрал вчера с нею?! Вот смех был! — В глазах у Вун-Чхи заблестел веселый огонек. — Ну, тетенька, — говорю, — поздравьте меня. Жениться собираюсь. У меня невеста есть. Надоело холостяком слоняться. — Вот умница. Люблю тебя, — обрадовалась тетя. — Завтра привезу вам невесту. — Хорошо, на обед. Уж я постараюсь. — На другой день беру Машу, шансонетку знакомую, растолковал ей, как держать себя, и привожу. Тетя — на седьмом небе. — Слава Богу, — говорит она Маше, — наш сорвиголова угомонится. Вы его в ежовых рукавицах, пожа-

луйста, держите. — Будьте покойны. — Пообедали мы великолепно и ушли. А на следующий день я являюсь и говорю: «Тетенька, а знаете, с кем я вчера у вас был? С хористкой. Она в шантане непристойные песни поет и колесом в штанах ходит». Тетя — в обморок.

Коснувшись тети, Вун-Чхи забыл о матери, брате, отце и хохотал теперь от души. Надежда Николаевна ничуть не удивилась такому быстрому переходу от слез к смеху. Она знала давно его характер.

Она тоже невольно захохотала, ударила его рукой по лбу и пожурила:

— Ах ты, шалун.

Вун-Чхи перестал хохотать, сделался серьезным и спросил:

— Не напоминаю ли я тебе Вертера? Посмотри, какая у меня поза. Я у твоих ног. Вертер, умирающий у ног Шарлотты. Хочешь, я пущу себе пулю в лоб?

Вун-Чхи порылся в боковом кармане и достал тяжелый новенький револьвер.

— Господь с тобой! — воскликнула Надежда Николаевна и схватила его за руку.

Вун-Чхи засмеялся неприятным смехом, спрятал револьвер и сказал:

— Будет еще время…

— Может быть, прочитаешь что-нибудь? — спросила Надежда Николаевна.

Вопрос ее был услышан Сашей, и та громко сказала ему:

— В самом деле, прочитай что-нибудь.

— Да-да, прочитай, пожалуйста! — послышалось со всех сторон.

Сонливое выражение исчезло с лиц девушек. Они повеселели и гурьбой подошли к Вун-Чхи. Вун-Чхи посмотрел на всех, усмехнулся, медленно и не говоря ни слова поднялся, расстегнул пиджак, пошел на середину зала и оперся о спинку стула обеими руками.

— Ты что читать будешь? — спросила Надежда Николаевна.

— Читай «Портной», — сказала Матросский Свисток. — Очень чувствительное стихотворение.

— «Христос молился, пот кровавый…» прочитай, — предложила Тоска.

— Или «У парадного подъезда», — вставила Саша.

— Я прочитаю «О лесных пожарах» Пушкарева, — сказал Вун-Чхи после некоторого раздумья. — Внимание.

Все притихли.

Вун-Чхи сильнее оперся о спинку стула, оглянул всех и начал:

Все горит… Все леса охватило огнем,
Вся окрестность закутана дымом,
Тускло солнце, в чаду нестерпимом –
Ходит красным, кровавым пятном.
И всю ночь, точно знаменья ясные,
Точно вестники близкой борьбы,
Разливаются зарева красные,
Ходят красного дыма столбы…

Девушки притаили дыхание.

Торжественно и могуче звучал приятный баритон Вун-Чхи в полупустом и полутемном зале. И с каждой минутой голос его рос и делался торжественнее.

Он читал с большим подъемом и жаром. В его чтении чувствовался недюжинный артист.

Картина пожара в его передаче получалась чрезвычайно сильная и яркая. Бетя слушала его с испугом и, как голубка, прижималась к Наде.

Ветер свищет — пожар раздувает,
Солнце жарит, ветрам помогает…

Когда он кончил, не раздалось ни одного хлоп-

ка. Все сидели молча, подавленные величием грандиозной картины пожара.

Вун-Чхи прочитал потом «Портной», «У парадного подъезда» и, по настоянию Надежды Николаевны, «Будду» Мережковского:

По горам, среди ущелий темных,
Где гудел осенний ураган,
Шла толпа бродяг бездомных
К водам Ганга из далеких стран…

— Теперь «Вазу», — крикнула Тоска.

— «Вазу», «Вазу»!

Девушки снова окружили его. Вун-Чхи покачал головой и ответил устало:

— Не могу. Голова болит. Мне нехорошо… Сердце замирает…

— Ну, вот еще! — и девушки насильно потащили его к роялю.

Вун-Чхи пожал плечами, хлопнул по руке клевавшего носом Макса и сказал ему по-еврейски:

— Гей авек (уходи).

Макс встал и вышел в коридор. Вун-Чхи сел и взял несколько аккордов.

Девушки облепили рояль, как мухи. Ближе всех к Вун-Чхи поместилась Бетя.

Вун-Чхи улыбнулся ей печальной улыбкой и

стал тихо, но внятно читать под музыку:

Ту вазу, где цветок ты сберегала нежный,
Ударом веера толкнула ты небрежно,
И трещина, едва заметная, на ней
Осталась… Но с тех пор прошло немного дней,
Небрежность детская твоя забыта,
А вазе уж грозит нежданная беда!
Увял ее цветок; ушла ее вода…
Не тронь ее: *она разбита…*

Бетя усиленно заморгала глазами.

— Что, жаль тебе вазу? — спросил ее Вун-Чхи.

— Да, — прошептала она.

— Все мы такие, как эта ваза, — проговорил он как бы про себя, взял быстро несколько аккордов и стал мелодекламировать другое стихотворение:

Я боюсь рассказать, как тебя я люблю…

Вун-Чхи потом от мелодекламации перешел к бурному цыганскому романсу:

Если измена тебя поразила,
Если тоскуешь ты, плача, любя,
Если в борьбе истощается сила,
Если обида терзает тебя,
Сердце ли рвется,

Ноет ли грудь!
Пей, пока пьется,
Все позабудь!

Девушки повеселели и подхватили хором:

— Пей, пока пьется!..

— Господин Вун-Чхи, — обратилась к нему робко Бетя.

— Что тебе?

— Сыграйте, я вас прошу, «Подожди немного, отдохнешь и ты». То, что вы в прошлый раз играли.

— И чего ты, свиное ухо, пристаешь со своим «Подожди немного?» — набросилась на нее Матросский Свисток. — Играй лучше «Поцелуем дай забвенье».

Бетя состроила жалкое лицо и опять попросила:

— Прошу вас, вы это так хорошо играете. Это так мне нравится.

— Ладно.

Вун-Чхи засмеялся и прошелся пальцами по клавишам.

Бетя придвинулась еще ближе и вцепилась руками в крышку рояля. Грудь ее тяжело дышала.

Вун-Чхи стал читать:

Горные вершины
Спят во тьме ночной,
Тихие долины
Полны свежей мглой.
Не пылит дорога,
Не шумят листы,
Подожди немного –
Отдохнешь и ты.

Едва Вун-Чхи выговорил последнюю фразу, как раздалось звонкое всхлипывание. Это всхлипывала, уронив голову на рояль, Бетя.

Всхлипывания ее скоро перешли в глухое рыдание.

— Вот дурная! Ишь, плакса! — стали подтрунивать девушки.

Вун-Чхи поднялся и стал утешать ее:

— Ну, что ты?.. Уведите ее в комнату.

Надя вместе с Симой увели ее в коридор, и оттуда все еще доносилось ее рыдание.

— Эх! — вырвалось у Вун-Чхи. — Жисть!

Он сильно ударил по клавишам и запел новый романс.

Он пел без конца. Но посреди одного вяльцевского романса он вдруг опустил руки, схватился за грудь, побледнел, как полотно, посмотрел на всех мутными глазами и грохнулся о пол.

Девушки испуганно вскрикнули и бросились к нему, но тотчас же отскочили. Вун-Чхи корчился, разбрасывал ногами и руками, извивался змеей, скрипел зубами и стонал:

— Ой, мама!.. Сердце замирает!..

Этот стон проникал в души девушек и леденил кровь.

С Вун-Чхи приключилась падучая. Он давно уже страдал ею.

— Черную шаль сюда! Черную шаль! — крикнули несколько голосов.

Принесли черную широкую шаль и набросили на него.

Вун-Чхи перестал разбрасывать ногами, корчиться и стонать. Он словно умер…

Жутко было в зале.

Слабо горел и подмигивал бледный рожок. В окно, через полуоткрытые ставни, лился холодный свет утра.

Девушки молча, с измученными и мрачными лицами, стояли вокруг тела, накрытого черной шалью и от времени до времени вздрагивающего.

У Тоски ползла по щеке крупная слеза.

Надежда Николаевна шептала:

— Разбитая ваза…

XXI. Семейный очаг

10 минут длился припадок Вун-Чхи.

Когда припадок прошел, Надежда Николаевна, Сима Огонь и Макс отнесли Вун-Чхи — бледного, как полотно, потного, с перекошенным лицом, с полуоткрытыми, безжизненными глазами — в комнату хозяйки и уложили его на кровать.

В зале сделалось совсем жутко.

Потрясенные и подавленные случившимся, девушки молчали и старались не глядеть друг на дружку. Каждая думала тяжелую думу.

Надя также была потрясена и, забившись в темный угол, пыталась разобраться в путанице новых впечатлений.

Какая масса впечатлений! Первое знакомство с залом, Макс, цыганка Роза, Надежда Николаевна, гадание на окурках, хозяйка, Мишка Уксус, болеро, негр, индусы, пожар, Вун-Чхи, мелодекламация, припадок, — все это путалось, мешалось, и от всего у нее сильно трещала голова.

Надя разбиралась-разбиралась в этой путанице и подумала, что хорошо бы теперь вырваться из этого ужасного, душного, накуренного зала на улицу, на свежий воздух и прильнуть пылающим

лбом к холодному чугунному фонарю.

— Надя! Что ты, оглохла?! — услышала она вдруг.

Она вскинула голову и увидала, как Антонина Ивановна, стоя в дверях, делает ей какие-то знаки глазами и руками. Надя вскочила, поправила платье и поспешила к ней.

— Что?

— Тебя хочет видеть один господин, — сказала Антонина Ивановна.

Сердце у Нади сильно забилось. Она догадалась, в чем дело, и спросила:

— Меня?.. Какой?

— А этот.

Антонина Ивановна отодвинулась, и Надя увидала желавшего видеть ее господина. Он стоял, прислонившись правым плечом к стене, и глядел на нее через большие синие очки.

Надя чуть-чуть улыбнулась.

Господин с трудом стоял на ногах и ежесекундно подносил руку к смятому и испачканному алебастром котелку, который сползал на нос. Он был невысокого роста, одет в черное шевиотовое пальто с сильно обтрепанными рукавами, потертым бархатным воротником и большими пуговицами. Лицо у него было желтое, припух-

шее и поросшее светлой бородой.

— Вот вам барышня, — обратилась к нему Антонина Ивановна.

Он что-то промычал и неловко приподнял котелок, открыв при этом копну немытых спутанных светлых волос. Антонина Ивановна потом обратилась к Наде:

— Покажи им свою комнату.

— Пожалуйста, — сказала Надя и быстрыми шагами пошла вперед.

Он отлепился от стенки и, шатаясь, последовал за нею.

Войдя в комнату, Надя потушила лампочку, так как в окно глядело утро. Пока Надя возилась с лампочкой, он стоял посреди комнаты, засунув глубоко в карманы пальто руки, и молча следил за каждым ее движением.

Бледный свет утра лежал на его лице. Оно было сонное, усталое, страдальческое и внушало сильную жалость.

— Вы позволите присесть? — спросил вдруг он тихо.

— Конечно, — живо ответила Надя и подсунула ему стул.

— Мерси.

Он кивнул головой, рухнул на стул, как под-

стреленный, свесил голову на бок и моментально захрапел.

Надя растерялась. Она совсем не ожидала такого реприманда.

«Вот тебе и пассажир», — подумала она.

Ей в одно и то же время было и смешно, и жалко. Она видела, что человек сильно устал, охотно разрешила бы ему поспать, но она не имела на это права. И она стала тормошить его:

— Господин!.. А, господин!

Господин перестал храпеть, медленно поднял голову и забормотал:

— А?.. Что?.. Пардон… Я, кажется, уснул…

Он затем выровнялся на стуле, снял котелок, провел рукой по потному лбу, протяжно и сонно вздохнул и прибавил разбитым голосом:

— Ах… Я так устал, так устал… Я всю ночь не спал… шлялся…

Наде сделалось неловко. Она вспыхнула и проговорила:

— Ничего… Я не будила бы вас, только хозяйка…

— Да-да-да! — Он опять протяжно вздохнул и надел котелок. — Что же прикажете, сударыня, делать, ежели у человека пристанища нет? Странное дело! — Он засмеялся горьким смехом. — У

каждой твари есть пристанище. А у меня вот нет. А вы видели когда-нибудь человека без пристанища? Это самый несчастнейший человек в мире. Помилуйте! На дворе — дождь, слякоть, снег, а он слоняется по кабакам и трактирам. Принужден слоняться.

Он умолк, уставился своими синими очками в Надю, точно ожидая ее сочувствия, и опустил голову.

Надя заинтересовалась. Она присела на кровать и стала ждать, что будет дальше. Господин скоро опять поднял голову, уставился в нее очками и проговорил:

— А знаете, с каких пор я лишился пристанища?

— С каких? — спросила Надя.

— С тех пор, как женился.

Надя сделала удивленное лицо.

— Вы удивляетесь? Не так ли? — спросил он. — Гм! Когда вам расскажу все подробно, вы перестанете удивляться. Уверяю вас. А хочется, безумно хочется кому-нибудь рассказать, открыть душу. Знаете? Я пишу теперь роман «Человек без пристанища». Я уже написал две с половиной главы. Эпиграфом к моему роману будет: «В женитьбе обретешь свою смерть». Это

мой собственный эпиграф. В этом романе я рисую прелести семейного очага. Семейный очаг! Подумаешь: какие великие слова. Ха-ха-ха! — Он вновь засмеялся горьким смехом.

Усталость и сонливость покинули его, и он заговорил горячо и шибко:

— Что может быть пошлее этих слов?! 20 лет я мечтал о семейном очаге. Вы знаете, как мне представлялся этот семейный очаг? Бухточкой. А в бухточке стоит кораблик с порванными снастями и помятым боком. Он пришел из дальнего плавания. За брекватером шумит море, встает на дыбы, как лошадь, ревет, мечет. А в бухточке — божья благодать. Вода гладкая-гладкая. Хоть мак сей. И кораблику покойно. Он чуть покачивается, нежится. Вот как мне представлялся семейный очаг. И я стремился к нему, как этот самый кораблик. Я, надо вам знать, тоже в своем роде кораблик с порванными снастями и помятым бортом. Тоже, выражаясь «высоким штилем», плаваю по «бурному житейскому морю» и меня тоже швыряет и треплет. Хотелось, как и кораблику, отдохнуть за брекватером в бухточке. Понимаете? И денно и нощно бредил этой бухточкой. Сплю и обязательно вижу маленькую уютную комнатку с голубыми или розовыми

обоями, посреди — стол, на столе — самовар, пфу, пфу! пыхтит, как паровоз, и пускает под самый потолок пары, вокруг него — фарфоровые чашки — премии к чаю Дементьева или «Кяхты», а около чашек ходит этакий ангел в просторном капоте с широкими рукавами и добрыми-добрыми глазами и хлопочет. А я сижу без сюртука, лицо у меня такое радостное, и творю молитву: «Благодарю Тебя, о творец Милосердный, за то, что ты не оставил меня своими милостями и ниспослал мне такого ангела…» Вот какие соблазнительные картинки вижу во сне. Да не только во сне, но и — наяву.

Господин сделал маленькую паузу, резким движением руки взъерошил волосы и заговорил еще шибче и горячее:

— Нечего, конечно, говорить, что в нынешнее время обзавестись семейным очагом не Бог весть как трудно. Почему — спросите? А по той простой причине, что «вакантных» девиц — пропасть, как комаров в болоте, а дураков — мало. Раз-два и обчелся. Кому, скажите на милость, охота в петлю лезть, жениться? Скажи только, что имеешь желание, и мигом тебе сто девиц предоставят. Выбирай любую. Хочешь с деньгами? Получай с деньгами. С музыкой? Получай с музыкой. С

гардеробом? Получай с гардеробом. Но я желал не такой. Мне плевать на твои деньги, музыку и гардеробы. Какое мне дело до того — имеешь ли 20 юбок или одну юбку, три дюжины носовых платков или полдюжины? Мне человека подавай. Че-ло-ве-ка. С добрым сердцем, совестливого, скромного, любящего, чувствующего и понимающего тебя. Главное, чтобы понимал тебя и твою душу. Что вы на это, сударыня, скажете? А?!

Рассказчик замолчал и уставился на Надю.

— Конечно… Это верно, — согласилась она.

— Вот видите. Но такую найдешь не скоро. Искать надо, как перл морской. Верите, совсем измучился в поисках. Наконец судьба улыбнулась мне. Повстречался с одной. Миленькая такая, хорошенькая. Говорит — глазки опускает. Скромная, застенчивая. Настоящая детка, ангел. Два-три раза поговорил с нею и воспылал. Да как! Не ем, не сплю, все о ней думаю. Осунулся. Обзавелся любовным письмовником и стал ей письма любовные жарить. По три письма в день. Жарю и удивляюсь: как это я, Иван Никифорович, 35 лет от роду, ни разу в жизни не написавший ни единой любовной строчки, и вдруг такие пламенные письма? «Ангел, божество мое. Я без тебя, как лепесток без росы и солнца» и прочее,

прочее… Одним словом, помешался. Барышня ко мне — тоже неравнодушна. Отвечает, только когда наедине про любовь заговоришь с нею, глазки опускает. Очень уж скромная и воспитания хорошего. «Чего это, — думаю я, — в ящик откладывать». Надеваю сюртук и с официальным визитом к мамаше ее. Так и так. Будучи влюбленным, что называется, по уши в вашу Лелечку, прошу руки ее. Мамаша в слезы. «Вот какое наше положение, Иван Никифорович. Холишь, холишь дочку, на руках носишь ее, по ночам не спишь из-за нее и вот является чужой, не в обиду будь вам сказано, и отнимает ее у тебя. Спасибо еще, что хороший человек. Бог с вами. Возьмите ее, только берегите. Она ведь такое нежное, нетронутое существо. Голубок…» — Уж будьте покойны! Как зеницу ока… — Вечером поделился радостью с сослуживцами. Я сам — конторщик и в банке служу. Поздравляют и спрашивают: — А вы, Иван Никифорович, изучили ее характер? — В совершенстве! — За полмесяца-то? — Смеются. Один говорит: «Ой, не нажить бы вам беды. Жениться, сударь, не огурец. Взял и съел. Это такой, знаете шаг. Надо быть очень и очень осмотрительным. Надо изучить предмет со всех сторон». Ну, вот еще. Я и слушать не хотел. А люди они, надо

вам знать, все опытные, женатые. Да где там слушать, когда влюблен… Женился. Наконец у меня свой семейный очаг. Вот радость была. Ликую. Расхаживаю по комнатам Мак-Магоном, «Буланже» насвистываю и с сиянием во взоре обзираю новенькую мебель — резной буфет, трюмо, тахту, двуспальную кровать и висячую лампу. Как есть — бухточка. Насвистываю, а из глаз так и сыплются слезы умиления. Только недолго длилось мое счастье. На третий день вечером она спрашивает: «Шерочка, куда мы сегодня пойдем?» — А зачем и куда нам идти, Лелечка? — спрашиваю. — На дворе — дождь, холод. Вот прикажем Маше самовар наставить, и мы чай с молоком пить будем. — Она поморщилась и говорит: — Не желаю. — Ну, так возьмем «Русское богатство» и почитаем Михайловского. — Она зевнула и спрашивает: — А кто он такой, Михайловский? — Господи! — отвечаю. — Чуть висячую лампу не проглотила. Неужели не знаешь, кто такой Михайловский? Известный писатель. Стыдись. А еще гимназию окончила. — Нечего мне стыдиться. Экая важность, Михайловский. Я не обязана знать всех сочинителей. Что ж, идем? — Да куда? — Куда, куда?!.. — Она надулась. — Какой ты, право, несносный. Идем в ресторан. — Что-

о-о? — У меня от неожиданности чуть глаза не полезли на лоб. — Чего ты так глаза выпучил? Ну да, в ресторан. Что тут такого страшного? Идем к Гоппенфельду или в «Баварию». Там весело, музыка. — Христос с тобой, котик. Какая же порядочная женщина ходит в ресторан? Там такое общество. Можно нарваться на пьяную компанию, на скандал! — Выдумывай. Никогда там скандалов не бывает. — А ты почему знаешь? — Потому, что не один раз бывала там. — Ты? — Да, я. — С кем же? Неужели мама и папа позволили себе водить тебя, девицу, в ресторан? — Зачем папа и мама? Стану я ходить с ними. — А с кем? — С Николаем Дмитриевичем. — Кто он? — Да ты знаком с ним. Ты познакомился у мамы. Он высокий такой, брюнет. — Вот как?.. А я, признаться, не ожидал за тобой таких талантов. — Неужели? — рассмеялась она. — Может быть, ты раскаиваешься, что женился? — Не то… но!.. — Надо было, милый мой, быть повнимательнее, когда выбирал. — Уж это действительно! — Она вдруг переменила вызывающий тон, прыгнула ко мне на колени, обожгла поцелуем и заворковала: «Какой ты кислый, гадкий. Котик просит тебя доставить ему удовольствие, пойти с ним в ресторан, я так давно не была там и не ела шницеля, а ты отказыва-

ешь». — Что ж, — помирился я. — Если ты очень хочешь, идем. — Пошли к Гоппенфельду и заняли столик. В зале — много публики, светло и играют немки — настоящие непорочные ангелы в белых, длинных и застегнутых до подбородка платьях. Подлетает официант. — Что прикажете? — Лелечка, ты, кажется, шницель хотела? Пожалуйста — шницель. — Па-папа-пастой! — остановила она меня. — Какой ты скорый. Раньше надо каких-нибудь закусок. Какие у вас закуски? — Всякие, сударыня-с! Маринад-с, кильки, икра паюсная, икра кефальная, щучья, анчоусы, провансаль, перчики фаршированные, семга, бычки-фрит, расстегаи. — Лечечка подумала и говорит: — Дайте провансаля, полпорции икры, только с лучком, — и она причмокнула языком. — Потом — перчиков, семги и один расстегай. — Слушаюсь! А водочки? — И водочки. — Графинчик или пол? — Графинчик. — Я запротестовал: — К чему графинчик?! Я ведь, котик, не пью. — В таком случае полграфинчика.

Я сама пить буду. — А горячего что прикажете? — Горячего, горячего… — Она пробежала глазами прейскурант. — У вас теперь такие дорогие цены. Антрекот 75 коп. Когда-то дешевле было. — Когда она произнесла последнюю

фразу, я почувствовал, что во мне что-то оборвалось. — Право, не знаю, на чем остановиться. На шницеле-паприк, на антрекоте, на пожарских котлетах, на поросенке с хреном или бефстроганове? — Я положительно глазам не верил. Она, скромная Лелечка, так смаковала меню и так свободно ориентировалась в нем, как кутила. Глаза ее при этом блестели и губы облизывались, как у обжоры. — Дайте мне бефстроганов. А тебе, Шурочка, что? — Ничего. — Так только беф. Человек! — Слушаю-с. — Лелечка взбила рукой свой «пассаж», прическа ее так называлась, поправила красный галстук и говорит мне: «Не правда ли, котик твой — умница?» — О, да! — ответил я и прикусил губы. За соседним столом сидел армейский офицер с орлиным носом. Лелечка метнула в него глазами, как бумерангом. Он покрутил ус и улыбнулся ей. Она улыбнулась тоже. Я ужаснулся, наступил ей на ногу и говорю шепотом: «Как тебе не стыдно, бросать на незнакомого человека такие взгляды?» — Вот ерунда. А он недурной, право. Знаешь, на кого он похож? Впрочем, ты не знаешь. На дядю Колю. — У меня вторично что-то оборвалось внутри. Непорочные ангелы в белых платьях заиграли «Боби». Вам, конечно, знаком этот гнусный мотив? Кто теперь

не знает его! Леля, как услышала, давай подпевать «О, либер Боби» и аккомпанировать себе вилкой по тарелке. Я побледнел и схватил ее за руку: «Лелечка! Ты — в своем уме?! Ведь кругом — люди. Что они скажут?» — Начхать мне на общественное мнение! — получился ответ. — Я руками развел. Она посмотрела потом наверх, на галерею, и спрашивает, щуря левый глаз: «А знаешь, что там, наверху?» — Что? — Отдельные кабинеты. — А ты почему знаешь? — Знаю. — И она громко засмеялась. Не понравился мне этот смех. Официант тем временем принес закуски и водку. Она придвинула к себе все закуски, выжала над икрой лимон, сделала себе толстый бутерброд и налила до краев рюмку водки. Не успел я глазом моргнуть, как она с шиком опрокинула в рот рюмку, отставила ее и тотчас же, точно кто-то гнал ее в шею, наполнила. Я опять руками развел. — Удивляешься? — спросила она лукаво. — Не удивляюсь, а поражаюсь. — А я могу, — похвасталась она, — выпить семь рюмок водки, три кружки, не маленьких, а больших, пива и пять рюмок ликеру. — Новый талант. — Не новый, Шурочка, а старый. А ты слышал новый анекдот: «Поль, ты не потеряешь ко мне уважения?» или этот: «Послушайте, Жорж. Да дайте,

наконец, людям спать». Славные анекдоты. — И она стала рассказывать. — Довольно! — оборвал я ее. — Какая мерзость! Какой цинизм! Фи! — И я отодвинулся от нее. — Скажите, пожалуйста, какая невинность! — И она с прежним шиком опрокинула в рот четвертую рюмку. Истребив почти все закуски, она стала разглядывать в лорнет публику и расцвела вдруг. Ей поклонился какой-то франт в белых штанах, таких же туфлях, в розовой рубахе с широким кожаным поясом. Он сидел с несколькими молодыми людьми и какой-то женщиной. Она закивала ему головой. — Кто этот фрукт? — спросил я. Франт не понравился мне. У него было пошлое нахальное лицо. — Какой ты ехидный, — обидчиво ответила Леля. — Вовсе не фрукт. — А кто? — Мишель. — Поклонившись ей, Мишель сорвал с горла салфетку, бросил ее на стол, подтянул свои белые штаны и подошел к нам. — Сколько лет, сколько зим! — встретила его Леля. — Как вы выросли! Какие у вас пышные усы! А кто та дама, что сидит с вами? — Тетя. — Тетя?! Ха-ха-ха! Ах вы, шалун! Знаем, какая тетя. Позвольте представить вас. Это мой муж, а это Мишель, Михаил Петрович Шпунтиков. Друг детства. Вместе в одном дворе жили, в дыр-дыра, жмурки, «гуси-гуси домой, волк за горой» и в

папашу и мамашу играли. Помните? Хорошее это было время. Может быть, подсядете к нам? — Рад бы, Елена Васильевна, да не могу. Компания. — А этот в чесунчовом пиджаке, что рядом с вами за столом сидит — кто? — Саша. — Неужели Саша? Господи! Еще один хороший знакомый! — Мишель улыбается и говорит: «И Сеня здесь». — И Сеня?! Вот не ожидала. Вся, стало быть, компания. Попросите их сюда. — Сейчас.

Рассказчик сделал опять небольшую паузу.

— Можете себе представить мое положение? — Что же это ты, мать моя, говорю я ей в сердцах, — с каждым встречным знакомишь меня? Не смей больше ни с кем знакомить. — А, ты сцены устраивать? — Вовсе не сцены, а я просто не желаю новых знакомств… Чем больше в лес, тем больше дров. Постепенно я стал открывать в Леле все новые и новые таланты. Оказалось, что Леля — такая же популярная особа в Одессе, как «Дюк». У нее — масса знакомых. По бульвару идем, ей кланяются. По Дерибасовской — опять кланяются, в театре — тоже. Котелки, студенческие и морские фуражки, шляпы, цилиндры так и мелькают в воздухе, как пчелы. Кланяются и подходят к ней. Она моментально знакомит меня и сейчас же со вздохом и улыбкой во все лицо припомина-

ет прошлое: «А помните, Ваня или Степа, как вы гнались за мной на треке, и я полетела? А помните, как вы хотели поцеловать меня, а я вас веером по носу? А помните, как мы вместе с вами у подъезда городского театра овацию Арамбуро устроили?» — Я все слушаю, скриплю зубами и палкой сбиваю по пути камешки. Она прерывает на минуту свои трогательные воспоминания и спрашивает: «Шурочка, чего ты такой скучный? Может быть, ты устал и ножки у тебя болят? Присядь. А мы со Степой пройдемся еще немного. Мы так долго не видались с ним. Хочется наговориться». — Не желаю. — Не желаешь, так не надо. А вы бы, Степочка (извините за то, что я вас Степочкой называю, по привычке. Ведь я вас гимназистом знала), когда-нибудь пожаловали бы к нам в гости. Право. Запросто. Шурочка очень рад будет. Не так ли, Шурочка? Кстати, поиграете с ним в шахматы. — И вот являешься однажды домой на обед усталый, разбитый и застаешь Мишеля. Сидит он в своих белых штанах за столом, курит папиросу за папиросой и свежие анекдоты рассказывает. А она так и покатывается. — Наконец-то пришел, — говорит она мне. — Гадкий, злой котик. Я так соскучилась по тебе. Садись. — Я сажусь, накрываюсь салфеткой и погружаю нос

в суп. Ем и слушаю. Они опять принимаются за свои воспоминания. — А помните, — говорит она, — как вы, Мишель, послали мне с голубком письмецо с парохода «Тургенев» во время поездки в Аккерман, устроенной в пользу общества спасания на водах? Вы писали: «Дорогая Лелечка. Еду во Владивосток. Утоплюсь в Красном море, если не полюбите меня». Ха-ха-ха! — Мишель глядит на меня исподлобья и конфузится. — Шурочка, чего же ты не предложишь Михаилу Ивановичу водки? — обращается она ко мне. — Гм! Странно. Пожалуйста, если доктор разрешил вам, пейте. — Выпьем вдвоем, Мишель. Иван Никифорович не пьет, у него больная печень. А хорошее времечко было. А когда вы женитесь, Мишель? — Когда я женюсь? Зачем? Можно и без жены прожить весело, — отвечает он иносказательно и подмигивает ей, подлец, глазами. — Ах вы, шалун, — грозит ему Лелечка пальцем. — Шурочка, а знаешь, какой Мишель добрый, славный? Он принес мне на сегодня билет на «Гейшу». — Помилуйте, доброта тут ни при чем, был билет лишний, я вам его отдал, — опять конфузится и скромничает Мишель. — Ты бы поблагодарил его, Шурочка. — Если тебе угодно, — тронут до глубины души вашим вниманием. Слуга ваш покорный по

гроб жизни. — Не беспокойтесь, — отвечает. Вот подлец, жулик. — А когда вы, — спрашивает его Лелечка, — велосипед притащите мне? — Хоть завтра. — Да? Прекрасно. Значит, мы завтра поедем с вами? — Поедем. — Куда? — Куда угодно. Можно и на Большой Фонтан, и на Малый, и в Люстдорф, и в Аккерман. — А в каком часу? — Чем раньше, тем лучше. Выедем в 7 час. утра. Хорошо утром. Птички, знаете, поют, воздух, как шампанское, роса. — Да вы поэт, Мишель!.. Шурочка! — Что, сокровище? — Завтра обед варить не будем. Будешь обедать у Шаевского или в Гранд-отеле. Не то пообедай сосисками «в стоечку», в «штейбиргалле». — Если тебе так угодно… — На следующий день чуть свет поднялась и укатила на весь день с Мишелем. Вечером приезжает вся загорелая, запыленная, веселая. — Шурочка, если бы ты знал, сколько приключений! — Поздравляю тебя. — Возле дачи Вальтуха на нас напали собаки. Мишель одну так пхнул ногой, что она 10 раз перекувырнулась. — Какой умный твой Мишель. — А в Люстдорфе мы купались. Вода такая холодная. — Да? Купались? — Чего же ты такие большие глаза делаешь? Ну да, купались. А! Понимаю! Ты думаешь, что вдвоем! Ха-ха-ха! И как могла прийти тебе в голову такая мысль? Каждый

отдельно. Ну, чего ты хмуришься? Котик мой, «слявный, дологой». Засмейся. Вот так! Мишель говорит, что можно по случаю достать хороший велосипед за 75 рублей. Шурочка, купи. Доставь своему котику удовольствие. — Где же я достану тебе столько денег? — Ну, вот еще. Одолжи. — Я одолжил денег и купил ей велосипед. Она сшила себе широкие шаровары и по целым дням стала пропадать вместе с велосипедом то в Люстдорфе, то на Малом Фонтане, то на треке. Когда ни придешь домой — ее нет. По целым дням мчится по улицам, как сумасшедшая, шаровары у нее надуваются, как баллоны, и извозчики хохочут над нею, тычут в нее кнутовищами, гикают вслед и орут: «Ай да барыня!» Картина, достойная Маковского. Она катается, а я шляюсь по ресторанам и ем всякую пакость. Раз два в день она приедет на часок домой, переменит носовой платок, напудрится, поправит прическу и рассказывает мне свои приключения. — Понимаешь, степь. Жарко. Мне адски пить хочется. Вблизи колодезь. А кружки нет. Мишель зачерпнул своей панамой воду и подал мне. Вот потешный. — А это что за приключение? — спрашиваю ее и показываю пальцем на шею. На шее у нее возле воротника багровое пятно и четыре впадины, как будто от

резцов. Она покраснела и отвечает: «Это комар покусал». — На двух ногах комар? — спрашиваю. — Ах, какой ты шутник… Проходит неделя. Она торжественно сообщает мне: «Слышишь, Шурочка? У нас кружок образовался». — Какой кружок?! — Я подскочил. Этого еще недоставало. Жил человек спокойно и вдруг — кружок. — Чего ты, Шурочка, испугался? Кружок, который два раза в неделю будет танцевать у Бальца. Я буду танцевать, Мишель, Степа, Ада, Нина, Ваня. — У меня тяжесть свалилась с сердца. — Может быть, Шурочка, ты примкнешь к нам? Пора тебе научиться танцевать. Кто теперь не танцует? Послы даже. — Ну, уж это оставь. — Как угодно. — И стала она ходить к Бальцу… Сперва, знаете, я ревновал ее ко всем Мишелям и Степам и следил за нею, а потом махнул рукой. Живи, как хочется. — Шура, я иду к портнихе. — Иди. — Шура, я иду к маме. — Иди. — Шура, я иду в библиотеку. — Иди. — Вот человек! Минуты дома не посидит, душно ей. Все тянет на улицу.

Вместе с Мишелем к нам повадился какой-то клубмен, стриженный под нулевую машинку, в кепи с черным козырьком и пенсне, и все приглашает ее кататься на яхте. — Странно, — говорю я однажды Леле. — Ты вот все на велосипедах

раскатываешь, порхаешь по бульварам, катаешься на яхте, как мотылек живешь и ни разу не подумаешь о том, что ведь надо когда-нибудь чем-нибудь серьезным позаняться. Посмотри — сколько женщин учатся, стараются, из кожи вон лезут, чтобы аттестат на дантистку или повивальную бабку достать. Чего бы тебе не подготовиться на дантистку? — Вот еще что выдумал. Стану я гнилыми зубами заниматься. — А что будет, Леля, если я вдруг умру? Что ты делать будешь? — Я пойду к маме. — А если мамы тогда не будет? — У меня столько родственников и знакомых. — Мишель, например. — Да, Мишель. — И она по по-прежнему продолжала порхать. И замечательно. Ни один бал не пропускает. Сегодня она — на ситцевом, завтра — на артиллерийском, послезавтра — на студенческом, потом — на еврейском. Как дервиш пляшет. И кто достает ей билеты на эти балы, и у кого она берет деньги на наряды? Она говорила, что берет деньги у мамы. Врала. Безбожно, подло… Опротивела она мне. Она сделалась похожей на кокотку. Неловко гулять с нею по улице. По три часа сидит у зеркала и завивается. Всевозможные торты и вавилоны из волос выделывает. На ночь затыкает в волосы тысячи булавок для того, чтобы вились. Черт с

тобой. Затыкай булавки. Только, ради Христа, не лезь целоваться. Нет, лезет. Верите? Она весь нос и подбородок поцарапала мне своими булавками. Приехала ко мне из Петербурга сестрица Паша — курсистка. Как я обрадовался. Она такая славная, скромная, чистенькая, волосы у нее приглажены и закручены бубликом, платье на ней простое, гладкое, без финтифлюшек, перехвачено желтым пояском с черной пряжечкой и беленькие-беленькие воротнички. Любо посмотреть. Я гляжу на нее и отдыхаю. Паша в разговоре с Лелечкой говорит: «Удивительная страсть у одесситок одеваться во все яркое». — А пусть попробуют одеться так петербургские дамы, — ответила вызывающе Леля. — Им нет надобности так одеваться, — ответила спокойно Паша. — Еще бы. Просто не умеют. Вкуса не хватает. Одесса — европейский город. — Петербург — не менее европейский город. — Но не маленький Париж. В вас, дорогая Пашенька, зависть говорит. — Паша замолчала. Прошла еще неделя, и у Лели объявился какой-то художник. Заявил, что у нее в высшей степени «благородное» лицо, и приглашает ее к себе в студию для того, чтобы портрет написать с нее. Они все такие, художники. Познакомятся с интересной дамой и сейчас ее в студию. Три месяца позировала она

ему и никак он не окончил. Потом связалась она с поэтом. Он читал ей стихи и постоянно тащил к морю. А когда поэт уехал на Женевское озеро, она ударилась в любительские спектакли. Какой-то вшивый экстерн нашел в ней большой талант и сказал ей, что грешно закапывать его в землю. Ей дали на первых порах роль горничной. Режиссер из старых артистов научил ее как-то особенно, не по-человечески произносить «кушать подано» и «скушно мне». И вот поставили в каком-то сарае спектакль. Она заставила меня прийти. Прихожу. Публики — пропасть. Все знакомые и близкие любителей. Леля стоит на авансцене намазанная, накрашенная, в чепце, смахивает с канделябра пыль и целуется с лакеем — переодетым гимназистом Серпуховым. Противно смотреть было. В антракте хочу пройти за кулисы, не пускает какой-то балбес с угреватым носом, реалист. Я объясняю ему, что за кулисами моя жена и что она горничную играет. А он: «Ну так что ж? После, сделайте одолжение…» Настал девятый месяц. Отяжелела она. Я говорю ей: «Не мешает тебе, котик, поберечься теперь». То же говорят ей и соседки, и мать. — Дома сидела бы. — А она: «Вот еще глупости. Стану я себя стеснять». Она заказала себе широкое платье, замаскирова-

лась и давай опять порхать. Порхает, порхает. В «Аркадии» объявлено гулянье. Она собирается. — Лелечка, куда ты? Господь с тобою. Там такая давка. — «Пустяки». — Поехала и… благополучно разрешилась… на конке… Срам, безобразие. Ребенок, конечно, долго не жил. На другой день умер. И хорошо сделал. Что его ждало у такой матери? Она хоть бы всплакнула по первому ребенку. Куда?! Напротив, радовалась. Можно опять корсет надеть и по танцклассам и бульварам носиться. Удивительное создание. Если бы вы послушали ее рассуждения. Мы как-то, я, она и знаменитый Мишель сидели за столом. Зашла речь о падших. Леля и говорит: «Подло продавать свое тело и отдаваться всякому встречному». — А если у нее нет родных и мужа, которые прокормили бы? — спрашиваю я. — «Пусть работает». — Да? Скажите, пожалуйста. А если работы нет? Мало ли людей без работы ходит! — «Все равно. Она не должна продаваться. Я понимаю, отдаться бескорыстно, любя». — Вот как? Отдаться любя, по-твоему, можно? — «Можно». — Гм!.. Оно, положим, справедливо, и я против этого ничего не имею. Но с условием, чтобы это делалось открыто, а не тайком. У падшей — желтый паспорт, и она громко и смело заявляет: «Я продаюсь».

Она никого не обманывает. А другие, как воры… Например, некоторые жены. Обедают, обирают мужей, целуют их и… тайком отдаются, любя… — Леля вспыхнула и говорит: — «Ты как будто меня думаешь?..» — Что ты? Боже меня сохрани! Я не думаю, чтобы ты когда-нибудь так низко пала… А какого вы мнения, любезнейший Мишель? Ха, ха, ха! — Мишель тоже вспыхнул, покрутил ус и отвечает: «Я согласен с вами». Неужели? Какое счастье!.. Спустя несколько дней я делаю удивительное открытие, почище колумбовского. Роясь в хламе, натыкаюсь на Лелину старую тетрадку: *«Мой девичий дневник»* и между прочим прочитываю в нем:

«17 апреля. Вот уже третий день, что я чувствую тошноту и сильное головокружение. Господи! Неужели?!.. Я рассказала Мишелю. Мишель велел быть благоразумной и открыться маме…

25 апреля. Приняла сегодня на копейку фосфорных спичек. Повезли в больницу. Скандал на всю Преображенскую улицу. Доктор сделал промывание желудка…

26 апреля. Рассказала все маме. Мама ругалась скверными словами. Я ни за что не хотела выдать Мишеля. Мама сказала, что повезет меня в деревню…

14 мая. Я — в деревне. Свежий деревенский воздух действует на меня благотворно…

1 июня. Кошмар прошел. Все хорошо, что хорошо кончается. Я опять могу танцевать и кататься на велосипеде… Какое счастье. Завтра выезжаем в город».

Прочитал я и засмеялся. Смешно сделалось. Я вспомнил мамашу Лелечки. Она представила мне Лелечку «ангелом, нетронутым существом, голубком». На службу я в этот день не пошел, а весь день прошлялся в парке. Вечером, за чаем, Лелечка спрашивает: «Что с тобой, Шурочка?» — Ничего… Скажи мне, это — правда? — «Что правда?» — То, что в дневнике у тебя… Она побледнела и говорит: «Ты читал?.. Да, правда». — Отчего же ты не сказала мне, когда замуж выходила? — «Мама не позволяла, а я боялась…» — Ужасно, ужасно! — Я схватился за голову. Она вдруг набралась смелости и швыряет в лицо: — «Ничего тут ужасного, ангел мой, нет! Вы, мужчины — не хуже нас! Тоже гуляете, да как, когда молоды!» — Я посмотрел на нее и говорю: — Совершенно верно. Но, мы, мужчины, не корчим из себя олицетворения невинности, нетронутых существ, ангелов и голубков и не потупляем глаз и не вспыхиваем из-за каждого пустяка. А вы корчите. Впрочем,

ты права. Ты грешна, я больше грешен. Я не упрекаю тебя. Мне нет дела до твоего прошлого, тебе до моего, но теперь! Теперь нам надо жить по-хорошему. Брось своих Мишелей. У меня когда-то были Нина и Лиза. Ведь я бросил их. Забыл — ради чего? Ради святости семейного очага. Ради любви к тебе. Посуди сама, какая у нас с тобою жизнь. Тебя по целым дням дома нет. Я по ресторанам шляюсь... — «А?! Ты опять сцены устраивать?! Не хочу!..» — Эх! Как я возненавидел ее в ту минуту! «Господи, — подумал я, — неужели я мог полюбить эту мелкую грязную душонку?! Это ничтожество?! Неужели ей я писал свои пламенные письма?! Неужели я валялся у ее ног?! Неужели ей я открывал все тайники моей души?! Мне хотелось реветь зверем, рыдать на всю улицу. Сколько лет я ждал этого великого момента любви! Ждал его, как рабочий праздника, Великого Светлого Воскресения. Он явился наконец — желанный! Я был так счастлив. Мне было так хорошо. Но она изгадила, испакостила этот праздник!.. Ах, эти одесситки! Нет ничего пошлее одесситок. Слышите? Все, все они — на один подбор. Послушайте! Вы бывали когда-нибудь на Николаевском бульваре?! Видали вы тысячи подростков-девочек по 12–18 лет,

в длинных платьицах и модных прическах? Их называют «корольками». Видели, как горят у них глаза, когда, прохаживаясь по аллеям и поднимая пыль, они перебрасываются бойкими словечками с мальчишками? Николаевский бульвар, Александровский парк, 10-я и 16-я станция на Фонтанах, Золотой берег, Дерибасовская, Пассаж — это все школы, где подготовляются будущие одесские жены. Нечего сказать, хорошие школы. В 15–16 лет девицы наши уже развращены до корней мозгов, они знают десятки нецензурных анекдотов и посвящены во все тайны. Сколько поцелуев они рассыпают каждый вечер на разных аллеях парка, на Золотом берегу, в гротах и трещинах на берегу Фонтанов! Сколько раз они в душе прелюбодействуют! Немудрено поэтому, что получаются такие уроды, как моя жена. Какая наглость, какое лицемерие! Она исчезает на целые сутки, иногда я ей делаю выговор в самой легкой форме, она отвечает с апломбом: «Женщине, как и мужчине, нужна свобода». — Не спорю. Трудись и работай наравне с мужчинами. — Не то! Ей нужна совсем другая свобода. Под флагом мужа заниматься всякой гадостью… Невмоготу стало мне все это. Как посмотрю на свой очаг, то так и подмывает схватить топор и

все — вдребезги: буфет, стол, фарфоровые чашки, а платья все — на кусочки. И для того, чтобы не поддаться соблазну, я стал исчезать из дому на двое, трое суток… Опустился, запил…

И вот, как видите… Шляюсь без пристанища… Сюда зашел…

Он замолчал и опять уставился на Надю.

Надя теперь сидела, закрывшись руками, и плакала. Рассказ его сильно тронул ее. Ей было жаль этого славного доброго человека, обманутого в своих лучших ожиданиях, выгнанного из родного дома и бесцельно слоняющегося по улицам и вертепам.

— Вы плачете? — спросил он усталым и охрипшим голосом. — Вам жаль меня?

— Да, — ответила сквозь слезы Надя.

— Спасибо.

Проговорив это слово, он, как прежде, покачнулся на стуле, свесил голову набок, поклевал-поклевал носом и захрапел.

Надя оттерла рукавом слезы и подошла к нему.

— Господин… милый… хороший, — сказала она ему тихо на ухо.

Он с трудом поднял голову.

— Здесь спать неудобно… На кровати лучше.

— В самом деле. — И он медленно поднялся.

Надя обхватила его рукой за талию и повела к кровати.

Когда он опустился на кровать, она нагнулась, сняла с него ботинки и чулки, затем пальто и пиджак и уложила его.

Он посмотрел на нее с благодарностью.

— Спите, — сказала она потом и накрыла его одеялом.

И он заснул.

XXII. В столовой

1. Заготовщица Елена

— Прощайте, Наденька.

— Прощайте, Иван Никифорович.

— Спасибо за ласку… До слез тронут…

— Что вы…

— Как сестра родная вы мне… Честное слово… Никогда не забуду…

— Когда-нибудь еще раз заглянете?

— Сегодня же вечером. Куда же мне больше идти, как не к вам? Кто, кроме вас, пожалеет меня и посочувствует? Жена, сами знаете, какая у меня.

Такой разговор произошел на следующий день в 2 часа после описанной ночи в комнате Нади между нею и ее новым знакомым.

Иван Никифорович крепко и растроганно пожал ее руку и оставил комнату.

На пороге он столкнулся с Бетей, которая направлялась к Наде. Он извинился перед нею и пропустил ее.

— Что? Интересный пассажир? — спросила Бетя, закурив папиросу.

— Несчастный, — ответила Надя.

— Почему?

— Погибшая семейная жизнь у него. Женился и думал, что жена на радость ему будет. А она оказалась такой, что упаси Господи. Шлендра. Дома минуточки не посидит. Все по танцклассам да на велосипедах.

— Не он один такой. Много их. Редко-редко у кого семейная жизнь хорошая.

— А ты чего расплакалась вчера, когда Вун-Чхи запел «Подожди немного, отдохнешь и ты»?

— Печальная она очень песня. — Бетя протяжно вздохнула. — А хочется уже отдохнуть. Ей-Богу. Я так устала.

— А ты слышала, что с Вун-Чхи приключилось потом?

— Слышала. Черная болезнь.

— Я так испугалась.

— Это с ним не в первый раз. Эх! Будет время, — все отдохнем. И я, и ты, и Вун-Чхи. Все, все…

— А что мы сейчас будем делать, Бетя?

— Обедать. Идем.

— Постой, я оденусь.

Надя была в нижней белой юбке.

— Зачем? — удивилась Бетя. — У нас к обеду никто не убирается. Я сама, видишь, в нижней юбке. — И она потащила ее в столовую.

Столовая помещалась в нижнем этаже, в большой комнате с низким потолком… Вся обстановка ее состояла из черного буфета и длинного стола.

За столом сидели 15–16 девушек.

Всех девушек в доме было 40, но они никогда не собирались вместе в столовой, так как некоторые любили поспать подольше.

В столовой находились почти все знакомые Нади — Тоска, Раиса, Надежда Николаевна, Матросский Свисток, Саша-Шансонетка, Сима Огонь, Елена, Антонина Ивановна, а также талантливый «топор» Макс и очаровательный Симон. Оба мужа из страны Ханаанской, один в круглой шапочке, другой — в ярко-красной феске, сидели у окна за маленьким столиком и играли в шахматы.

Бетя не соврала. Действительно, отправляясь в столовую, девушки не убирались и сидели за столом немытые, нечесаные, в нижних юбках.

Они молча ели горячий борщ и только изредка перебрасывались короткими фразами. Они как будто были чем-то недовольны и не в духе.

Надя была поражена их видом. Она не узнавала их.

Вчера ночью, разряженные, как куклы, в шелка и батисты, напудренные и накрашенные, они

были похожи на цветник. А сейчас — на бурьян, растущий на задворках.

Куда девалась красота их, блеск и шик?!

В какую сторону ни кидала Надя взоры, она встречала глубоко ввалившиеся, тусклые глаза, ямы на щеках, багровые пятна, плоские сухие груди, острые плечи, морщины и даже один совершенно беззубый рот.

— Сядем сюда, — сказала Бетя и указала на край стола.

У края сидела Елена, та самая, которая так нравилась Наде. Она ела борщ и до того была занята процессом еды, что никого вокруг себя не замечала. Она, казалось, вся с головой ушла в миску.

— Будьте любезны, милочка, подвиньтесь, — сказала ей Надя. Но Елена не слышала. Надя повторила свою просьбу.

Елена, наконец, услышала, подняла на Надю тревожные глаза и отодвинулась вместе с миской.

— Спасибо. — Надя села.

Села и Бетя.

— Ты что раньше есть будешь? Борщ или бифштекс? — спросила Бетя.

— Борщ.

— И я буду — борщ. Сейчас принесу.

Она пошла на кухню и принесла две миски с борщом. Елена к этому времени справилась со своей порцией. Она съела борщ до последней капельки, облизнула ложку, отодвинула порожнюю миску и вздохнула, как человек, который плотно наелся.

— Вкусный борщ? — спросила ее Надя с улыбкой.

— Очень вкусный, — ответила также с улыбкой Елена. — Я давно-давно такого борща не ела.

Проговорив это, она густо покраснела и радостно усмехнулась. Она посмотрела потом в сторону кухни, откуда через небольшое открытое оконце вырывался ароматный пар и вылетало шипение сала и звон посуды, и сказала таким тоном, каким говорят дети:

— А мне сейчас подадут еще антрекот с жареной картошкой. А я страсть как люблю жареную картошку. Она хрустит на зубах и рассыпается. Потом дадут сладкое. Вы не знаете, какое сегодня сладкое?

— Кисель с молоком, — ответила Бетя.

Елена опять густо покраснела и заметила:

— И сладкого я давно не ела.

— Вы, кажется, всего третий день здесь, в этом доме? — спросила Надя.

— Да… Насилу приняла хозяйка. Если бы не приняла, я под поезд бросилась бы.

— Я слышала. А зачем вы под поезд хотели броситься? Разве только это осталось сделать?

— Только, — ответила твердо и серьезно Елена. — А то пришлось бы умереть с голоду. Что лучше, скажите сами? Умереть с голоду или под поезд? Лучше под поезд. По крайней мере, сразу. Легла на рельсы, закрыла глаза, заткнула пальцами уши, чтобы не шумело — и готово. А голод не то. Надо мучиться день, два, три, четыре.

— А вы чем раньше занимались?

— Заготовкой обуви. Я — заготовщица и два года работала в мастерской у одного сапожника.

— В Одессе?

— Нет. В Киеве. И когда хозяин закрыл мастерскую, я поехала в Одессу искать работу. Но не нашла. Два месяца даром обходила все мастерские. Деньги, что у меня были, все вышли. Что делать? Знакомых у меня в Одессе нет, родных тоже. Сирота я. И я решила за какую угодно работу взяться. Решила пойти в чистые горничные. Опять неудача. Хожу из одной справочной конторы в другую, часами просиживаю там, жду. Хоть бы на одно местечко послали. Да на одно местечко — 30 горничных.

— И то, — оборвала ее Надя, — конторщик посылает ту, которая ему больше нравится и отдается.

— Вот-вот!..

Елена разговорилась.

— В одной конторе я познакомилась с двумя девушками — полькой и немкой. Одну Ядвигой звали, а другую — Каролиной. Обе они славные такие, расположительные, образованные. Одна искала место приказчицы, а другая — бонны. Однажды Ядвига говорит мне: «Ежели сегодня я не найду места, обязательно выйду на Дерибасовскую...» Она говорит это и сама вся трясется, как в лихорадке, и лицо у нее — белое-белое, как вот эта скатерть. — Бог с вами, Ядвигочка, — отвечаю я. — Разве так можно? Грешно. — А она: «Никакого греха в этом не вижу. Бог свидетель. Я старалась-старалась, хотела работать, да нет работы. Я второй день, мамочка, как без чаю сижу...» Как она сказала, так и сделала. На второй день встречаю ее с каким-то господином.

Из «домашнего обеда» выходят. А на третий день встречаю Каролину, тоже с господином... А я креплюсь. Бегу по-прежнему по справочным конторам и за три квартала Дерибасовскую обхожу. Боюсь ее. Как могилы. Пошаталась я еще два-три денька и совсем из сил выбилась. Не

помню, как я забрела в городской сад. Забрела и повалилась на скамейку. В саду — хорошо, весело. Деток так много, как воробьев. И все они такие миленькие, хорошенькие, чистенькие, как писанки. Прыгают, смеются, «дождик-дождик, перестань» поют, в мячик, в «кошку-мышку» играют, дудят в дудочки и хохочут. Я гляжу на них, и из глаз у меня слезы капают. А сердце ноет, лопнуть хочет. Внутри пусто. Шутка, два дня не ела. «Господи, — думаю, — хоть бы кто-нибудь догадался хлебца принести». Гляжу я на деток и чувствую, что куда-то проваливаюсь, в яму, и в яме этой темно-темно… Вдруг слышу над самым ухом разговор. Словно мухи жужжат. — Что тут такое? — Да вот, с девушкой дурно. Обморок, должно быть, больная или голодная. — Верно — голодная. Ишь, какие у нее губы белые. Как алебастр. — За доктором или за городовым сходить? — Зачем? Воды бы лучше принести и побрызгать на нее. — Да-да, воды!.. Кто-то принес воды, и на меня брызнули. Я открываю глаза и вижу около себя человек 20. Впереди — широкий такой старик в сапогах, в картузе и с большой белой бородой. После я узнала от него, что он — кучер. — Что с тобою, голубушка? — спрашивает он ласково и рукой волосы мои гладит.

Больна аль голодна? — Голодна, дедушка. — Гм! Идем! — Я встала и пошла за ним. Он повел меня в «садик», трактир на Ланжероновской улице, и потребовал щей. Я набросилась на щи, как саранча. — Поосторожнее, девочка, — говорит он, — а то, чего доброго, наживешь что-нибудь. Голодный должен полегоньку. — Когда я дообедала, он стал расспрашивать меня — кто я, откуда? Он выслушал, покачал головой и говорит: «Жаль мне тебя, голубушка. Молода ты, душа у тебя — совсем детская, и сирота ты при этом. Некому тебя поддержать и позаботиться о тебе. Что с тобой будет? Одесса, сама знаешь, — город жульнический, мошенник на мошеннике сидит в нем, вор на воре, аферист на аферисте. Пропадешь. Погубят тебя. Не посмотрят, что сирота. Я приютил бы тебя. Да где мне? Сам теперь на таком положении, как и ты. Службы ищу. И кто знает, найду ли? Кому охота старика брать? Куда я теперь гожусь? У кучера должна быть крепкая рука для вожжей да глаз хороший, чтобы за два квартала перед собой видел. А у меня теперь и рука ослабела, и глаз тож. Сколько ни натягиваешь вожжи — не помогает. Конь рвется, как зверь. Если десять раз не обмотаешь вокруг руки вожжей, чуть зубами в них не вопьешься да назад всем телом не от-

кинешься — шабаш. Понесет. Людей пропасть перекалечит и дрожки, и тебя самого — вдребезги. То же с глазами. Если все время не будешь глядеть перед собой в одну точку да щурить их до боли — налетишь на киоск или фургон. В последний раз на постового налетел и опрокинул. Ей-Богу. Шкандал какой вышел. Меня вместе с хозяином в участок представили, протокол составили, а потом в суд таскали. Я через это и службы лишился». Бедный дедушка Ефим! Рассказывает, а по лицу у него слеза ползет. Я не утерпела. Обхватила его за шею и сама заплакала: «Дедушка, милый мой, славный». А он отвечает мне: «Несчастные мы с тобою оба», — и дает мне гривенник. — Вот тебе. Пригодится, голубушка. День большой. Ну, прощай теперь. Дай тебе Бог счастья, страдающая ты душа… Я взяла гривенник, утерла слезы, поцеловала его в руку и пошла… Прошел еще день, два. Я гривенник давно проела. Голод стал опять мучить. А места все нет и нет. Я решила попросить… милостыню. «Отчего, — думаю, — не попросить. Город незнакомый и никто меня не знает. Чего стыдиться?» Мимо меня проходит господин — в соломенной шляпе и перчатках. Образованный, видно. Я хочу подойти к нему, но ноги не слушаются. Не могу. Подошла, наконец.

«Будьте любезны, помогите. Приехала в Одессу, не нашла работы». — Знаем, знаем вас, — крикнул он. — Проваливай! А то городового позову! — Я как услышала «городового», то отскочила от него, как ошпаренная. Больше после этого я уже ни к кому не подходила… Вечером встречаю Ядвигу. На ней — новое платье и шляпка. — Как дела? — спрашивает она меня. Я рассказываю. — Скверно, — говорит она. — Что ж ты думаешь дальше делать? Умирать с голоду? Сдавайся. Не ты первая, не ты последняя. Таких, как ты — тысячи. — Страшно, — отвечаю. — В первое только время, а потом — не страшно. — Я готова умереть лучше. — Как знаешь. — Еще день, два… Не выдержала я и… вышла на Дерибасовскую. Вышла, остановилась посреди тротуара и понурилась. Как овца. «Ну-с, — говорю я сама себе, — *приехала.* Здравствуйте! Коли вы говорите, что я не первая и последняя, так сдаюсь. Не хотели человека поддержать, так вот вам мое тело. Берите его, только скорее. А то я голодна… «Режьте мое тело, пейте мою кровь», как поется в одной песне». Я стою, не поднимаю головы и все жду покупателя. Ужель не явится? Никакой нынче товар не в таком спросе, как тело. Явился. Плюгавенький такой, в рыжей бородке. Толкнул и спрашивает:

«Чего, барышня, задумались? Может быть, что-нибудь потеряли?» — Задумалась о чем?.. О чем, о чем… Как теперь хорошо лежать в могиле… А насчет того — потеряла ли я что-нибудь? Ничего. Собираюсь только сегодня потерять. — Вот как? Что именно, позвольте узнать? — Стыд и совесть. — Гм! А вы ничего не имеете против того, чтобы я проводил вас? — Пожалуйста. — Он присмолился сбоку и давай осматривать меня — подходящий ли, дескать, товар? Осматривает и не морщится. Стало быть, подходящий. — Сколько возьмете? — спросил он потом. — Сколько, сколько? Право, не знаю, — отвечаю я ему. — Я ведь первый раз этим делом занимаюсь… — Скажите, пожалуйста, не поверю. — Чтоб мне с этого камня не сойти, — поклялась я, — что в первый раз. — Полтинник дам. — А не дешево ли, господин хороший, будет? — Зачем дешево? Такса такая. — Как?! — удивилась я. — Разве на нас такса существует? — Как же-с. — А я не знала. Я думала, что такса есть только на извозчиков… Ну, да хорошо… Не будем торговаться. Давайте, сколько хотите, только раньше, если можно, купите мне сдобную или семитатный бублик… — Хорошо. Идем… На другой день отыскался другой покупатель… И пошла я в ход… Целую неделю

кормилась я таким образом… Но вот однажды, когда я подцепила одного кочегара, меня окружили девять женщин в высоких шляпах, шелковых платьях и с ридикюлями в руках.

— «Одиночки», наверное, — вставила Бетя.

— Да, одиночки. Окружили и гвалт подняли: «Ты кто такая?! Откуда?! Как ты смеешь хлеб отбивать у нас?! Самим жрать нечего. Ходим, ходим всю ночь даром. Книжка у тебя есть?! Где книжка?! Покажи книжку!» Кочегар мой как в землю провалился. Испугался. И я осталась одна среди них, без защиты. Я прижалась к фонарю, трясусь от испуга, как верба. А они так и лезут на меня со своими шляпами. Фу-у! Глаза у них злые-злые, рожи — страшные. Настоящие волки. Я гляжу на них, ежусь и боюсь, чтобы они не проглотили меня. А они все больше и больше наседают, обступили так, что дышать трудно, и насмехаются: «Печенками на базаре торговала, а теперь на Дерибасовскую притащилась. — Судомойкой была. Не видишь по морде? — Да что с нею, Нюся, раскомаривать? Дай-ка ей хорошенько зонтиком…» Трах! Я вскрикнула и схватилась за нос. По пальцам у меня потекла кровь. В это время наскочил городовой. — Что тут такое?! — Женщины окружили его и давай на меня ябедничать. —

Да вот, без книжки по Дерибасовской шляется и грубит всем. Она одного господина порядочного вором и жуликом обругала. Правда, Леля, Маня, Саша, Сура? — Правда, правда! Такая потерянная! Постой! Раз получила зонтиком, еще получишь! — Тише, вы! — накричал на них городовой и обращается ко мне: — Послушай, девушка. Книжка у тебя есть? — Какая? — спросила я его. — Желтая. Без нее никакая «девушка» не смеет гулять… — Нет такой у меня. — Нет? Стало быть, тебя в участок представить надо. — Дяденька, голубчик, родненький, век буду молить за вас, отпустите, — стала просить я его. — Не могу, — отвечает. — Порядок такой заведен. И он повел меня в участок. В участке околодочный потребовал у меня документ и отправил на ночь за решетку. А наутро меня послали к врачу. Он осмотрел меня и отослал назад в участок. — Фотографическая карточка у тебя есть? — спрашивает меня письмоводитель. — Сейчас посмотрю. — Я порылась в кармане и нашла старую-старую карточку. Он взял карточку, пришил ее к какой-то желтой книжке и дает ее мне, книжку-то. — А документ мой? — спрашиваю я его. — Какой документ? — А тот, что вчера отдала вам. — Тю-тю-тю! Скажи ему адью. Вот теперь какой у тебя

документ. — Я открыла книжку и прочла: *«проститутка».* Сердце у меня так и запрыгало. — Кто проститутка? — спрашиваю я через силу. — А ты, матушка, прочитай дальше, коли грамотная. — Читаю: *«Елена Васильевна Мотовилова — мещанка...»* Я?! Меня точно обухом по голове ударило. — Зачем это? — спросила я его. — Как зачем? Для того, чтобы знать, кто ты. Теперь ты можешь гулять, сколько тебе угодно. — В «дежурной» комнате тогда стояли две женщины. Их из трактира привели. Они рассмеялись и говорят мне: «Честь имеем поздравить вас!..» Как сумасшедшая, выскочила я на улицу и полетела. Куда — не помню. Лечу и реву. Все, кто мимо меня проходил, останавливались. Один остановился и сказал: «Несчастная. Должно быть, кого-то похоронила». — «Да, — хотела я сказать ему. — Я похоронила свою честь и порядочность...» Как вернуть мне их?! Как вернуть? Я вспомнила Ядвигу: «Не ты первая, не ты последняя. Таких, как ты — тысячи». И мне легче сделалось. Вечером отправилась опять на эту ужасную Дерибасовскую. Меня опять окружили одиночки и приперли к фонарю. — «Где книжка? Книжку покажи!» — Я показала. Они посмотрели и говорят: «Хоша у тебя книжка и есть, но работать здесь не будешь.

Мы всех твоих пассажиров будем отбивать…» Так и было. Кручусь я, кручусь по два часа, ловлю то одного, то другого. Наконец, удалось поймать. Иду с ним. Вдруг подбегает Маня Скорая Помощь и говорит моему пассажиру: «Господин, а, господин! Что вы делаете? Пожалейте своих будущих детей. Ведь она только что из больницы вышла. Слепой вы, что ли? Не видите, что у нее нос приделанный? Вот, попробуйте-ка потянуть его». И пассажир удирает… Билась я, билась так целый месяц. Спасибо одной девушке. Она посоветовала мне пойти в «закрытый дом». «Хоша, — сказала она мне, — в закрытом доме свободы такой, какая здесь, нету, зато там тепло, не надо под дождем мокнуть, и ты постоянно сыта…» Я послушалась. И слава Богу, что послушалась. Сыта, по крайней мере… А я сюда ненадолго. Побуду немного, соберу малость денег, выхлопочу опять свой паспорт и уйду. Опять возьмусь за старую работу.

— Дай Бог, — сказала со вздохом Бетя. — Только…

— Что только? — спросила Елена и посмотрела на нее своими ясными детскими глазами.

— Ничего.

Елена перевела глаза с Бети на Надю, но та отвернулась для того, чтобы не выдать своего

волнения…

2. Катя

На противоположном конце стола сидела незнакомая Наде девушка. Лицо ее резко выделялось среди прочих своею поношенностью. Оно было желто, как шафран, и вдоль и поперек изрезано морщинами.

Она ела антрекот и ругала за что-то скверными словами свою соседку.

— Как звать ее? — спросила Надя Бетю.

— Катей — Нашатырный Спирт.

— А почему она такая сердитая?

— Потому что старая. Когда ты будешь старой, ты тоже будешь такой сердитой. Несчастная. Никакой гость не хочет смотреть даже на нее. Хозяйка поэтому каждый день душу выматывает у нее. Она говорит ей: «Что мне с тобой, Катька, скажи, делать? Ты вот хромчаешь (ешь), как бык, бырляешь (пьешь), занимаешь комнату. А какая мне от тебя польза? Как от этой стены…» Ах, эта поганая старость! Когда Катя была молода и красива, хозяйка не говорила ей этого. А знаешь, сколько она лет в этом доме? 13.

— Неужели?

— Чего ты удивляешься? Ксюра здесь 16 лет, а

Раиса — 18.

— Страшно, — прошептала Надя.

— А дела Кати очень швах, — продолжала спокойно Бетя. — Хозяйка обязательно не сегодня завтра «выхильчает» (выкинет) ее.

— Куда же она пойдет?

— В «полтиничную».

— Что это?

— Такой дом, как наш, только наш в верхнем этаже, а тот в нижнем. У нас платят рубль, а там — полтинник, и там меньше шику. Там, например, заместо паркета — простой пол, выкрашенный охрой, заместо люстры — простые паршивые лампы, старые зеркала и ковры с дырками. И гости там не такие важные и образованные, как здесь. Там ты не увидишь ни одного студента, чиновника и «галантона». Туда ходят только приказчики с толчка, портные и сапожники. И кормят там девушек не так хорошо. Там киселя с молоком не дают. Есть еще и 30-копеечные и 15-копеечные дома. А большой умница наш Макс. Он однажды хорошо сказал, что женщина, которая находится в этом доме, похожа на лошадь, которая бежит на скачках. Пока она молода и здорова, цена ей большая, а когда она немножко постареет, цена ее падает и ее запрягают в экипаж, потом — в

дрожки, потом — в биндюг, потом — в водовозную бочку, а потом на ней возят камни. Катька недаром такая сердитая. Ты знаешь? Она два раза уже отравлялась нашатырным спиртом, но ее каждый раз спасали. С тех пор ее называют «Нашатырный Спирт».

Надя с глубоким сожалением посмотрела на Катю.

3. Василиса

К Бете подошла белобрысая пухлая девушка с большими серыми глазами, в розовой кофточке.

— Бетя, — проговорила она заискивающим голосом.

— Что, Василиса?

— Будь доброй, прочитай. — И она протянула ей распечатанное письмо.

— Ага! Пришла коза до воза, — сказала торжествующе Бетя. — Ты почему вчера не дала мне папиросу, когда я у тебя просила?

— Чем же я виновата, что папироса у меня была последняя?

— Врешь.

— Чтоб меня грозой расшибло, если вру. Да ну, будет считаться! Прочитай. Жалко, что ли?

— Хорошо. Черт с тобой. Я не такая ехидная,

как ты.

Бетя взяла у нее письмо, но тотчас же возвратила со словами:

— Опять то самое, старое? Я пять раз читала его тебе.

— Пожалуйста, еще один разочек, — умоляюще попросила Василиса.

Бетя пожала плечами и стала читать. Письмо было написано солдатской рукой под диктовку старика-отца Василисы и, как все письма из деревни, пересыпано многочисленными поклонами.

Среди поклонов отец сообщал, что нынешним годом Господь Бог очинно прогневался на народ за пьянство. Три дня праздновал народ Успение и напился до крайности. А погода в это самое время стояла распрекрасная. Хлеб, скошенный и в крестцы сложенный, так и плакал, просил: «Уберите меня, люди добрые, мужички родимые». И только на четвертый день собрался народ убирать в поле, а дождь вдруг как не польет. Да какой! Крестцы насквозь промокли, что твой ситец али воробей. Ну выл же народ, каялся, проклинал себя. «Попробовали мы апосля дождя крестцы, значит, разобрать по снопику да высушить. Куда?! И вот лежат теперь хлеб и гречиха

в риге вымолоченные и преют, пар от них, как из паровоза…»

— Ах, ужасти какие, — восклицала, покачивая головой и бледнея, Василиса.

В заключение отец благодарил ее за присылку 3 рублей и похвалил посланную ею фотографическую карточку: «Молодец, Василиса! Совсем барышня! Я всем показывал на деревне карточку, и все говорили: экой ты счастливый, Петр. Ишь какую Бог дочку послал».

Василиса печально улыбнулась.

— Все, — сказала Бетя и возвратила ей письмо.

— Спасибо.

Василиса глубоко вздохнула и спрятала письмо. Когда она удалилась, Надя спросила Бетю:

— А отец ее знает, что она в этом доме?

— Н-нет. Он думает, что она за горничную у господ служит.

В то время, когда Бетя разговаривала с Василисой и Надей, Матросский Свисток с большим оживлением рассказывала о своем развеселом житье-бытье в Севастополе, в доме некоей Дудихи на известной Продольной улице.

— Эх! Никогда я не забуду, как я жила у Дудихи! Вот так жизнь! У нее — совсем другая публика. Не такая, как здесь. Веселая и с башами (день-

гами). А матросов сколько! Батюшки вы мои! Как напрет их на Продольную, и посмотришь на них из окна, то тебе кажется, что под окном молочная река плещется. Ей-Богу. И прет эта река в дом. «Жарь, — кричит один топору, — “Черное море без прилива”!» Другой: «А мне марш “Под двуглавым орлом”!» Третий — «Кари-глазки» («Карие глазки»). Четвертый — «Сто рублей не деньги, я их прогуляю!» А кроме матросов, у Дудихи гуляют аблаи (цыгане), банабаки (грузины) и мурзаки (татаре-дворяне). Богатый и отчаянный народ мурзаки. Знакомый мой мурзак поспорил однажды на моих глазах из-за пустяка с простым татарином, что персиками и айвой торгует, и стал кричать на него: «Как ты смеешь?! Я — “аксуяки” — кость белая, значит, а ты “кара-тата” — черная кость», и как хватит его нагайкой по лицу. Вот народ! Никакого у него уважения к бедному брату нет. Для него бедный брат все равно, что комар. У мурзаков есть такая песня: «Биркара-татар, бали-си-ичун, ба-на-пала джан» — «За одного черного татарина мне ничего не будет». А потому он даже убить его может.

— Лелька, — стала просить Саша, — расскажи немножко за того грузина, который в тебя влюблен был.

— А! Вот чудак был, — засмеялась Леля. — Он стивадором был на пароходе, в Севастополе. Пришел однажды в «дом», увидал меня и влюбился. С тех пор он приходил каждый вечер, садился возле меня, брал мою руку, смотрел мне в глаза и пел:

Лолка, лолка! (Лелька)
Ах мезурне даукар, даукар меди чириме.

Леля затянула тягучий заунывный мотив и стала разводить руками и строить гримасы.

Все захохотали.

— Спой теперь «Ваделиа Рануни»[20], — попросила опять Саша.

Леля кивнула головой и запела:

Проведу я ленту алу,
Ваделиа Рануни!
Прямо к Митичке к вокзалу,
Ваделиа Рануни!
Возьму свечку восковую,
Ваделиа Рануни!
Прижму Митю поцелуем,
Ваделиа Рануни!..

— А ты, Тоска, чего молчишь? — спросила Са-

---

[20] Примечания: 20
Популярная грузинская песенка.

ша. — Расскажи, как тебя когда-то в кабинете к столу, за которым помещики сидели, заместо десерта, всю обложенную цветами, подавали.

— Не хочется, — ответила Тоска.

— Или как тебя купцы в шампанском в ванне купали?

Леля, желая посердить Тоску, спросила Сашу:

— И кто тебе наврал, что ее в шампанском купали? Какое там шампанское! Кислые щи. Взяли бутылки три щей и на голову ей вылили. И готово.

Тоску передернуло, и она обиженно возразила:

— А тебе досадно? Самое настоящее шампанское было. «Редерер». По 15 рублей бутылка.

— Вот дураки, коли сделали это, — проворчала Катя. — Нашли кого купать.

— А ты помалкивай, дура, — сердито огрызнулась на нее Тоска.

— Скажи, какое счастье, — проворчала опять Катя.

— Кухарка!

— А ты чем раньше была?

— Чем была?! — вскипела Тоска. — Барышней. У родных жила. У меня брат — землемер и сестра — замужем за полковником. Я сама в гимназии училась, и за меня доктор сватался.

— Доктор, доктор, — передразнила Катя. — А все ж мы теперь одинаковы с тобой, и задаваться нечего. Обе упали.

— Наконец, одно умное слово сказала: обе упали. Только вот что я тебе скажу: если суждено кому упасть, то лучше с хорошего коня…

— Ну, будет, зекс! — вмешалась Леля. — Саша! Почитай что-нибудь.

Тоска и Катя замолчали. В столовую вошла хозяйка и, широко зевая, подсела к столу.

— Можно, — ответила Саша. — Я сегодня проходила мимо книжного киоска и купила интересную книжку. В ней за нашу сестру рассказывается…

— Где же эта книжка? — спросила Леля.

— А вот.

Саша достала из кармана тоненькую книжку в желтой обложке. Перевернув быстро несколько страничек, она остановилась на одной и сказала:

— На этой странице рассказывается, как в прежние времена правительство поступало с хозяйками «веселых домов».

— Чего ты врешь? — проговорила, не переставая зевать, хозяйка.

— Ей-Богу, не вру. Хотите, я прочитаю?

— Читай, читай!

Девушки обступили ее со всех сторон.

Саша стала медленно читать:

«В Англии процесс наказания совратительницы девушек сопровождался некоторыми характерными обстоятельствами. По городским улицам медленно ехал позорный экипаж, везя на себе провинившуюся. Двое людей сопровождали ее, причем один ударял в бубны, а другой держал какой-либо музыкальный инструмент. Народ следовал за нею, бросал в нее грязью и осыпал бранью. Иногда подобное наказание заменялось сжиганием волос осужденной. В 1398 году одна женщина, заманившая к себе нескольких девушек и совратившая их, была присуждена к наказанию плетьми, сожжению волос, изгнанию и потере всего своего имущества».

— Вот это я понимаю! — воскликнула Леля и бросила торжествующий взгляд на хозяйку.

— Н-да! — протянула Тоска.

— А вам, хозяйка, никогда еще не жгли волос? — насмешливо спросила Саша.

— Постойте, я подожгу, — сказала Леля.

Она зажгла спичку и подошла к хозяйке.

Все рассмеялись.

— Ты! Дурная, — полусердито сказала хозяйка Леле и отстранила ее рукой.

— Дайте дочитать, — сказала Саша и продолжала: «Тулузские граждане поступали так. Виноватую приводят к ратуше… Палач связывает ей руки и надевает ей на спину дощечку с полным разъяснением ее вины. В таком виде ее везли на скалу, которая находилась посреди реки…»

— Здорово! — воскликнула Леля и вторично бросила торжествующий взгляд на хозяйку.

«… Тут виновную сажали в приспособленную для сего клетку и осторожно, не давая захлебнуться, три раза опускали в воду…» А, хозяйка?! Что вы на это скажете? — насмешливо спросила Саша.

— Э! Сказки, выдумки! — махнула хозяйка рукой.

— Как сказки?! Как выдумки? — горячо заговорила Саша.

— Какой-то шарлатан писал.

— Как шарлатан писал?! Это все — из истории.

— Ну так что, если из истории? — начала сердиться хозяйка. — В каком году это было?

— В 1398-м.

— Ну, вот видишь! — обрадовалась хозяйка. — Народ в то время был дикий, как зверь. Как вы находите, мусью Макс?

Макс на минуточку попридержал на черном квадратике шахматной доски коня и ответил с

достоинством, как авторитет:

— Конечно. Тогда народ был совсем дикий, и всех порядочных людей жгли на кострах и варили в смоле. Например — Жандарк (Жанна д'Арк). Что с этой бедной девочкой сделали! Взяли ее мошенники, шарлатаны, привязали к столбу и подожгли. А что с Колумбом сделали, с тем, что отыскал Америку? Эти потерянные люди взяли его и заковали в цепи, как последнего каторжника. А что, вы думаете, было бы с Бисмарком или Шарлем Леру, если бы они тогда жили? Их тоже сожгли бы или заковали, как каторжников. А теперь этого не может быть, потому что цивилизация, университеты и прогресс.

— А жаль, — вздохнула Тоска.

— Что жаль?! — вспылила хозяйка. — Если тебе не нравится, можешь убираться отсюда. Может быть, тогда нас в клетку и сажали, а теперь никто не посмеет. Почему? Потому что у нас официальное разрешение от города есть. Прогресс! Теперь понимают, что мучить порядочную и честную женщину, которая кормит такую шваль, как вы все — нехорошо. И куда бы вы делись, если бы не я?

Хозяйка горячим взором обвела столовую.

— Сдохли бы с голоду! Тьфу! — и крепко оби-

женная и возмущенная, очаровательная в своей правоте хозяйка оставила столовую.

Девушки проводили ее свистом и насмешками.

Когда шум улегся, Саша сказала Василисе, сидевшей у окна с отцовским письмом в руке в глубокой задумчивости:

— Сыграй что-нибудь.

Василиса подняла голову и ответила устало:

— Не в расположении я.

— Ну, не ломайся, пожалуйста.

Василиса пожала плечами, нехотя поднялась, подошла к буфету, достала оттуда тальянку (гармоника), села опять на прежнее место и лениво стала перебирать клапаны.

Резкие, трескучие и тягучие звуки горохом рассыпались по столовой.

Лицо у Василисы, как только она прикоснулась к клапанам, изменилось. Оно покрылось румянцем, и большие серые глава ее засветились особым красивым блеском. Василиса моментально перенеслась в Тульскую губернию, в свою родную деревушку, в то хорошее время, когда она в коротком платьице шалуньей-девочкой бегала по кривым пыльным улицам с ведрами, крала горох в барском огороде и лакомилась им, и то

время, когда, превратившись в здоровую, краснощекую, ядреную девушку, днем работала на молотилке, а вечером в кругу товарок и парней экспромтом складывала песни и слова на них, за что слыла на всю деревню «прикладчицей».

Василиса извлекла еще несколько аккордов и стала вытягивать из тальянки, как жилы, ноющий северный мотив и выкрикивать стихи собственного производства:

Во сатиновой рубашке, тальянка во руке.
Гармоньица хороша, золотые голоса.
Я любила, толку мало.
Хочу бросить, жалко стало.
Голосочек закатимый,
Закатился друг мой милый.
Несчастная моя доля,
Всякий глаза коля.
Не пиши ты, милка, письма,
Разошлися мои мысли.
Светит месяц над могилой,
Над моей хорошей милой.
Ты скажи, моя лучина,
Платок милкин получила?
Стоит милка на горе, утирается,
А я вижу издаля, что косынка моя.
Ай косынка, ай платок,

Ай вышитый уголок!

— Ша! Не нудь! — крикнул Симон.

— Будет! — крикнул в свою очередь Макс.

Но Василиса не слышала их и не обрывала своей музыки.

Надя залюбовалась ею. Василиса была теперь хороша, как степной цветок. Щеки ее пылали, глаза блестели, пухлые губы улыбались, и вся фигура ее, полная, красивая, вздрагивала.

Василиса совсем забылась. Ей казалось, что она сидит и играет не в столовой, в этом проклятом доме, а на завалинке, возле черной косой избы Терентия барского кучера, рядом с его молодой женой Маланьей, и перед нею на земле сидят подруги ее: черноглазая Лукерья — сорвиголова-девушка, Ефросинья, Маша, Груша и, прислонившись к избе, стоят Фрол — молодой объездчик, и сторож Никита. И она чудачит. «Прикладывает». И никого в своем прикладывании не обходит. И пузатого барина, и длинноногого начальника станции — цаплю, и старосту.

А Груша и Маланья так и покатываются. Не отстает от них и Никита.

— О-хо-хо! Здорово! Ай, ловко! Шельма Василиса! — грохочет он, как труба.

А вечер-то какой дивный! Господи!

Сколько звезд высыпало! И горят они, как алмазы.

С широких степей тянет прохладой, и льется усыпляющая музыка спрятавшихся во ржи кузнечиков.

«Гу-у-у-у-у!» — раздается в отдалении свист.

Поезд подходит к станции. Станция далеко, вот там, где светлое облачко. Это облачко — свет от станционных фонарей.

Сбоку деревни, на возвышенности, окруженная темной стеной, стоит барская усадьба. Все спят, только наверху, на вышке, горит огонек. Этот огонек — барышни Эммы Густавовны, «фрилян» (фрейлен) барчуков. Она засиделась и пишет на родину письма.

Вспомнив «фрилян», Василиса улыбнулась и вплела в свою песню посвященные ей строки:

Фрилян Эмма слезы льет,
Что-то милый к ней нейдет.
Пусть пождет еще немножко,
Может, влезет к ней в окошко.

— Не нудь, говорят тебе! — крикнул опять Симон.

— Брось! — поддержал его Макс.

Василиса вздрогнула всем телом, точно ее

ударили, посмотрела на них большими недоумевающими глазами и оборвала свою музыку.

— Браво! — крикнула ей Леля.

Василиса, испуганно озираясь на Макса и Симона, повернулась к окну и погрузилась в прежнюю задумчивость.

Бетя вдруг встала из-за стола и сказала Наде:

— Идем.

— Куда?

— К Чешке. Она второй день уже больна. Лежит у себя в комнате, не ест, не пьет и все плачет.

Надя кивнула головой, и обе вышли в коридор.

XXIII. Ксюра и Чешка

В коридоре, как всегда днем, стоял холодный полумрак.

Пройдя несколько шагов, Надя остановилась и прислушалась. Где-то в полумраке раздавались сдавленные крики, стоны и глухие удары.

Надя побледнела и спросила Бетю:

— Что это?

Бетя также прислушалась и спокойно ответила:

— Это кричит Ксюра. Ее колотит Вася.

— Какой Вася?

— Швейцар. Он возлюбленный ее.

Надя, не дожидаясь ответа, быстро пошла вперед на крики и остановилась у полуоткрытых дверей одной комнаты. Это была комната Ксюры. И она увидала отвратительную и ужасную сцену.

На полу лежала полуодетая, толстая, как слоновая туша, Ксюра, а над нею стоял с жестоко-холодным лицом в розовой рубахе курносый Вася, рвал ее за волосы и топтал ногами.

Удары ног сыпались на ее грудь, бока и голову. Ксюра тяжело дышала, изворачивалась, стара-

тельно заслоняла свое жирное лицо руками от каблуков и носков своего возлюбленного и что-то сквозь стоны и плач лепетала.

— Боже. Он убьет ее, — прошептала в сильном испуге Надя.

— Ничего ей до самой смерти не будет, — услышала она позади себя тихий голос Бети.

— А что она говорит? — спросила Надя.

Бетя рассмеялась и ответила:

— Разве ты не слышишь? Она говорит: «Васенька мой дорогой, миленький. Дай Бог, чтобы тебе рученьки и ноженьки не болели».

Надя покраснела, нахмурила брови и сказала прерывающимся от сильного волнения голосом:

— И как ей не стыдно? Он колотит ее, а она, заместо того, чтобы отбиваться, молится за него? Какая она женщина?!

— Любовь не картошка, не выбросишь через окошко, — снова засмеялась Бетя. — Она сильно любит его.

— А почему он колотит ее так?

— Должно быть, потому, что она дала ему мало денег. Ведь он все деньги ее забирает.

Стоны и лепет к тому времени, когда подруги окончили разговор, утихли.

— Вася устал бить ее, — заметила Бетя. — Упа-

рился. — И она постучалась в запертые двери соседнего номера, к Чешке. Ответа на стук не последовало. Не получив ответа потом и на вторичный стук, Бетя толкнула двери.

Двери оказались незапертыми и поддались.

Надя увидала перед собой небольшую комнату с закрытыми ставнями, всю погруженную в мрак. В этой комнате было мрачнее, чем в коридоре.

Смутно и неясно вырисовывались на фоне этого мрака, как на негативе, некоторые предметы: кровать, стол и мягкое кресло. В комнате было тихо, как в могиле.

— Где же она? — спросила Надя. — Ее нет.

— А вот она.

Бетя указала на кровать, стоящую у стены. На кровати лежал какой-то серый тяжелый куль. Бетя открыла ставни и впустила свет. И Надя увидала вокруг ужасный беспорядок.

Везде на полу валялись юбки, кофты. В углу лежало опрокинутое красное кресло. Пахло керосином.

Бетя подошла к кровати и стала тормошить куль. Куль не скоро зашевелился, и на свет Божий из-под толстой, серой шерстяной шали высунулась растрепанная голова Чешки с плоским веснушчатым лицом и красными распухшими

глазами.

— Опять плакала, — сказала Бетя и покачала головой. — Когда перестанешь?

Чешка ничего не ответила. Даже глазом не моргнула. Точно этот вопрос относился не к ней.

— Чего обедать не идешь?

Чешка, наконец, вышла из своего оцепенения и отрицательно покачала головой.

— Хочешь уморить себя? — спросила, наклонившись к ней, Бетя.

Чешка вдруг всхлипнула и задергала всеми мускулами лица.

Бетя оглянулась вокруг и, указав Наде на какой-то темный предмет в парусиновом чехле, стоявший в углу, сказала:

— Это ее арфа. Она только на прошлой неделе выкупила ее из ломбарда. Она целый год уже не играет на ней. А этот, — она указала рукой на фотографическую карточку, прибитую к стене и убранную бумажными пунцовыми розами и лентами, — ее возлюбленный-скрипач, с которым она ходила по дворам и играла. Как его звали? — спросила Бетя Чешку.

— Ян, — чуть слышно ответила Чешка.

Надя подошла поближе к карточке. Возлюбленный Чешки был стройный парень с веселым

ухарским лицом и очаровательными, загнутыми кверху усиками. На голове у него чуть держалась круглая зеленая шляпа с небольшим перышком. В правой руке он держал скрипку. Рядом с ним стояла Чешка — неуклюжая, маленькая, в косынке и переднике с широким чубом и, как он, в правой руке держала арфу. И он, и она улыбались и производили впечатление двух беззаботных птиц.

— Какой красивый! — громко проговорила Надя. — Где он теперь?

— Я же говорила тебе давно, что он умер, — ответила Бетя. — Она поэтому так и плачет.

— Отчего же он умер?

— От тифа. А хорошая и веселая жизнь у них была. Она рассказывала мне. Они, с тех пор как сошлись и перешли границу, два года по Подольской и Бессарабской губернии путешествовали. Они шли пешком от одного помещика к другому. Подойдут к одному, станут возле окон дома и давай играть и петь вальс какой-нибудь или песенку «Скажите вы ему, красавцу моему». Помещик или помещица выносят им за это деньги, молоко, хлеб с маслом и сметану. Они покушают и опять идут дальше. Если в какой-нибудь деревне случается свадьба или на какой-нибудь

станции у начальника именины — они остаются на сутки и больше. Спали они в дороге где попало. В лесу, в поле, у речки. Вот было хорошо. Чешка аж дрожала, когда рассказывала. Они лежали в лесу, а над ними, понимаешь, поют птички. Встанут утром и умываются в речке. И опять идут. По дороге балуются. В траве валяются… И сколько еще они жили бы так, если бы не зашли в Одессу. В Одессе он схватил тиф и умер… Она после этого, как сумасшедшая, бегала по городу. Бежит, все ищет его и спрашивает всякого, кого встретит: «Где Ян?!..» Она так два месяца бегала по городу. На скелет сделалась похожей. Когда слезы у нее высохли, она вспомнила про арфу. Но арфа лежала в ломбарде. Она заложила ее, когда Ян был болен. Как выкупить ее? Денег у нее не было ни копейки. А деньги нужны были. Она была похожа на нищую. Юбки, сорочка, кофта, передник, все было на ней порвано. Пошла она искать работу. Но, как Елена, — помнишь? — работы не нашла… И она пошла к нам… Она целый год уже у нас, и не было еще ни одного дня, чтобы она не плакала.

Чешка во время рассказа Бети не спускала с нее своих красных заплаканных глаз и, когда та кончила, накрылась опять с головой своей серой шалью и уподобилась прежнему серому

неподвижному кулю. И через минуту тело ее под шалью запрыгало и задергалось, как у раненой птицы.

Тяжелый ком подступил у Нади к горлу, и, боясь разрыдаться, она бросилась вон из комнаты.

XXIV. Бетя пляшет

Однажды вечером, когда все девушки находились в зале, раздался веселый возглас Лели:

— Спиро пришел!

— Где он? — спросило несколько голосов.

— А вот! — И Леля глазами указала на дверь.

В дверях стоял молодой человек среднего роста, изящный, в темно-оливкового цвета костюме, с ярко-красным галстуком под отложным воротником, в лакированных ботинках на высоких подборах, с заложенными в карманы пиджака руками и улыбался. Лицо у него было такого же цвета, как и костюм, красивое, выразительное.

Немалую красоту придавали ему кокетливые, слегка подкрученные черные усики, розовые, как сирский рахат-лукум, губы, черные, как маслины, глаза и широкий, сдвинутый на лоб чуб.

На голове у него боком сидела мягкая вдавленная шляпа, а на правой руке, лежавшей в кармане, висели длинные коралловые четки.

Девушки захлопали в ладоши и весело заголосили:

— Спиро, зито! Элладо!

А Бетя заерзала на стуле и покраснела до кор-

ней волос.

Спиро улыбнулся еще больше, закивал приветливо головой и стал кого-то искать глазами. Та, кого он искал, была Бетя.

Найдя ее, он послал ей воздушный поцелуй и затем посмотрел в сторону Макса, сидевшего за роялем.

Макс приподнялся на своем круглом стуле, как на стременах на лошади, повернулся к Спиро всем корпусом так, что все позвонки у него хрустнули, и изобразил на своем лице почтительность и полную готовность служить.

— Болгарскую! — бросил ему сквозь зубы, не трогаясь с места, Спиро.

Макс мотнул головой, придал прежнее положение своему корпусу, опустился на стул, откашлялся, положил свои мозолистые пальцы на клавиши и стал выжидать сигнала. Спиро тем временем лениво вынул из карманов руки, вышел, скрипя своими лакированными ботиночками, на середину зала, подкатил брюки и левым глазом подмигнул Бете.

Та только ждала этого.

Она, как вихрь, сорвалась со своего стула и подпорхнула к нему, вся сияющая и радостная.

Бетя была в этот вечер удивительно хороша. На

ней было ее лучшее платье — красное, шелковое, осыпанное блестками, и куча бус и кораллов на груди, которые при каждом повороте ее подпрыгивали и звенели.

Спиро, не говоря ни слова, твердо положил ей на левое плечо свою правую руку, она, в свою очередь, положила на его плечо свою левую, отчего руки их переплелись, оба они потом переглянулись, засмеялись и посмотрели на Макса.

— Ну! — крикнул ему Спиро.

— Есть! — ответил Макс и дернул с ожесточением и со свирепой физиономией желтые вдавленные клавиши.

Рррбом!..

— Мам-ма, держи меня! — воскликнул с замиранием в голосе, заворочав своими маслеными глазками и закинув голову, Спиро.

Прежде чем пуститься в пляс, он любил поломаться немного.

Но вот он кончил свое ломанье и стал медленно перебирать ногами. То же самое делала и Бетя.

Глядя на них, можно было подумать, что они топчутся на одном месте и балуются. Но это продолжалось недолго.

Впрочем, долго это и не могло продолжаться. Музыка была такая задорная, дышала такой

страстью, так шевелила каждую жилку, так горячила кровь и бросала ее в голову, что Спиро не выдержал.

Он вытянул вдруг правую ногу, хлопнул ловко по лакированному носку ботинка рукой, другими словами говоря, сделал «отскочь» такой, на какой способен был только он — лучший исполнитель во всей Одессе «болгарской», — и пошел вместе с Бетей выделывать умопомрачительные па.

— Поехала наша! — крикнул он.

— На остров Крит! — подхватила Леля.

Пол жалобно заскрипел под их ногами, и люстра закачалась.

Через минуту нельзя было разобрать физиономий ни Спиро, ни Бети. Видно было только, как мечутся по залу от одного конца к другому два пятна — одно темно-оливковое, другое — красное и как в воздухе мелькают бусы и кораллы и две пары ног.

Удивительный танец — болгарская.

Как известно, Гейне охарактеризовал английский язык следующим образом: черт собрал все языки со всего света — французский, немецкий, китайский и проч., смешал их, разжевал, выплюнул, и получился английский. Пародируя Гейне, можно сказать, что черт собрал танцы со

всего света — канкан, чардаш, казачок, болеро и проч., разжевал их, выплюнул, и получилась «болгарская».

Это не танец, а пароксизм какой-то.

Недаром девушки называли его «бешеной кадрелью», а ученая Надежда Николаевна — языческим танцем, танцем каннибалов и прислужников золотого тельца.

Он обладал свойством действовать заразительным образом, как зевота, даже на нетанцующих.

При первых звуках «болгарской» самые апатичные гости начинали ухмыляться, вздрагивать и поддергивать ногами.

Вон и теперь! Посмотрите, как не сидится этому степенному господину в шубе, с седоватой бородой. Он барабанит ногами, поглядывает на всех смеющимися глазами, поминутно надвигает на лоб каракулевую шапку и скоро пустится в пляс.

Надя, глядя на Бетю, дивилась. Незадолго еще до прихода Спиро Бетя сидела с опущенной головой, как увядший цветок, скучная, кашляла и жаловалась на грудь. А теперь она казалась олицетворением здоровья, бодрости и веселья.

Необыкновенная удаль и молодечество проглядывали во всей ее тонкой фигуре со вдавленной грудью.

Она кружилась и металась по залу, как вихрь.

Надя вспомнила, как Бетя когда-то говорила ей: «Когда я танцую, то забываю все. Забываю за свою больную грудь, за чахотку, за то, что я несчастная проститутка. Я ничего не вижу, что вокруг меня делается. Я, как на тройке, лечу!»

— Гоп! — крикнул вдруг Спиро и ловко перекинул через голову Бети правую ногу.

— Зито, зито! (ура) — закричали и захлопали в ладоши девушки.

Раззадоренные бешеной пляской двух таких мастеров, как Спиро и Бетя, они вскочили со своих мест и окружили их.

— Бетя! Ну-ка! — крикнула Леля.

Бетя улыбнулась ей, подобрала до щиколотки на левой ноге платье и так же пронзительно крикнула:

— Гоп!

Нога ее, обутая в сафьяновую, шитую золотом туфлю и голубой ажурный чулок, описала широкую дугу в воздухе и перекинулась через голову Спиро, задев его превосходную шляпу.

Шляпа мягко скатилась по его спине на пол.

— Браво, зито! — зашумели опять девушки.

Спиро вторично ответил Бете той же любезностью. Он скосил потом глаза в сторону Макса и

крикнул:

— Молоко везешь?! Вира наша!

Это означало:

«Чего так медленно?! Шибче!»

— Есть!

Макс уперся сильнее в плетенку стула, он как бы вросся в нее всем телом для того, чтобы иметь точку опоры, стиснул зубы и сильнее обрушил свои мозолистые пальцы на несчастные клавиши.

Страшно становилось за участь рояля. Казалось, что Макс хочет заколотить клавиши в пол или сделать из них кашу.

Рояль затрещал и застонал. А Макс все больше и больше пускал корни в сиденье, и вскоре музыка получилась такая бешеная, что никакая тройка и экспресс не могли бы сравниться с нею.

Макс, несмотря на свой вечный флюс, был теперь красив, как греческий бог.

Впрочем, он был всегда таким, когда его охватывало вдохновение и когда из обычного тапера, получающего за свой талант по двугривенному за «кусочек», он превращался в творца и композитора.

Он забывал тогда про двугривенные, глаза у него загорались странным светом, похожим на

отблеск зарницы, а грудь волновалась.

Один мотив сменялся другим, и каждый был совершенно новый, незнакомый, рожденный удивительной фантазией Макса, парившей, как мощный орел, под небесами.

Вот он нечаянно зацепил длинным ногтем мизинца за острое ребро клавиши и оторвал его. Ноготь повис. Но Макс не замечает его. Он видит перед собой только одни клавиши и чувствует, как время от времени Спиро косит на него глазами: «Молоко, дескать, везешь. Вира наша!»

— Ах этот Спиро, Спиро, чтоб ему таким богатым быть, как Родоконаки, — говаривала часто с добродушной улыбкой хозяйка. — Как шибко ему ни играешь, ему все мало.

Четверть часа плясали уже Бетя и Спиро.

Бетя начинала изнемогать. Она плясала теперь по инерции, поддерживаемая твердой рукой Спиро. Но все новые и новые залпы рояля ободряли ее.

Она собирала остатки сил, выпрямлялась и старалась не отставать от Спиро, хотя грудь ее разрывалась на части, ноги были как бы налиты свинцом, и перед ее глазами ходили синие и черные круги.

Она не хотела срамиться.

— Га! — воскликнула она.

В глазах у нее засверкали огоньки, и она с какой-то отчаянной бесшабашностью дернула свободной рукой кораллы и бусы, подпрыгивавшие у нее на груди.

Рррржжждзинь!.. Кораллы и бусы, наподобие гороха, разлетелись в разные стороны зала и зазвенели по паркету.

Бетя потом изо всех сил дернула красный шелковый воротник лифа, который душил ее, и обнажила свою тонкую шею и часть груди, и стала подпевать задыхающимся голосом:

Ой дзам, ой дзам!

Цыганка Роза, желая разжечь ее сильнее, подошла к ней, захлопала в ладоши, затопала ногами и запела своим гортанным голосом:

А я на базаре маслом торговала,
Через тебя, Колька, я сюда попала.
Через тебя сохну, через тебя вяну,
Через тебя чахотку я достану.
Ой вей, тателе, мамеле!

Леля в это время разжигала Спиро. Она металась перед ним, как угорелая, притоптывала ногами и напевала:

Сто рублей не деньги,
Я их прогуляю!..
Зито, элладо!

Спиро вдруг нацелился и выбил носком ботинка из прически Бети — «Эйфелевой башни» — большой каучуковый гребень.

Гребень упал на пол. Незаплетенные волосы скатились на спину Бети и завертелись вокруг ее головы, как плетка.

Они били ее по лбу, по щекам и глазам. Но Бетя не обращала на них внимания.

В уголках рта ее выступила пена.

Вот слетел с руки ее браслет. Он со звоном покатился по паркету и, докатившись до дверей, развалился на две половинки.

С открытой шеей и грудью, с распущенными волосами, с пеной в уголках рта и со сверкающими глазами, Бетя была похожа на вакханку.

Болгарская опьянила ее, и для полного сравнения с вакханкой ей недоставало бокала в руках. Опьянев окончательно, она забыла всякий стыд и стала проявлять массу цинизма в своих телодвижениях.

— Браво, Бетя! Браво, Цукки! — поощряли ее подруги.

Бетя хрипло рассмеялась и крикнула:

— Сегодня мой бенефис! Цукки пляшет! Спиро! Раздуй кадило! (подбавь огня).

Да, это был ее бенефис! Роковой бенефис! Она плясала, как дервиш.

Казалось, что в этой исступленной пляске она хотела выплясать все свое горе, все свои страдания, все свое наболевшее сердце, сердце проститутки, всеми презираемой, отверженной, преследуемой и гнусно и подло обираемой.

Сердце, сердце проститутки, сестры нашей, сбившейся с пути в темную, ненастную ночь, — кто интересовался тобой?! Кто пытался заглянуть к тебе вовнутрь?!..

Спиро стал также изнемогать. Весь мокрый, как лошадь, пробежавшая несколько верст, он понатужился в последний раз, сделал несколько «отскочей» и опустил руку, державшую Бетю.

Бетя, оставшись без поддержки, зашаталась, завертелась, как волчок, и взмахнула рукой, ища потерянную опору. Но, не найдя ее, она в последний раз покачнулась и грохнулась о пол.

Она грохнулась лицом книзу.

По округлой красной спине ее вдруг пробежала судорога. Вслед за этим шея ее вытянулась, как у черепахи, послышалось клокотанье в груди, и из горла хлынула кровь.

В секунду возле Бети образовалось большое красное пятно, от которого во все стороны по паркету побежали красные лучи.

Смех, говор, остроты, веселые возгласы и музыка оборвались, и все, находившиеся в зале, бросились к Бете. Первая бросилась Надя. Она опустилась перед нею на колени и проговорила сквозь слезы:

— Бетичка… что с тобой?

Но Бетя не отвечала.

— Доплясалась! — раздался чей-то равнодушный голос из группы гостей.

— Неужто она умерла? — спросила тревожно Леля.

— Не умерла, — ответила авторитетно Антонина Ивановна. — Если бы умерла, то не дышала бы. А она дышит. Видишь? Надо увести ее отсюда. Ну-ка, девушки!

Несколько девушек тесно обступили ее и подняли.

Тяжело было смотреть на Бетю. Она была похожа на смерть.

Лицо у нее было белое, как алебастр, губы, зубы, часть подбородка и лоб — в крови, волосы растрепаны, глаза тусклые, холодные, руки синие.

Бетю увели в комнату и уложили в кровать. А

на следующий день ее отправили в больницу.

XXV. Дети Нади

Надя сегодня — на верху блаженства. Она сияет, хохочет, чуть до потолка не прыгает.

Что случилось? Хозяйка разрешила ей отпуск на три часа в город. Отпуск после пятимесячного заточения в этом ужасном учреждении. Но временами сияние покидает ее осунувшееся, хотя все еще красивое лицо, и она хмурит брови. Ей обидно. Она пойдет в город не одна, а под конвоем. Ее будет конвоировать по приказанию несравненной Антонины Ивановны Катя — Нашатырный Спирт, которой строго наказано следить за нею в оба. Следить затем, чтобы она не сбежала в приют Общества Св. Магдалины, что не раз проделывали девушки и чтобы в таком случае не пропал ее долг хозяйке в 80 рублей за два платья. Выслушав наказ, Катя с уверенностью заявила:

— Уж будьте покойны. Сберегу ее форменным образом. Как алмаз.

Катя сама также была на верху блаженства. Еще бы! Очутиться вдруг в городе! Какое счастье! Можно будет зайти в трактир, посидеть у машины и побаловаться водкой.

Надя собралась в какие-нибудь четверть часа.

Она торопилась и рвалась вон на улицу, как птица. И от предвкушения свежего уличного воздуха у нее кружилась голова и дрожали ноги.

Но Катя!.. Ах, как злила и бесила ее Катя! Желая явиться перед улицей в полном параде, она все еще возилась у зеркала и терла щеки красками.

Покончив с лицом, она стала перебирать платья и гадать, какое надеть — желтое с миллионами складочек, кружевами и бантиками, сиреневое или палевое. Она остановилась на желтом.

Наконец она была готова. Товарки провожали ее и Надю завистливыми глазами до лестницы, а потом, облепив окна, как арестанты, — до дрожек.

Счастливицы уселись на дрожки, послали товаркам-затворницам воздушные поцелуи и велели извозчику трогать.

— Куда? — спросил он.

— На Дерибасовскую, — ответила Катя, обмахиваясь китайским веером.

Извозчик погнал лошадь.

— А я хотела бы раньше деток посмотреть, — робко заметила ей Надя.

— Чьих? — спросила Катя.

— Моих.

— Вот как?! У тебя детки есть?! — удивилась

Катя. — Где же они?

— На Стеновой улице, у одной женщины. Верой Петровной зовут ее.

Катя подумала и сказала:

— Хорошо. Только ненадолго, — и велела извозчику свернуть на Стеновую.

Когда извозчик свернул, Катя проговорила с расстановкой:

— А я не знала, что у тебя — дети. От кого они?

— От моего бывшего возлюбленного.

— Как звать его?

— Ты не знаешь его.

— А может быть, знаю?

— Яков Иванович Тпрутынкевич.

Катя презрительно скривила губы и сказала:

— Его не знать, Яшку-то блатного (вора), того, что на трех дрожках свежать (гулять) любит. Вот выдумщик! Сам развалится в экипаже на резинах, а позади него трое дрожек тарахтят. На первых дрожках лежит его пальто, на других — галоши, на третьих — зонтик. Верно я говорю?

— Верно. — И Надя покраснела.

— А фартовый (ловкий) он скакун (вор). Ты что же, долго его барохой (возлюбленной) была?

— Три года.

— А потом он бросил тебя?

— Да.

— Бедовый он… Извозчик, постой на минуту!

Извозчик остановился. Катя, охая и подбирая свое пышное платье, слезла с дрожек и сказала Наде:

— Зайду в «восточные сладости» и куплю детишкам рахат-лукуму и «альвачику». Пусть помнят меня.

Доброта Кати тронула Надю, и она сказала ей растроганно:

— Славная ты, чувствительная.

— Ну, вот еще.

Катя купила, что хотела, и они опять поехали.

— А как звать твоих деток? — спросила Катя.

— Девочку — Олимпиадой, а мальчиков — Колей и Юрой.

— А на кого они больше похожи?

— Олимпиада и Коля — на меня. А вот Юра — на отца. Весь, как есть, отец. Его нос, его глаза. Очень меня это беспокоит.

— А ты не слышала, что Яшка засыпался (попался) и сидит теперь в киче (тюрьме)? Как же!

— Не слышала, — равнодушно ответила Надя.

Товарки замолчали и стали глядеть по сторонам. Погода была чудесная. Яркое солнышко грело, заливало все улицы потоками света, и в

воздухе пахло нарождающейся зеленью. На голых сухих сучьях акаций робко пробивались почки. Свежий воздух, ослепительный свет, уличный шум и гам действовали на Катю и Надю, как крепкое вино, и они беспричинно смеялись, щипали друг дружку, ерзали на сиденье и оглядывали с доверчивыми улыбками каждого прохожего.

Прохожие также оглядывали их с улыбками. Но улыбки их были не доверчивые, а многозначительные и двусмысленные, так как они узнавали в них проституток по их ярким кричащим нарядам, большим шляпам, густо намазанным лицам и «роковым словам» на их лбах, закрытых вуалями.

С такими улыбками оглядывали их извозчики, пассажиры конок, кондуктора, городовые. Все. Двое даже остановились, и один, тыкая в них пальцем, громко смеялся.

Но Катя и Надя ничего не замечали. Они видели только одно солнце — яркое, могучее, которое никогда-никогда не заглядывало на «их» улицу и в их ужасную тюрьму, и готовы были петь от радости.

Дрожки их поравнялись с трактиром. Через раскрытые окна его выплывали на улицу тягучие звуки органа.

Глаза у Кати блеснули, и она воскликнула:

— Вот жисть! Знаешь что, Надя?

— Что?

— Давай не вернемся назад.

Надя сделала большие глаза. Катя рассмеялась и добавила:

— Это было бы хорошо. Только никак невозможно. Не вернуться мне назад, значит умереть с голоду. Тебе-то еще можно. Ты — молодая, здоровая. Служить можешь. А я — старуха.

В голосе Кати зазвучала безнадежная нотка.

Наде сделалось жаль ее. Она обвила рукой ее шею, прижалась к ее щеке и робко заговорила:

— В самом деле, Катюша, давай не вернемся назад. Какая там «жисть». Одна мука. Пляшешь, пляшешь. Видела, что с Бетей стало? Доплясалась. Это, Катюша, ничего, что ты старая. Работу всегда найдешь. Будем вместе искать. Только бы не вернуться. Голубчик, прошу тебя.

Катя посмотрела на нее с усмешкой, медленно оторвала от своей шеи ее руку и запела:

— Ой-ой-ой! Ишь, как разлимонилась. Ты что же это, мать моя родная? Смотри мне. Только попробуй сбежать. Так скручу!

Надя искусственно улыбнулась и пробормотала:

— Я ведь так… пошутила.

— То-то! Где же твои дети? Долго что-то мы едем.

— Вон там, в том доме. Извозчик! — Надя остановила его у старенького одноэтажного домика и предложила Кате слезть с дрожек.

Вера Петровна, у которой находились на воспитании дети Нади, была жалкое болезненное существо. Она вместе с мужем-стариком, ночным сторожем, снимала в глубине двора одну комнату с кухней. Войдя в комнату, Катя и Надя увидали следующую картину: на грязном полу на спине лежала Олимпиада, а на ней верхом сидел Юра — вихрастый и носатый — и тузил ее кулаками. Коля же сидел на корточках в стороне и строил из засаленных карт домики.

Олимпиада орала, как поросенок, и Вера Петровна напрасно пыталась оторвать от нее Юру. Он, как рак, впился в нее, тузил и приговаривал:

— Жаль, ножика нет. А то кишки выпустил бы тебе.

Увидав мать, Юра бросил Олимпиаду и поспешно забрался под кровать. Олимпиада же присела и, устремив глаза на мать, заревела еще громче.

Материнское сердце Нади дрогнуло. Она стремительно бросилась к Олимпиаде, сгребла ее в

охапку, прижала к груди и стала покрывать ее поцелуями.

Потом она сгребла Кольку и стала нежно звать:

— Юра, а, Юра!

— А ты рыбы (лупок) не дашь? — послышалось после некоторого молчания из-под кровати.

— Не дам. Иди сюда.

Юра, весь измазанный известкой, вылез. Надя вытерла ему кружевным платочком нос и сказала, указав на Катю:

— Это, детки — тетя. Она вам гостинец принесла.

У детей заблестели глазенки.

— Да, принесла, — сказала Катя. — Только вы не получите.

— Почему? — спросил насмешливо Юра.

— Потому что вы деретесь. Будете еще драться?

— Не будем, — хором ответили дети.

— Если так, так вот вам. — И она разделила между ними поровну рахат-локум и «альвачик».

Дети повеселели и запрыгали вокруг Кати и матери, как козлики. Надя глядела на них сквозь слезы. Она пять месяцев не видала их. За это время они выросли, в особенности Юра. Но зато как они ужасно выглядели. Они были желты, грязны,

оборваны.

— Отчего они у вас такие грязные, Вера Петровна? — спросила она.

— Да они всегда такие, — ответила та. — Моешь, моешь их, а они возьмут и вывалятся во дворе. А вы бы позанялись немного Юрой. Ужас, какой он баловный. Я из-за него со всеми соседями перессорилась. Вчера он скрутил голову индюку одной чиновницы. Позавчера пожар в погребе наделал. А что он с Олимпиадой делает, если бы вы знали! Прошлой неделей он схватил нож и говорит ей: «Давай я подколю тебя». — «А за что ты меня подколоть хочешь?» — спрашивает Олимпиада. — «Хочу посмотреть, что у тебя у середке делается». — И лаком же он. Вчера купила полбутылки подсолнечного масла. Хотела старику своему скумбрию зажарить, а он возьми и все выпей.

Надя во время рассказа Веры Петровны качала головой и, когда та окончила, проговорила:

— Слышь, Юра? Как тебе не стыдно. Да где ты? Куда он делся?

— А вот он, — спокойно ответила Катя и достала его рукой из-за своей спины.

Юра стал вырываться из ее рук, но Катя не пускала его.

— Пусти, — просил он угрюмо.

— Я тебе дам «пусти», — ответила Катя и сильнее сжала его руку. — Понимаешь, Надя? Пока Вера Петровна рассказывала, он у меня портомонет свистнул. Так вот ты, миленький, какой?! Правда, что яблоко от яблони далеко не падает. Каков папаша, таков и сын. Хороший блатной из тебя выйдет.

— Пусти, — повторил Юра и стал кусаться и брыкаться ногами.

— Ты прежде портомонет отдай, а потом отпущу.

Юра заплакал, когда ей удалось отнять у него портмоне, выругал ее по-площадному и залез опять под кровать.

— Ну и сынок же у тебя, — покачала головой Катя. — Да и какой может быть у отца-вора?

Надя была сильно огорчена всем виденным и плакала. Катя насилу успокоила ее.

Товарки посидели еще несколько минут и поехали дальше.

XXVI. Собака и Надя

Солнце и свежий воздух заставили Надю забыть про все свои недавнишние огорчения, и она вновь повеселела. Не доезжая Полицейской улицы, Катя остановила извозчика и сказала Наде:

— Мы сойдем тут и зайдем в трактир.

— Я не зайду, — поспешно ответила Надя.

— Почему?

— Я хочу лучше погулять и подышать свежим воздухом.

— Вот еще, — надулась Катя. — Довольно дышала воздухом. А хорошо в трактире. Сядем у машины и потребуем чаю и водки. Я попрошу, чтобы он сыграл нам «Жизнь за царя» или «Засвысталы козаченкы».

— Не хочу.

Упрямство Нади опечалило Катю.

— Как же мне быть? — спросила она. — Отпустить тебя, что ли?

— Почему же нет?

— Как же! Отпущу тебя, а ты возьмешь и удерешь к «магдалинкам»[21]. У меня была уже такая

---

[21] Примечания: 21
Приют Общества Св. Магдалины.

история.

— Я могу побожиться, что не удеру.

— Не знаю — верить тебе или не верить? Если удерешь, мне здорово нагорит.

— Вот крест, что не удеру!

— Ну, спасибо! — Катя вздохнула с облегчением. — Ты, я знаю, славная и подвести меня не захочешь. Так слушай. Я зайду вон в этот трактир и буду сидеть там. А ты, когда погуляешь, зайдешь за мной.

— Хорошо!

И они разошлись.

Надя пошла вниз по Преображенской улице и свернула на Дерибасовскую.

На Дерибасовской было сильное движение. По обоим тротуарам, мимо сверкающих золотом, серебром и бриллиантами витрин, медленно двигалась взад и вперед одетая по-весеннему публика. У многих дам на груди красовались хризантемы, астры и фиалки.

Все громко разговаривали, смеялись, и говор, и смех их сливался с веселым чириканьем воробьев в акациях.

Пшшшш!..

По мостовой прокатился, слегка подпрыгивая на толстых шинах, белый автомобиль, в котором

сидели, подняв до ушей воротники летних пальто, и правили два «пистолета». Публика глядела на них с почтением и завистью, а извозчики и биндюжники с иронической улыбкой.

Наде захотелось посмотреть поближе на всю эту нарядную публику, и она присела на скамейку. Мимо нее, как паруса и яхты, проплывали гордые, величественные и раздушенные дамы и милостиво, и кокетливо, как майские розы, улыбались, слушая занимательные разговоры скромничающих кавалеров.

Как нежные легкие облака в ясный день, проносились сотканные из лучей, звуков и «сладких молитв» примерные одесские девственницы — гордость нашего благодатного юга.

Надя не утерпела, поднялась, замешалась в толпу и пошла по течению. Она вслушивалась в отрывистые разговоры, заглядывала всем в глаза, и все казались ей такими добрыми, славными и хорошими. Ее удивляло и трогало, как все ходят парами и по трое, чуть не обнявшись, как все обходительны, вежливы, как снимают друг перед другом чуть не до земли шляпы и так радостно при этом улыбаются. Точно клад нашли. Ни дать ни взять — одна большая семья.

Даже эта большая кудластая собака, которая

затесалась среди гуляющих, чувствует себя, как в родной семье. Кто ни пройдет, считает своим долгом потрепать ее по ее шелковистой шерсти и сказать — «славная собака».

Наде вдруг захотелось, чтобы кто-нибудь и на нее обратил такое внимание, как, ну, хотя бы на эту… собаку (она даже прониклась завистью к ней) и чтобы кто-нибудь поклонился ей. И она стала искать в толпе знакомых.

Она не скоро отыскала одного — Мишу. Миша был краснощекий юнга, почти мальчик. Она познакомилась с ним на прошлой неделе.

Несчастный мальчик! Он явился к ней в первый раз пьяным, и, когда они разговорились, он со слезами на глазах рассказал ей, что боцман придирается к нему и что он сегодня избил его за какую-то мелочь. Закончив свой рассказ, он поклялся, что убьет его. «Вот, — сказал он, — приду завтра на пароход и полосну его без никаких ножом по горлу или двину ему в бок». — Ну, вот еще, — заметила Надя ласково и погладила его по голове, как дитя. Ей было жаль его. — Охота тебе убивать. Терпи. Все мы терпим. Бог приказал всем терпеть. А убивать — грех. И что будет, если убьешь? Сошлют на Цакалин, и жизнь твоя молодая пропадет, как пузырь на воде. Я говорю тебе,

не делай этого, Мишенька. — Она много и долго говорила тогда и нежно гладила его по голове. Он согласился под конец с нею и ушел, сказав ей растроганно: «Вот, в первый раз ты видишь меня, а обошлась со мною, как мать родная. Никогда я тебе не забуду этого».

Миша шел ей навстречу. На нем сверкала, как снег, матросская куртка, и он держал себя, как настоящий морской волк. Переваливался и с шиком сплевывал.

«Вот, — подумала Надя, — обрадуется, когда увидит меня». И она удвоила шаги.

Когда он приблизился, она вытянула руки и радостно воскликнула:

— Мишук! Мишенька!

Миша вздрогнул от неожиданности, посмотрел на нее, сильно прищурившись, вспыхнул и резким поворотом корпуса увильнул от ее объятий. Он ловко затем нырнул в толпу, как морская свинка, и пропал.

Надя осталась посреди тротуара, как дура, с вытянутыми руками и сияющим лицом. Но вот она опустила руки, скривила губы и проговорила с горькой усмешкой:

— Не признался. Да и как, правда, признаться. Я ведь — пропащая, проститутка, неловко ему.

Волна горечи и обиды нахлынула на нее, и она захлебнулась бы в ней, если бы какой-то примиряющий голос не шепнул ей: «А может быть, он не узнал тебя?»

— Да-да! Он, наверное, не узнал меня, — проговорила она, как в лихорадке. — Если бы он узнал, он непременно поклонился бы. И почему ему не поклониться? Ведь я не причинила ему никакого зла. Напротив, обласкала его, как мать.

Волна горечи и обиды отхлынула прочь, и Надя стала вновь с облегченной душой продираться сквозь толпу, не замечая, как все расступаются перед нею и оглядывают ее не то с любопытством, не то с удивлением и презрением.

Вот еще один знакомый. Вольдемар. Студент N-ского университета. Он часто удостаивает своим посещением «их» улицу. Чаще даже, чем храм науки. Ну и шалун же он! Каких только фокусов он не выкидывает, когда приходит к ним. Дурачится, как ребенок, и как-то особенно танцует падеспань, dance du ventre и эфиопский танец кек-уок. Надя только вчера провела в его приятном обществе два часа, играла с ним в «лапки», и он, злой, до крови набил ей правую руку.

Он скромно шествовал рядом с двумя девицами из бомонда — прелестнейшими созданиями в

очаровательных и фантастических саках. Девицы поминутно подносили к своим птичьим носикам лорнеты и щебетали:

— Ах, Баттистини! Ах, Саммарко! Ах-ах!

Надя почти поравнялась с ним и кивнула ему головой. Теперь сомнения не могло быть. Этот заметил ее. Заметил и тоже… не поклонился. Вместо поклона он бросил на нее мимолетный взгляд, который говорил, что ему неловко кланяться ей на улице.

В этот самый момент мимо него прошел почтенный господин, похожий на профессора. Вольдемар сделал удивительно гнусное лизоблюдное лицо, поспешно скинул фуражку и громко и почтительно провозгласил:

— Мое нижайшее почтение!

Вольдемар затем повернул голову и бросил вдогонку Наде еще один взгляд. Взгляд этот был ласковее первого и говорил:

«Извини, дружок. Я с большим удовольствием поклонился бы, но, ей-Богу, неловко. Общественное мнение — знаешь. Я могу повредить своей карьере. Ты должна понимать это и не сердиться. Будь умницей. Знаешь, как Гейне говорит?

Blamier mich nicht, mein schönes Kind
Und grüss mich nicht unter den Linden,

Wenn wir nachher zu Hause sind,
Wird sich schon alles finden.

(Дитя мое, меня конфузишь ты, когда под липами мне кланяешься смело. Вот как домой придем мы, ну тогда совсем другое дело.) Поняла?»

Надя покачала головой и прошептала:

— Поняла. А большой ты прохвост.

Как назло, вслед за ним встретился еще один знакомый, потом еще и еще, которым она отдавала все свои соки и расточала ласки, с которыми, когда им было тяжело на душе и когда они бежали к ней спасаться от тоски, она пила до потери сознания. И все, все они, как и Миша, и Вольдемар, проскальзывали мимо, боясь даже взглядом выдать перед толпой, перед обществом свое знакомство с нею.

Неблагодарные! Если собаку приласкать, она будет благодарна. А они?!

Сколько ласк они получали от нее! Были, конечно, и неискренние, подневольные, но были и искренние.

А вот идет Иван Никифорович.

«Неужели, — подумала Надя, — и он не признает меня?!»

При этой мысли она побледнела, и сердце ее сильно забилось.

Она вспомнила тот вечер, когда он предстал перед нею в ужасном виде, плакал кровавыми слезами и рассказывал о своем разбитом семейном очаге.

«Нет, уж этот признается. Он не может не признаться. Ведь она тогда так нежно обошлась с ним, утешила его. Если же он не признается, то нет правды на свете, нет порядочности, а есть одни подлецы и трусы». (Будь Надя развитой, она назвала бы таких людей «рабами общества».)

Иван Никифорович с тех пор, как Надя видела его в последний раз, значительно изменился. Он обрил бороду и выглядел франтом. «Уж не помирился ли он с женой?» — подумала Надя.

Он шел ей навстречу важно, с заложенными в карманы нового пальто руками и поблескивал своими синими выпуклыми очками. Надя подпустила его к себе очень близко и крикнула ему почти в упор:

— Иван Никифорович! Родной! Здравствуйте!

Иван Никифорович отступил на шаг.

— Извините. Я напугала вас, — виновато залепетала Надя.

Иван Никифорович поправил очки, пристально посмотрел на Надю и наморщил лоб. Он стал припоминать — где это он видел эту разодетую

даму?

— Не узнали? А узнайте, — засмеялась Надя.

Он наконец узнал. Лицо его моментально залилось краской, он что-то забормотал, оглянулся вокруг, словно желая узнать — не видел ли кто-нибудь, сохрани Боже, что он стоял с нею — проституткой — и сгинул в толпе.

Последний удар был для Нади самый чувствительный. В глазах у нее потемнело, ноги подкосились, и для того, чтобы не упасть, она прислонилась к фонарю.

Она глядела помутившимися глазами по сторонам, и ей казалось, что вся эта гуляющая публика — дамы, девицы, почтенные старцы, старухи, дети в капорах и с баллонами в руках — все, все тычут в нее пальцами, хохочут и отшатываются от нее, что воробьи в акациях и те хохочут и что хохот этот растет, как буря на море, что хохочут фонари, извозчики, колеса дрожек, киоски. Она не выдержала и побежала, как безумная, затыкая себе уши, толкая всех и наступая всем на ноги.

Она бежала не зная куда. Куда-нибудь, только бы подальше от этой страшной, злой и бессердечной толпы, боящейся встречи с нею.

Сегодняшний день показал ей весь ужас, весь трагизм ее положения проститутки. Она толь-

ко сегодня узнала, что она не член общества, а пария, отверженная, прокаженная и что ей нет места среди этих «чистых», вылощенных, воспитанных, добрых людей, и что… собака…

Она с болью в душе вспомнила ту черную кудластую собаку, которую всякий гладил и ласкал.

Какой ужас! Она сегодня узнала, что она ниже этой собаки, что собака имеет право на ласку, имеет право находиться в этой толпе, не внушая ни в ком протеста и презрения, а она — человек с душою, нервами — не имеет права.

Она бежала и слышала за собой ужасное шипение толпы:

— Проститутка! Падшая!

— Падшая, падшая! — шумели воробьи.

— Падшая! — грохотали на мостовой колеса и звенели копыта.

— Падшая! — трубили рожки кондукторов.

Добежав до Соборной площади, она упала на скамью и зарыдала.

Она рыдала, а вокруг звучал веселый смех, щебетали воробьи, и мимо текла разряженная, жизнерадостная толпа, и никому не было дела до ее слез, горя и обиды…

XXVII. Schiffskarte

Подожди немного,
Отдохнешь и ты...
Гёте

На шестой день после увоза Бети в больницу Антонина Ивановна позвала Надю, показала ей тяжелое письмо, покрытое разноцветными марками и печатями, и спросила:

— Ты, кажется, дружила с Бетей?

— Да.

— Это письмо для нее.

— Не из Нью-Йорка ли?! — вскрикнула Надя.

— Да. А почему ты знаешь?

— Как же не знать, когда Бетя, почитай, каждый день ждала оттуда письма от брата.

— Так надо отнести ей в больницу. Может быть, ты отнесешь?

— С удовольствием, — радостно ответила Надя. — Можно сейчас?

— Можно. — И она вручила ей письмо.

Надя помчалась к себе одеваться. Она одевалась и думала: «Вот обрадуется Бетя».

Бедняжка! Надя вспомнила, как в последние

дни она только говорила о Нью-Йорке и брате.

Брат Самуил был единственным человеком из всей их многочисленной семьи, оставшимся в живых, и она была сильно привязана к нему. А много-много лет она не видала его. С тех пор как после погрома в Одессе при генерале Коцебу он почти мальчиком эмигрировал вместе с несколькими еврейскими семействами в Америку. В Америке он поступил на выучку к одесситу-портному и мало-помалу выкарабкался в люди. Он женился затем, взял за женой достаточно денег, обзавелся на центральной улице Нью-Йорка шикарной портняжеской мастерской и обшивал нью-йоркскую золотую молодежь.

Десять лет Бетя не получала от него никаких известий. Она уже думала, что он умер. И только в позапрошлом году, наконец, он дал знать ей о своем существовании нежным письмом с приложением 7 долларов. Бетя в то время работала на табачной фабрике. Самуил извинился за долгое молчание и объяснил его тем, что, во-первых — все эти 10 лет он работал, как вол, ночей не спал и боролся с нуждой, и во-вторых, что насилу отыскал ее адрес. В заключение он просил ее немедленно подтвердить получение его письма и написать о своем житье-бытье.

Восторгу и радости Бети не было конца. Она немедленно ответила. Письмо ее вышло мрачным и тяжелым. Она рассказала ему, что положение ее — убийственное, что она работает в табачной фабрике в папиросном отделении, что ей приходится сильно напрягать и без того слабую грудь, что легкие ее засорены табачной пылью, что у нее показалась горлом кровь и что денег — 8 руб., которые она зарабатывает, — еле хватает на нее и бабушку, с которой она живет на краю города у одного сапожника. Коснувшись бабушки, Бетя сообщила, что та вот уже три месяца, как перестала ходить на базар и продавать свои лимоны, так как у нее сильно распухли ноги.

Брат не заставил долго ждать ответа. В новом письме он выразил ей свое соболезнование, велел кланяться бабушке. «Скажи ей, — писал он, — что ее Самуил не забыл еще, как она качала его на руках и кормила сахарными бубличками», пообещал взять ее в ближайшем будущем, как только он покончит с одним делом (каким — он не писал), к себе в Нью-Йорк и приложил опять 5 долларов на лечение бабушки.

«Ты у меня, дорогая, славная Бетичка, единственная сестра моя, — писал он, — отдохнешь, поправишься, и мы заживем так хорошо. А я, — ты

слышала? — женат, и давно. У меня даже пятеро детей. Скоро ты получишь нашу «группу»».

Восторгу и радости Бети опять не было конца. Она, как безумная, целовала письмо и много-много плакала.

Бетя стала терпеливо ждать. Но брат почему-то на этот раз заставлял себя ждать долго.

Прошло лето, настала зима. Перед решетчатыми окнами фабрики Бети навалило большие горы снегу. А он все медлил.

Положение Бети между тем все ухудшалось. Бабушка умерла, пришлось много потратить денег на ее похороны, погасить все мелкие долги. Она измучилась от страданий и долгих ожиданий. Ах, это ожидание! Каждый день в продолжение года она ждала, что он наконец вырвет ее из этого душного отделения и возьмет в Нью-Йорк. Она много раз порывалась написать ему, но рука ее не повиновалась. Бетя была по природе очень деликатна и не хотела беспокоить его. Но вот она не выдержала и написала ему отчаянное письмо. Она сообщала, что дела ее очень и очень плохи, что какой-то приказчик из фабрики обесчестил ее, в чем, впрочем, виновата она сама, так как поддалась его обещаниям жениться на ней, и что она сейчас без службы. Дальше она сообщала, что

истрепала ботинки в напрасных поисках новой работы, задолжала квартирной хозяйке за два месяца и что та грозит вышвырнуть ее на улицу вместе с ее «бебехами», что из горла ее все чаще и чаще показывается кровь, что она просилась на службу в качестве служанки, но нигде ее не принимают, так как все пугаются ее «чахоточного» вида, и что ей придется сделать одно из двух — броситься с моста или окунуться в разврат, на что ее со всех сторон толкают разные «факторши».

Прошел месяц, два, три. Ответа опять нет. И Бетя пошла на знаменитый Строгановский мост с твердым намерением покончить все счеты с жизнью.

Но каково было ее разочарование! На мосту, по обеим сторонам, стоят две высокие-высокие решетки с узкими просветами. Ни взлезть, ни пролезть. И стоит подле этой решетки, задрав лохматую голову, какой-то оборванный юноша, сверкает глазами и громко ругается:

— Ишь, какую решетку выгнали! Насильно, подлецы, к жизни привязать хотят! Но наплевать! Для порядочных людей существуют еще курьерские и почтовые поезда. — И, запахнувшись в свое дрянное пальто и надвинув на глаза рыжий картуз с раздвоенным козырьком, он

пошел прочь.

Бетя постояла немного на мосту, похлопала глазами через решетку на мостовую под мостом, по которой, глубоко зарывшись в снегу, ползли червяками из таможни быки с канифолью, красками и прочей дрянью, и также пошла прочь. Пошла и подумала: «А что, если я возьму и на один час продамся кому-нибудь и, продавшись, куплю хлеба и продержусь до завтра, а завтра, может быть, Бог пошлет службу и не надо будет лишить себя жизни». Она долго думала, боролась, плакала и решила продаться. Но надежды ее, увы, не оправдались. Добытых ею денег хватило ей на два дня. Службы Бог не послал, и на третий день опять всплыл вопрос о самоубийстве.

За первой попыткой и отсрочкой последовали другая и третья. Самоубийство все отодвигалось. Бетя между тем примелькалась блюстителям порядка. Ее представили, куда полагается, произвели в сан «убогой и нарядной» и благословили на дальнейший путь, политый слезами и усыпанный терниями, «золотым», или желтым паспортом.

Бетя с полгода погуляла по улицам — вы, по всей вероятности, милый читатель, встречали ее на Дерибасовской и не раз были останавливаемы

ею, — она была комична в своей красной «гейше» до пят, ясно обрисовывавшей ее детские плечики, и в широкой черной шляпе с белым круглым пером, — а потом попала на «стол и квартиру» в известное учреждение.

О, милые, нежные оранжерейные дамы и девственницы, соперничающие своей чистотой с хризантемами садов одесского общества садоводства, дач и вилл Маразли, Ралли и Ашкинази и пармскими фиалками, никогда не знавшие табачной пыли, не будьте строги к Бете и не бросайте в нее камнем. Если же вы и бросите, то да уподобится он пуху или пролетит мимо.

Покончив таким образом благополучно с вопросами о желудке и самоубийстве, Бетя послала брату открытку. Она долго выбирала ее в писчебумажном магазине. На ней был изображен берег «синего-синего» моря и на берегу — пушкинский рыбак. В руках у рыбака были собраны концы сети, в которой билась и извивалась золотая рыбка. Не без умысла выбрала она эту открытку и написала всего несколько слов: «Если тебе когда-нибудь вздумается написать мне, чего, впрочем, я не ожидаю, так как ты, видно, окончательно забыл меня, то вот тебе мой новый адрес — *Кри-*

вая улица[22]».

Бетя послала открытку и забыла о ней.

Однажды вечером, когда она танцевала краковяк, Антонина Ивановна вручила ей письмо. Оно было от брата. Бетя горько усмехнулась. Он так скоро ответил.

«Ради Бога, Бетя, объясни мне немедленно, что это значит? У меня голова кружится. Как ты попала на эту ужасную улицу? Неужели?! Я с ума схожу».

«А очень просто, любезный брат, — ответила она и познакомила его последовательно с историей своего падения. — Я же, — оправдывалась она, — писала тебе, что мне остается одно из двух: или лишить себя жизни, или пойти “сюда”. Почему ты молчал? Почему ты не помог мне? Брат, брат! Если бы ты знал, как мне тяжело, как я страдаю! Какая это ужасная жизнь! Здесь топчут ногами человека. Душу топчут и смеются. Спаси меня! Я на коленях прошу тебя! Мне вчера снилась бабушка. Она была такая злая и проклинала меня. Вчера у меня опять шла кровь из горла. У меня теперь каждый день идет кровь. Возьми меня к себе в Америку. Ты ведь обещал. Я буду

---

[22] Примечания: 22

Знаменитая улица, некогда служившая приютом всех «веселых домов».

тебе рабой, буду мыть твои ноги и пить эту самую грязную воду. Буду нянчить твоих детей, качать их, как собака, стеречь твой дом. Спаси меня, возьми меня!»

Письмо было пропитано слезами, и каждая буква его расплылась от слез.

Ответ получился опять скоро. Брат бранил и винил в ее падении только себя, так как долго не подавал о себе никаких известий. Тем не менее он робко оправдывался. Он долго не писал ей, потому что в мастерской у него произошел пожар и он все время был занят ремонтом. Он называл ее ласкательными именами — Бетичкой, Бетеночкой и Бетюсенькой. Молил у нее прощения и обещал в самое короткое время взять ее в Нью-Йорк.

«Не ноги мои, — писал он, — ты будешь мыть и не стеречь дом, а будешь у меня барыней. Я и Сарра (жена) будем ухаживать за тобой, как за маленьким ребенком, наряжать тебя, гулять с тобой в парке, — в Нью-Йорке несколько прекрасных парков, — бывать в театре и любить, как родную. Мы на руках будем носить тебя, и ты забудешь все горести. Вылечишь грудь. В Нью-Йорке великолепные врачи. Мы потом выдадим тебя замуж за хорошего человека. Это ничего, что ты теперь “такая”. Ты ведь — не виновата. Что — тело? Душа

нужна. А у тебя душа — чистая, белая, как русский снег. Пока посылаю тебе 10 долларов и нашу «группу». На этой группе сняты — я, моя жена, две дочери — Аннет и Юдифь, а у ног — сыновья: Боби, Панах, Вильгельм, Джон, Нафтуле и Коцебу (на руках у няни). Все дети — послушны, читают хорошо и пишут. Боби играет хорошо на скрипке, а Аннет вышивает гладью».

Бетя клялась в тот день перед всеми со слезами на глазах, что это — первый радостный день в ее жизни и что она теперь может спокойно умереть. Она ни на минуту не расставалась с карточкой, целовала ее и часто восклицала, не веря своим глазам: «Да неужели это Самуил?!»

Она помнила Самуила щуплым, зеленым мальчиком — «крыжовником», как называли его мальчишки, а теперь перед нею был плотный мужчина, настоящий джентльмен с самодовольной смеющейся физиономией, затянутый в превосходный сюртук, в цилиндре и с бородкой «буланже». Он сидел в кресле, как президент Соединенных Штатов, обняв правой рукой Сарру — даму вдвое толще его, с двойным подбородком, в шелковом платье и с громадной брошью, — и их обоих окружали сытые, здоровые и богато одетые дети и глядели на Бетю бойкими и весе-

лыми глазами. В углу стояла обезьяноподобная няня-негритянка и держала на руках годовалого Коцебу, который ухмылялся во весь рот.

Бетя по целым дням носилась с картонкой, в сотый раз показывала ее подругам и хвасталась:

— Это мой брат, а это его жена и дети. Правда, он красавец? А какой он богатый. У него самый большой магазин в Нью-Йорке.

Со дня получения последнего письма и карточки прошло несколько недель. Бетя считала часы и минуты и все время находилась в лихорадочном состоянии. Чуть звякнет звонок, она летит в коридор и смотрит — не пришел ли почтальон и не принес ли ей радостную весть о том, чтобы собираться в путь? А она совсем была готова к отъезду. Под кроватью давно стоял сундучок с самыми необходимыми предметами, перевязанный веревкой. И каждую ночь ей снился бушующий океан и длинный высокий корабль, который несет ее к брату, к месту отдыха.

Бетя осунулась и не раз после частых и напрасных заглядываний в коридор бросалась на подушки, заливалась слезами и спрашивала: «Когда же? Когда же наконец я отдохну?»

«Подожди немного», — отвечал чей-то ласковый голос…

Прошла еще неделя. Бетю после той памятной ночи, когда она во время исступленной пляски, в которой выплясывала все свое горе, упала, обливаясь кровью, отвезли в больницу.

И так она не дождалась письма…

Надя, припомнив все эти подробности, стала торопиться еще больше.

Одевшись, она вышла на улицу и направилась к больнице.

В больнице как раз был приемный день, и по этому случаю у ворот, во дворе, коридорах и палатах толпилась масса народу.

Бетя лежала в инфекционном отделении в конце сада, в котором, пригретые ярким солнцем, весело шумели и возились воробьи.

Надя недолго искала Бетю. Она лежала в маленькой угловой палате на койке. Всех больных в этой палате было шесть — две старухи с безжизненными глазами и пергаментными лицами, пожилая женщина, возле которой стоял высокий черный еврей в засаленном лапсердаке с большим коробом у ног, девочка лет 13 с маленьким, беленьким, как пасхальное яичко, личиком, обложенным густыми, мягкими, темно-русыми волосами, очень похожая на Ганнеле Гауптмана — она сидела на матраце и большими, печальны-

ми глазами глядела в широко раскрытую дверь, в которой толкались посетители, и на личике ее было написано ожидание, — и еще одна, накрытая с головой теплым одеялом. Шестой больной не видно было, так как перед ее кроватью стояли зеленые ширмы. Из-за ширм доносилось тихое клокотание. Казалось, что там стоит очажок, а на очажке — чайник, и в нем клокочет вода.

Палата освещалась двумя большими окнами, в которые лилось растопленное золото весеннего дня и заглядывали голубое небо с белыми облачками и акации.

Бетя была неузнаваема. Голова ее была острижена, как у мальчика, лицо вытянуто, и вся она, в белой кофточке, под белым, как снег, одеялом, на белых подушках, была белая-белая. Как из снега вылеплена.

Бетя первая узнала Надю и слабо поманила ее сильно исхудавшей рукой. Надя хотела поцеловать ее, но она воспротивилась:

— Ты еще заразишься.

— Ну так что ж? — ответила Надя и села возле нее на постель.

— А я думала, — улыбнулась Бетя, — что ты забыла меня.

— Никогда. Хочешь апельсины? — спросила

Надя и положила перед нею узелок с четырьмя крупными апельсинами, купленными ею по дороге.

Бетя поблагодарила ее.

— Ну, как чувствуешь себя? — спросила Надя.

— Немного лучше, — ответила Бетя медленно и с расстановкой. Ей трудно было говорить. — Кашель перестал мучить, и крови теперь меньше. Я два дня подряд лед глотала.

— Может быть, тебе приказано не говорить? — перебила ее Надя.

— Да… Но ничего. А хорошо здесь, Наденька. — И на впалых щеках ее выступила краска. — Как в раю. Кормят, ухаживают. Я бы никогда не ушла отсюда. — Краска вдруг сбежала с ее лица, и она испуганно прошептала: — Неужели придется возвращаться назад, туда? Опять пудриться, выходить в зал, танцевать. Боже! — И она закрыла руками глаза. — Как поживает Василиса? — спросила она потом, отнимая от глаз руки.

— Играет по-прежнему на своей гармонике, воркует, как горлинка, и за свою деревню вспоминает.

— А Чешка?

— Все плачет.

— А Роза-цыганка?

— Зла на всех, как волк.

— А Вун-Чхи?!

— Вот за него не скажу. Не видать его что-то. Говорят, сильно закутил с какой-то француженкой.

— Ну, а ты, Надя?

— И охота тебе спрашивать? — Надя махнула рукой и отвернула голову.

Настало молчание. Бетя посмотрела в окно, покачала головой и протянула тоскливо:

— Весна уже. Как солнце светит! Сегодня я уже муху видела. Большую такую, зеленую. А ты, Надя, не видела Клару Ильинишну? — спросила, оживившись, Бетя.

— Кто она?

— Ангел.

— Кто? — Наде показалось, что она ослышалась.

— Ангел, — повторила Бетя. — Если бы ты видела ее. Она — настоящий ангел. Таких можно видеть только во сне. А может быть, я во сне ее и видела? Но нет, она здесь. Постой.

Бетя приподнялась на постели, присела и тихо позвала больничную коренастую служанку, вытиравшую в углу посуду:

— Маланья!

— Что? — отозвалась она.

— Где Клара Ильинишна?

— В 7-й палате. Сейчас они будут здесь.

Бетя опустилась на подушки и сказала:

— Она скоро будет.

— Да кто она? — спросила, все еще недоумевая, Надя.

— Сестра милосердия. Ах, какая она славная, добрая. Она с неба пришла. Такие на земле не родятся. Она по ночам не спит, дает нам лекарства, утешает и никогда не сердится на нас. Вчера у меня была нехорошая ночь. В 3 часа ночи вдруг кровь пошла горлом. Я думаю, что умираю. Понимаешь, кровь бьет, как из крана. Я стала кричать. Она услышала, — комната ее рядом с палатой, — вскочила с постели и прибежала ко мне в одной сорочке, без туфель. «Что с вами?» — спрашивает, а у самой руки и ноги дрожат. Целый час она возилась со мной, давала мне глотать лед, вытирала рукой пот, успокаивала. Она даже не замечала, как я обливала ее кровью. Вся сорочка ее была в крови и прилипла к телу. Когда дежурный врач пришел и увидел ее, то схватился за голову. «Клара Ильинишна! Что вы делаете?! Вы хотите заразиться?! Посмотрите — вся ваша сорочка в крови!» А она улыбнулась и отвечает: «Право, мне ничего, доктор, не будет. Я сейчас

смою кровь». Но она не пошла смывать крови до тех пор, пока не уложила меня, не укрыла и не поцеловала в лоб.

Надя слушала ее с изумлением.

— А как она интересовалась за нашу жизнь, — продолжала Бетя. — Я все рассказала ей. Она слушала, и на глазах у нее все время стояли слезы. Когда у нее есть время, она читает мне книги. Вчера она прочитала мне «Хозяин и работник». Вот славная книга. Там — одно хорошее место, где хозяин согревает своего работника. Я просила Клару Ильинишну два раза прочитать мне это место.

Надя слушала Бетю и изредка поглядывала на девочку с личиком, как пасхальное яичко. Девочка по-прежнему, не изменяя позы, сидела на койке и смотрела на дверь.

— Кто она? — спросила Надя и указала на нее Бете.

— Лидочка, — ответила Бетя с особой нежностью. — Бедная девочка. Она вторую неделю ждет мать. А мать не идет.

— Почему так?

— Потому, что та очень занята. Она в меблированных комнатах за нумерантку служит и целый день занята. 20 номеров убирает. А с

Лидочкой вот какая история. В позапрошлом месяце мать повела ее к одной мадам и говорит: «Сколько возьмете за ее обучение?» — 50 рублей. — А вы утруждать ее тяжелыми работами не будете? — Как можно! — Пожалуйста. Она у меня — слабенькая. — Я ее только за «прикладом» в галантерейный магазин посылать буду. — Вот хорошо. А долго ей учиться надо? — Три года. — А можно сейчас только 25 руб. дать? — Если у вас больше нет, — давайте. — Она отдала последние деньги и заключила форменный контракт. Не прошел и месяц, как мадам, вместо того чтобы посылать Лидочку за прикладом, стала посылать ее в погреб с большим ведром за углем — это с четвертого этажа, — заставляла ее печи растапливать, колоть дрова и утюги раздувать. Знаешь, есть такие утюги, в которые кладут уголь. Лидочка рассказывала мне, что в последнюю неделю она с утра до вечера раздувала утюги ртом, как мехом. Она этим и попортила себе сильно сердечко.

У Нади навернулись слезы, и она спросила:

— Можно дать ей апельсин?

— Пожалуйста. Она рада будет.

Надя выбрала апельсин покрупнее и поднесла его Лидочке.

— Кушай, милочка, — сказала она.

Лидочка молча приняла апельсин, тихо поблагодарила, поднесла его ко рту и стала медленно грызть корку. Надя возвратилась к Бете и спросила:

— А кто лежит за ширмами?

— Лиза. Несчастная. Ей всего 18 лет. Она работала на фабрике готового платья и кормила слепую мать-старушку, двух братишек и сестричку. Слышишь, как она задыхается? Она умирает. И что теперь будут делать мать, братишки и сестричка? Она кормила их. Она зарабатывала 14 рублей и все деньги тратила на них. Вот была вчера сцена! Она просила, чтобы ей принесли с фабрики жилетку, которую не успела окончить. А надо было тебе видеть, как она плакала перед Кларой Ильинишной и говорила ей, что ей непременно надо жить, что она должна жить и, что если она умрет, то дети и мать пропадут. Клара Ильинишна уверяла ее, что она не умрет и выздоровеет. — Но у меня — чахотка, — заплакала она. — Никакой у тебя чахотки нет, — ответила Клара Ильинишна. Лиза обрадовалась и говорит: — Честное слово, барышня? — Честное слово. — Ну, докажите, что у меня нет чахотки. — А как я могу доказать тебе? — Поцелуйте меня в губы. — Клара

Ильинишна побледнела, вот как эта стена, и сказала: — Изволь. — И поцеловала три раза в губы. — Теперь, — спрашивает она, — ты довольна? Веришь, что у тебя нет чахотки? — Верю, верю! — закричала Лиза и повеселела. Клара Ильинишна улыбнулась. Я посмотрела на нее. Лицо у нее было тогда такое хорошее, светлое, новое… Только Клара Ильинишна сказала ей неправду. Лиза должна умереть. У нее — скоротечная чахотка. Слышишь?

Лиза теперь хрипела, и с каждой минутой хрипение становилось все тише и тише.

В это время в палату вошла высокая, стройная молодая девушка в белом халате и чепце, из-под которого выбивались на круглый высокий лоб без единой морщинки два круглых островка светлых волос. Под ними, как два цветка, приютились большие голубые и ясные глаза. Лицо было у нее продолговатое, овальное и нежное, как у молодой монахини, сидящей за органом в монастыре, или у ангела на картине у изголовья умирающего композитора. На груди у нее, как голубок, сидел белый, пышный хризантем и своими красивыми завитками касался ее прелестного подбородка. Она вошла неслышно, скорыми шагами, красивая, как весна, и в палате сделалось

вдвое светлее.

— Это Клара Ильинишна, — сказала Бетя.

Надя восторженными глазами посмотрела на нее[23].

Клара Ильинишна слегка кивнула Бете головой и улыбнулась, потрепала по головке Лидочку, поправила соскользнувшее со старухи одеяло и скрылась за ширмами.

Она несколько минут оставалась там, и слышно было, как она возится. Но вот она оставила ширмы и показала свое лицо. Лицо у нее теперь было печальное и задернуто легким облачком. А на лбу вырезалась длинная морщинка. Бетя посмотрела на нее вопросительно. Клара Ильинишна вздохнула и тихо проговорила:

— Умерла наша Лиза.

Из правого глаза ее выкатилась слезинка.

Надя, услышав это, побледнела и перекрестилась. Лидочка перестала грызть апельсин и посмотрела на Клару Ильинишну с испугом, а Бетя всхлипнула.

Клара Ильинишна украдкой смахнула слезин-

---

[23] Примечания: 23

Я не могу отказать себе в удовольствии заявить читателю, что тип этой сестры милосердия — не плод фантазии, а действительный. Я писал его с натуры. Пять лет эта прекрасная девушка служила утешением больных и была настоящей сестрой. *К-н.*

ку, подошла к Бете и ласково сказала:

— Дорогая, вам пора лекарство.

— Барышня, — проговорила сквозь слезы Бетя.

— Что?

— Я тоже умру.

— Вы? — сделала изумленное лицо Клара Ильинишна. — О, нет. Вы еще долго будете жить. Вы меня переживете.

— А вы то же говорили Лизе.

— Лиза одно, а вы — другое.

— Но у меня тоже чахотка.

— Ну так что ж? Сколько выздоравливают.

Бетя недоверчиво покачала головой, нахмурила брови и заявила:

— Я не боюсь смерти. Я даже хочу поскорее умереть.

— А вот увидите, что не умрете так скоро. — И Клара Ильинишна поднесла ей лекарство.

Бетя приняла его, поморщилась и сказала, указав на Надю:

— Это моя подруга — Надя. Та, о которой я говорила вам.

— А! — Клара Ильинишна протянула Наде руку и посмотрела на нее с любопытством.

Надя вспыхнула и с каким-то благоговением пожала ее руку. Вдруг Надя спохватилась, и у нее

вырвалось громкое «ах!».

— Что такое? — спросила Бетя.

— Я так виновата перед тобой, Бетичка, — забормотала Надя и стала шарить в кармане. Она отыскала письмо и подала ей.

— Письмо?! — воскликнула Бетя и вскочила.

Ее точно подбросило.

— Да, письмо, от брата…

Не успела Надя договорить, как Бетя стремительно, дрожащими руками вырвала у нее письмо и вскрыла его. Из конверта вылетело на одеяло коротенькое еврейское письмецо и какая-то плотная, глянцевитая печатная бумага, сложенная вчетверо.

— Schiffskarte![24] — вскрикнула она и быстро подобрала бумагу, точно боясь, чтобы ее не отняли у нее. Она затем поднесла ее к губам и прильнула к ней.

Бетя не ошиблась. Эта была точно давно ожидаемая Schiffskarte. В приложенном письмеце брат писал:

«Посылаю тебе билет от Гамбурга до С.-Луи. До Гамбурга будешь ехать железной дорогой. Завтра получишь на проезд по железной дороге деньги.

---

[24] Примечания: 24
Пароходный билет.

Выезжай немедленно. Я, жена и дети ждем тебя с нетерпением. Мы для тебя приготовили хорошую, светлую комнату».

У Бети градом хлынули слезы. Она подняла глаза к небу, сложила руки и застыла на несколько минут в такой позе. Губы ее в это время шептали молитву. Окончив молитву, она схватила руку Клары Ильинишны, стала горячо целовать ее и лепетать, задыхаясь от волнения:

— Я не хочу теперь умирать. Я хочу жить. Дорогая барышня, сестриценька. Мне немедленно надо ехать в Нью-Йорк. Выпишите меня сейчас же из больницы. Мне надо собираться. Ах, как я счастлива. Где мое платье?! Дайте мне мое платье! Маланья! Видишь, — обратилась она к Наде, не выпуская руки Клары Ильинишны, — какой мой брат — честный, славный? Дорогой Самуил. А помнишь, Надя, слова Вун-Чхи: «Подожди немного, отдохнешь и ты». Всякому — свое время. Мы все, все отдохнем. Чего же вы молчите, дорогая барышня, сестриценька? Выпишите меня сейчас.

Клара Ильинишна слушала и молчала. И по мере того, как росло волнение Бети, лицо ее затуманивалось все больше и больше. Она обняла Бетю, поцеловала ее в голову и сказала:

— Деточка. Я не могу вас выписать без врача. Я

не имею права.

— Как же будет? — стала Бетя ломать в отчаянии руки.

— Обождите до вечера.

— Ах, как долго ждать…

Сильное волнение утомило Бетю. Силы покинули ее, и она упала на подушки бледная, измученная.

Со двора донесся звонок. Привратник извещал посетителей о конце приема.

Надя встала и попрощалась с Бетей и Кларой Ильинишной.

Бетя провожала ее глазами до дверей и, когда та скрылась, натянула на себя одеяло и глухо зарыдала.

……
……

К вечеру Бете сделалось плохо, и она умерла, крепко прижимая к груди Schiffskarte. Клара Ильинишна закрыла ей глаза и хотела вынуть из ее посиневших пальцев Schiffskarte, но не могла. Бетя крепко держала ее и даже мертвая не хотела расстаться с ним.

Клара Ильинишна махнула рукой, и Бетю отправили вместе с kart'ой в мертвецкую.

На следующее утро ее похоронили.

Мир праху твоему, Бетя, и да дарует тебе, наконец, Бог желанный покой и отдых! Ты заслужила их.

XXVIII. У реки Вавилонской

8 часов вечера.

В зале неуютно. Горит только один рожок, и все предметы кажутся бледными, расплывчатыми.

Ни одного «гостя». Впрочем — неудивительно. Рано. Страсть в образе пьяного зверя и буйной гетеры спит еще. Но скоро она проснется, и хлынут сюда из всех частей города мутные волны прекрасных молодых людей с бегающими глазами и пылающими губами. И в ожидании их девушки, как всегда, наряженные и накрашенные, прохаживаются по залу.

Скучно, тоскливо! На дворе хлещет дождь, и ветер с ожесточением рвет оконные рамы. В полуоткрытые окна глядит тьма.

Девушки не прохаживаются, а мечутся, как звери в клетке, и лица у них злые, угрюмые. Они избегают говорить друг с дружкой, и каждая думает о чем-то под шум дождя и вой ветра.

Сильнее всех мечется Чешка.

Видали ли вы когда-нибудь в зверинце тигрицу? Она ни секунды не постоит на месте. Вертится колесом и маячит перед вами, как маятник.

Чешка похожа сейчас на тигрицу.

Сегодня день годовщины смерти ее возлюбленного, Яна. Она хотела остаться у себя в комнате, зажечь свечи перед его портретом и, глядя на него, на его славное лицо, предаться воспоминаниям об их счастливой и беспечной жизни. Но Антонина Ивановна не разрешила ей.

Ужасный вечер! Это один из тех вечеров, когда всех обитательниц этого дома охватывает безумная тоска, страх перед будущим, раскаяние, и из темных углов выплывают картины детства и милые образы — отца, матери, сестер и братьев. Пытка!

«Хоть бы скорее, — думает каждая, — пришли гости. Они внесли бы новую струю, и отлегло бы от сердца».

Но гости не идут. А дождь все хлещет да хлещет, ветер яростнее рвет ставни, и Макс в грязном пиджаке, помятом котелке и со своим неизменным флюсом в углу в тени наигрывает на рояле pianissimo какой-то ноющий романс.

— Эх! Тосковать так тосковать! — воскликнула Катя и обратилась к Максу: — Играй, пожалуйста, «Разлуку».

— «Разлуку»! «Разлуку!» — подхватили несколько голосов.

Макс мотнул головой и заиграл столь близкую

страдающей душе проститутки — «Разлуку».

Убийственный мотив! Если внести его в разгар какого угодно празднества, бьющий фонтаном смех обязательно умолкнет, искры в глазах потухнут, рука, подносящая бокал с нектаром, повиснет, уста сомкнутся, и голова поникнет…

Кто-то прощался с кем-то, рыдал на груди, давился слезами, а рядом — заливались бубенчики, горячие кони храпели, коренной рыл копытом землю, ямщик — лихой парень в шапке с павлиньим пером — с трудом сдерживал их. Ну и кони! Не кони, а ветры буйные-залетные, что гуляют по степи! Но вот ямщик гикнул, опустил вожжи, кони понеслись, засверкали спицы и слились в четыре солнца, взвилось серое облако, и на том месте, где стояла тройка, лежала женщина вся в черном и билась в истерике.

Эта тройка — все. И молодость, и надежды, и вера, золотые сны, покой, счастье, радость, семейный уют, близкие…

Где теперь эта тройка?! Где?! Где?!

Девушки заметались сильнее в своей клетке, кто-то заломал руками, и звонко хрустнули пальцы, а в темном углу у окна послышалось глухое рыдание.

Вдруг кто-то сорвался с кушетки. Это сорвалась

Матросский Свисток. В ней нельзя было теперь узнать прежнюю веселую и игривую Лелю. Она была само отчаяние.

— Да перестаньте, дьяволы! — крикнула она истерично и ругнула девушек по-площадному. — Как в воду опущенные ходят! Точно мертвец в комнате! Эй, ты! Иерусалимский дворянин! Брось «Разлуку», а не то задушу тебя!

Макс бросил «Разлуку» и заиграл еще более тоскливый мотив собственной композиции. Вун-Чхи называл этот мотив иеремиадой, и когда тот заводил его, он красиво мелодекламировал:

У реки Вавилонской мы сидели и плакали.

— Сима! — глухо позвала Катя.

Сима сидела у зеркала и дремала.

— Что? — спросила она, подняв отяжелевшие веки.

— Расскажи, как хоронили Бетю.

— Да что тут рассказывать… Ну, вынесли ее из больницы. Гроб деревянный, белый, с большой трещиной. Понесли ее на новое кладбище, опустили в яму и засыпали.

— А яма глибокая?

— А тебе на что?

— Так.

— Вун-Чхи, говорят, был?! — отозвалась Тоска.

— Да! Пришел как раз, когда засыпали ее, пьяный. Упал на могилу, бил себя в грудь и кричал: «Святая! Злосчастная дщерь Иерусалима! Иорданский цветок! Сестра моя! Кланяюсь всему человеческому страданию!»

— Хороший он человек!

— Душевный!

Наступило молчание, и слышно было только, как скрипит и гнется под ногами девушек зеркальный паркет, шлепанье по лужам на улице дождя, сдавленные вздохи, отрывистые слова и иеремиада Макса.

— Когда мы проходили по Преображенской с гробом, — протянула сонно Сима, — какой-то извозчик, красный такой, толстый кацап смеялся и тыкал в меня и Розу кнутом.

— С……! — выругалась Катя.

И снова водворилось молчание.

Макс совершенно поддался общему настроению, и иеремиада его становилась все тоскливее и тоскливее.

И он — этот смешной на вид человек, всегда ко всему равнодушный — тоже тосковал. И у него когда-то была своя тройка. Он мечтал о консерватории, славе. Ему снились Рубинштейн,

Падеревский.

А чем он кончил? Тапером. И где? В публичном доме.

Его окружают жалкие проститутки. Им командует гнусная хозяйка и экономка. Над ним издеваются и передразнивают его пьяные гости, ему швыряют двугривенные, и он должен играть одну и ту же «болгарскую». А когда-то ведь он разбирал девятую симфонию Шопена.

Вун-Чхи говорил ему часто:

— Напрасно, Макс, вы пошли сюда. У вас есть огонек.

Напрасно, напрасно! Эти слова вызывали в нем желчь. Что же осталось ему делать? У него на шее висели — мать, сестра и братья…

Рояль плакал под огрубевшими пальцами Макса, и по вздутой флюсом щеке его медленно катились слезы.

Макс вспомнил, сколько огорчений принесла ему его проклятая профессия. Все родственники отшатнулись от него, как от зачумленного, порвали с ним всякие сношения и не хотели даже признаваться ему.

Вчера он встретился на улице с родным братом, дочерью его — красивой барыней и ее мужем-аптекарем. Он поклонился им, но они отвернули

головы и обидно прошли мимо.

Да не только родственники чуждаются его, но и посторонние.

Никто не бывает у него, и когда он проходит через двор, соседи указывают на него пальцами и ухмыляются. А сегодня соседка, ссорясь с его женой, крикнула ей:

— Чего ты задаешься?! Твой муж играет в публичном доме!

Срам! Как быть?! Подрастает Лиза — дочь его. Ей 14 лет. Она скоро окончит гимназию. Что будет, если она узнает о его профессии? Она пока не знает еще ничего…

— Эй, Чешка! — нарушил снова молчание чей-то сиплый голос.

— Что? — спросила та устало.

— В этот самый день, говоришь, умер твой Ян?

— Да!

— Ставь могарыч!

— Как тебе не стыдно? — сказала Тоска.

— Чего стыдно?!..

Девушки, утомившись беганьем по залу, расселись вдоль стен, и каждая ушла еще глубже в свои невеселые думы. А Макс не переставал ныть на рояле «У реки Вавилонской мы сидели и плакали», дождь хлестать и ветер с ожесточением

рвать ставни. Василиса думала о своей родной деревне и избе Терентия, возле которой по вечерам под звездным небом она собиралась со своими веселыми подругами и складывала свои бойкие стихи, Катя — о том, что хозяйка скоро «выхильчает» ее из своего дома и ей придется спуститься этажом ниже, Роза-цыганка — о широких, как океан, степях и палатках, в которых весело звенит наковальня, Ксюра — о своем добром муже, которого она бросила, Надя — о родном Днестре, дяде Степане — охотничке милом и диких утках, Чешка — о своем незабвенном Яне, Матросский Свисток — о грузине, который приходил к ней, когда она жила у Дудихи, гладил ее руку и напевал страстно «чиреме даукар». И всем хотелось кричать, реветь и ломать все, что находилось в зале.

Дзинь! — зазвенел стул, брошенный с размаху на середину зала цыганкой Розой…

И таких вечеров в этом доме было много. 365 в течение года…

Милая веселая молодежь! Видала ли ты когда-нибудь, как тоскует и плачет проститутка?! Никогда!

Ты видела ее только веселой и жизнерадостной.

……

.....

После описанного вечера ночью произошло незначительное событие. Чешка отравилась.

XXIX. Лорелея

— Бабушка Юлия пришла! — услышала однажды Надя звонкий голос Матросского Свистка.

— Бабушка Юлия пришла! Бабушка Юлия! — повторили за нею еще несколько девушек.

Это было в 5 часов вечера. Надя сидела у себя в комнате. У нее сильно болела голова после вчерашней выпивки.

Вслед за голосами Надя услышала, как повсюду с шумом распахиваются двери и как девушки сломя голову бегут во двор.

Надя высунулась в окно и увидала отвратительную старушонку — типичную Бабу-ягу. Она сидела на корточках вся в лохмотьях у черного хода рядом с большим мешком, возле которого лежала копачка (железный крюк), и ее окружало около 20 полуодетых девушек. Старушонка, поглядывая на них своими маленькими припухшими глазками без ресниц, мотала головой, и выкрикивала что-то хриплым голосом, похожим на вой простуженного пса, и указывала рукой на запад.

Девушки слушали ее молча и серьезно.

Сцена эта заинтересовала Надю, и она отправи-

лась за объяснением к Саше. Саша лежала у себя в комнате на кровати. У нее также болела голова. Она пила вчера вместе с Надей.

— Кто эта старушонка? — спросила Надя. — Все окружили ее, а она что-то рассказывает.

— А! — зевнула Саша. — Бабушка Юлия. Она часто приходит сюда.

— Я знаю, что ее бабушкой Юлией зовут. Но кто она?

— Бывшая проститутка. Она 20 лет тому назад жила у нас. А теперь она живет в «ботанике» и кости, и тряпки собирает.

— Какой это ботаник?

— Сад такой, за Куликовым полем. Когда проститутка делается старой и ей деться негде, она идет туда. Спит под кустами.

— Чего же она кричит?

— Ругается. Каркает старая, как ворона.

— А я хотела бы послушать ее.

— Ступай.

Надя оставила комнату, сошла вниз и присоединилась к окружавшим старушонку девушкам.

Вблизи старушонка выглядела еще отвратительнее. Глаза у нее были красные, как раскаленное железо, лицо усеяно прыщами, и вместо носа зияла дыра. Она хрипела с каким-то зло-

радством:

— Все, все там будете! И ты, красавица, — обратилась она к Надежде Николаевне. — И ты, — обратилась она затем к Тоске. — Никто не минет ботаника. А пока пляшите! Я тоже когда-то плясала. Ух, как плясала! И красивая была. Красивее тебя. — Она указала на Тоску. — Какие у меня были волосы и зубы! Студенты называли меня «Лорелеей». А ты знаешь, кто была Лорелея? Принцесса. Король-дядя ее осерчал однажды и посадил ее посередь реки на острове. И она сидела на нем, чесала золотым гребнем волосы и пела жалобные песни.

Надежда Николаевна улыбнулась.

— Чего ты улыбаешься? — напустилась на нее старушонка. — Не веришь? Спроси хозяйку. Она помнит. А какие у меня были губы! Красные-красные, как кровь. Сама бы поцеловала их с удовольствием. Вот какие они были красные. А ты, цыганское отродье, — напустилась она теперь на Розу, — чего зубы скалишь?! Погоди! Придет старость! Облысеешь, выпадут твои сахарные зубы и пожалуешь к нам, в ботаник. Все, все там будете! У!.. А страшно там! — Юлия съежилась и сделала испуганное лицо. — Земля по ночам стонет, черти в кустах возятся, ящерицы снуют,

совы летают. И холодно там. Как в могиле. А ты кто? — обратилась она к Елене. — Новенькая, вижу. Совсем девочка. И чего ты, дурная, сюда пришла? Жизни сладкой захотела? Киселя с молоком, колечек да финтифлюшек?! Погоди! Будет тебе кисель с молоком!.. Бррр! А я вчера всю ночь не могла уснуть. Дождь лил. Я вся промокла… А! Катя! Здорово! Живешь еще?! Постой! Сколько я тебя знаю!? Кажись, 20 лет. Когда я выхильчилась (выкинулась) отсюда, ты только поступила. Помню, какая ты тогда свеженькая была. Как абрикос. А теперь? У, да как ты поседела! Ха-ха-ха! Полголовы седая. Когда же ты пожалуешь ко мне?! Я под седьмым кустом живу. Спросишь ящерицу. Она покажет тебе. А скоро-скоро хозяйка турнет тебя и скажет — «гейвек»!.. А! Василиса! А ты как поживаешь? А ты, Лелька?! А ты Сима?! Слышала, что Бетю похоронили. Жаль! Ну, да ей теперь лучше. А сколько я позавчера страху набралась! Батеньки вы мои! Возвратилась я, значит, домой, в ботаник, вечером и отправляюсь к кустам. Иду, и вдруг натыкаюсь на что-то. Нагинаюсь и вижу — человек. Голова у него разбита, и не дышит он. Обобрали его душегубы. А в ботанике страсть сколько душегубов. Хотела дать знать сторожу, да ноги ни с места. И я всю ночь пролежала с ним

рядом. Лежу и трясусь. А где та, что зазналась больно? Антонина Ивановна! Помню, как мы с нею вместе болгарскую плясали. Кланяйтесь ей и скажите, пусть припасет мешок и копачку[25]. А я сегодня, деточки вы мои милые, ни одной копеечки не заработала. Рылась-рылась по сметникам и ямам и хоть бы одну тряпочку, хоть бы одну косточку выудила! Деточки! Не режется ли у вас на шкал (нельзя ли у вас раздобыть на шкалик водки)? Страсть, как холодно мне. Лед в жилах! У! У! — И она посмотрела умоляюще на девушек.

— Леля, — сказала Сима. — У меня в комнате на окне стоит водка. Притащи сюда.

Леля бросилась в комнату и притащила бутылку с водкой.

Юлия почти вырвала из ее рук бутылку, в которой болталось несколько шкаликов водки, поднесла к губам и стала тянуть ее с жадностью младенца.

— Спасибо, детоньки мои, — сказала она, вытянув всю водку. — Хорошо, теперь тепло. Как будто кто огнем прохватил меня.

Она замолчала на минуту, обвела своими красными глазами двор, покачала головой и

---

[25] Примечания: 25
Для собирания костей и тряпок.

проговорила:

— Такой, как был, такой и остался. Тот же балкон, та же зеленая крыша, та же лестница, тот же кран. А долго еще простоит этот проклятый дом. Тысячи лет. Как скала! Потому что нужен он. Хе-хе! А много народу съел он! И как вы живете в нем? Я бы боялась. Это не дом, а кладбище. Вон в этой комнате, угловой, зарезалась бритвой Тамара. Вы не помните ее? Вот так красавица была. В той застрелилась Анюта…

— А прошлой неделей Чешка отравилась, — вставила Леля.

— Вот и еще одна… Ох, горе!.. А как хозяйка и Симон поживают? Растят по-прежнему брюха? Горя им мало. Небось, в ботаник не пойдут. Та-та-та! Про Макса совсем забыла. Он-то как поживает? Все еще нажаривает «болгарскую»? Молодец! Вот так топор! А вы спросите-ка у него, как я плясала. Пол трещал. Я и теперь могу «болгарскую» плясать. Расступитесь, красавицы.

Девушки расступились, и Юлия, охая и кряхтя, встала на ноги. Она подобрала потом свою порванную юбку и стала выделывать всякие «па» босыми ногами.

Смешно было. Но никто не улыбнулся даже. Все глядели на нее серьезными глазами, и всем

рисовался страшный ботаник, ящерицы и труп убитого человека.

— Все там будете! Все там будете! — звенело еще в их ушах карканье Юлии.

Сцену эту прекратила хозяйка. Она высунулась из окна и крикнула на весь двор:

— Опять ты тут, старая рогожа! Николай! Выхильчай ее отсюда! Чтоб ее духу не было!

Юлия перестала плясать, стремительно подбежала к своему мешку, вскинула его на плечи, подобрала копачку и пошла к воротам. На полпути она вдруг остановилась, повернула лицо к хозяйке, погрозила ей копачкой и прохрипела:

— Бог тебя накажет! Бог тебя накажет!..

Ну и запьянствовали же после ее ухода девушки! Они выпили пять кварт водки, три дюжины пива и перебили всю посуду в доме.

В пьянстве и битье посуды принимала энергичное участие также и Надя.

XXX. Мутные волны

Надя незаметно из человека с многогранной, чуткой и страдающей душой превратилась в неодушевленный предмет, в товар. И когда она убедилась в этом, ей сделалось страшно.

Зал, куда она выходила вместе с остальными девушками, представлялся ей теперь обширным магазином, товарки — кто ярославским полотном, кто — бархатом, кто — бумазеей, кто — кумачом, молодые люди — покупателями, а Антонина Ивановна — приказчицей.

Покупатели подразделялись девушками на плохих и хороших. Плохими считались господа студенты, потому что они никогда не требовали вина и пива. (Впрочем, им были рады. Они вносили всегда оживление.) А хорошими — подрядчики, артельщики, домовладельцы и конторщики.

«Товар», в свою очередь, подразделялся на плохой и хороший или, вернее — доброкачественный и недоброкачественный. Надя, Елена, Матросский Свисток считались товаром доброкачественным, так как обладали смазливыми лицами и были юны. А остальные — недоброка-

чественным, так как насчитывали за собой не один десяток лет и были некрасивы.

Впрочем, кто разберет покупателя. Одному нравится один ситец, другому — другой. Правильно говорят:

«У каждого свой вкус и манера, один любит арбуз, другой — офицера».

А посему на каждую девушку находился покупатель. Даже на Женю Калмычку с громадными скулами и шафранной физиономией.

Как в каждом первоклассном магазине, здесь не принято было торговаться. Цена была определенная, рупь-целковый, и когда кто-нибудь осмеливался заикнуться, «почему, дескать, так дорого», Антонина Ивановна надувалась индюком и, гремя ключами, заявляла с достоинством:

— У нас prix-fixe, без торгу.

— Скажите, пожалуйста.

— Да-с, мусью. Ежели дешевле желаете, так пожалуйте за угол, на Глухую.

А хозяйка изображала собой купчиху 1-й гильдии. Сидит, подтянув живот, на площадке перед лестницей, пьет чай с вареньем, обливается потом и жалуется:

— 11 часов вечера, а еще почина не было.

— Военное время, — робко вставляет Антонина

Ивановна.

— Это военное время уже в печенках у меня сидит, — откликается божественный Симон.

Бывало так — гости являются, обзирают товар и, морщась, поворачиваются к дверям. Антонина Ивановна в таком случае преграждала им дорогу и спрашивала сладеньким голосом:

— Куда вы, кавалеры? Зашли и повернулись. Так нельзя.

— Товар неподходящий, — отвечал ей кто-то из компании.

— А вы — напрасно. Самый лучший товар. Посмотрите на ту, что сидит у зеркала. Мармелад, а не девочка. — И, прильнув к уху гостя, она таинственно нашептывает: — Вчера только поступила. Вот чтоб мне умереть. Разводка. Полгода с мужем жила. Сбежала от него потому, что он нагайкой стегал ее…

Нет! Вошел покупатель, так его ни за что не выпускали из рук. Такой уж тут завод был. Как на Александровском проспекте.

Товар поступал в полное распоряжение покупателя, а затем снова подкрашивался, подновлялся, принимал прежний благообразный вид и поступал назад в магазин и ждал нового покупателя.

Итак, каждый вечер приходили люди, выби-

рали себе по вкусу товар, и никто из девушек не вправе был отказать кому-либо, буде он — самый антипатичный человек в мире, ацтек или кретин. В противном случае ей грозила «выставка», а дальше — голод и мостовая.

Покупатель обыкновенно поступал так. Станет посреди зала, засунет руки в карманы брюк, котелок или каракулевая шапка сдвинута у него на затылок, и он бесцеремонно обзирает товар. А товар сидит вдоль стен на стульях и ждет, на кого падет выбор.

Вдруг он уставится на одну и мигнет ей глазом. И она вскакивает, поправляет помятое платье и прическу и идет за ним.

Другой поступает иначе. Подойдет к экономке и скажет:

— Нельзя ли позвать вон ту — в бордо-платье?

А третий действует с «подходом». Выбрал кого-нибудь и подсел к ней поближе для того, чтобы рассмотреть — точно ли она вблизи такая, как на расстоянии? — и завел пустяшный разговор:

— Вы ничего не имеете против того, что я сел?

Он хочет подкупить ее своим деликатным обращением.

— Что вы!

— Чего вы не танцуете?

— Не хочу.
— Ну и жарко же у вас.
— Очинно жарко, потому что много народу.
— Тэк-с… А вы какой губернии?
— Екатеринославской.
— Знакомая губерния.

Опротивели Наде эти покупатели. Каждый час — новый. Один — корявый, другой — беззубый, третий — брюнет, четвертый — шатен, пятый — блондин, шестой — артельщик, седьмой — чиновник, восьмой — студент. И она, как голубка, бывало, забьется в самый дальний угол для того, чтобы не заметили ее, и нарочно скривит губы или наморщит нос, чтобы казаться некрасивой.

Но ястребиный глаз покупателя находит ее и тут и поднимает ее с места. И, еле сдерживая бешенство и ругаясь на ходу, она покорно идет за ним, не желая даже поинтересоваться, каков он — брюнет или блондин, с усами или без.

В течение нескольких месяцев у нее перебывало пропасть народу. Как в постоялом дворе. И она не могла припомнить почти ни одной физиономии.

Черт знает что! Как во сне, как в кошмаре! Люди приходили, уходили, что-то говорили ей. Она только чувствовала, что каждый из этих милых

людей уносил с собой частицу ее сил и здоровья и что с каждым днем она хиреет.

В первые дни она поддерживала разговор их.

— Вы давно здесь? — спрашивал один сочувственно.

— Недавно.

— Тяжелая жизнь?

— Очень.

— Отчего вам не выбраться отсюда?

— Если бы были деньги.

— А много надо вам денег для того, чтобы выбраться отсюда?

— Рублей 50.

— Не больше? Гм! А что бы вы сделали на эти деньги?

— Прачешную открыла бы.

— Погодите, как только у меня заведутся лишние деньги, одолжу вам, — заронял он искру надежды в ее душу.

Она проникалась к нему благодарностью и становилась ласковее. И после ухода его она выходила в зал, садилась в угол и мечтала о прачешной.

Она стоит за стойкой в чепце и белом переднике и выдает заказчику белье — крахмаленые юбки, глаженые рубахи и наволоки. У окна стоят

три гладильщика, гладят и напевают какую-то песенку.

А на кухне, на плите кипят три котла с бельем. Юрка ее — в школе, а Коля и Олимпиада гуляют в новеньких платьицах в саду. В час дня они приходят, и она потчевает их кашкой…

Но потом, когда она узнала, что подобные разговоры — не что иное, как стратегическая хитрость со стороны покупателя, — она переставала вступать с ним в разговоры. Хитрость заключалась в том, чтобы задобрить девушку и устранить неловкость и сделать ее ласковее и сообщительнее. Это было необходимо. А то посудите сами! Явился человек в первый раз, чужой, с улицы. На какой прием мог он рассчитывать?

Но, когда покупатель становился назойливым, Надя отвечала ему с преувеличенной грубостью и отрезывала:

— Некогда мне возиться с вами. Возьмите то, зачем пришли, и уходите.

Гость съеживался, виновато улыбался и поскорее убирался, унося воспоминание о ней, как о невоспитанном и грубом существе. А гостю из галереи типов Достоевского, который любил за свой целковый также покопаться в душе проститутки — «как она попала сюда, где ее родные, и то

да се», — она врала в три короба:

— Отец мой — на каторге, мать — воровка, а я сама три раза сидела в арестном доме за то, что двоих подкинула.

И она радовалась при виде, как меняется лицо ее гостя. Она своим враньем парализовала его язык, умеряла его страсти и способности распространяться. А после памятного инцидента на Дерибасовской она окончательно замкнулась и относилась к каждому с нескрываемым презрением.

Надя любила образные сравнения и сравнивала их зал с морским берегом, а город с бушующим морем.

Ежевечерне это бушующее море выбрасывало сюда волны молодежи. Мутные волны.

Молодые люди являлись сюда обыкновенно после сытного ужина где-нибудь на вечеринке, на именинах или свадьбе, разгоряченные пряными яствами, вином и близостью невинных девушек, с которыми они танцевали, играли в фанты, цензуру и вели оживленные беседы об индивидуализме, Горьком и Ницше.

Там, в городе, тщательно прилизанном и корректном, их сдерживала чья-то крепкая рука, а здесь они были свободны, и что-то звериное

проглядывало в их движениях и поступках. Они орали, хохотали, как сумасшедшие, толкали друг друга, плясали омерзительные танцы и обращались с девушками, как с неодушевленными предметами. Они, шутя, заламывали им руки, ударяли их с размаху рукой по плечу, подставляли им ногу, отчего они падали и разбивали себе носы.

Надя однажды не утерпела и крикнула студенту-первокурснику, который больно толкнул ее кулаком в бок:

— Мерзавец! Я деревянная, что ли?!

— А я думал, что деревянная, — ответил он со смехом.

Но гнуснее всего было в обращении гостей с девушками сознание, что они беззащитны и что одно слово, одна жалоба могла лишить их хлеба. А ведь среди гостей были мальчики с мягкими добрыми глазами, студенты, передовая молодежь.

Поведение их объяснялось тем, что они смотрели на женщину исключительно как на материал, как на источник наслаждения.

Нередко сюда являлась компания безусых юношей. Это были только что окончившие гимназисты, новоиспеченные студенты. Они заложили в ломбард свои медали и праздновали

здесь свое вступление в храм науки. Являлись также почтенные мужи с «общественным положением», старцы, господа судейские и всякие кандидаты.

Надя не раз собиралась крикнуть им:

— Безбожники! Слепцы! У кого вы ищете ласк и наслаждений?! — И она с сожалением поглядывала на своих бедных товарок.

Несчастные! Бессонные ночи, табак, пьянство, исступленные пляски, унижения, вечная замкнутость в этом доме, разврат и редкое соприкосновение с солнцем и свежим воздухом разрушили их организм, и каждая из них похожа была на руины.

У одной был порок сердца, у другой — катар кишок, у третьей — сахарная болезнь, у четвертой — чахотка. Иная еле держалась на ногах. Но они бодрились и под слоем румян и белил казались бодрыми и жизнерадостными. И у них, у этих жалких и несчастных созданий, молодежь пила соки. И хоть бы один заглянул в их душу. В душу цыганки Розы, Кати или Нади?!

Им не было дела до их души. Им нужно было только тело…

Дни бежали за днями. Море не успокаивалось, продолжало бурлить и выбрасывать все новые и

новые волны.

Волны плясали, кривлялись, и все больше и больше смыкались над головой Нади.

XXXI. Таинственные исчезновения

Вчера вдруг исчезла из дому Сима. А сегодня — Леля.

Когда пришел постоянный гость Симы Вавило Петрович Пыщик — делопроизводитель одного богоугодного заведения — и осведомился о ней, Антонина Ивановна с приятной улыбкой заявила ему:

— Уехала-с.

— Куда?

— На родину.

— Чего?

— По родным соскучилась.

— А скоро она вернется?

— Может быть, через неделю, а может быть, через месяц.

Точно такой же ответ был дан студенту юридического факультета Аполлону Ивановичу Узкобрюкову.

Вначале Надю поражали эти таинственные исчезновения. Сегодня исчезла одна, завтра — другая, послезавтра — третья. Но потом она перестала поражаться.

Эти исчезновения были весьма естественны.

Дураки гости! Они верили выдумкам Антонины Ивановны.

Если бы они полюбопытствовали заглянуть на окраину города, в третье отделение городской больницы, где лежат женщины и лечатся от сифилиса и других болезней, то они увидали бы там своих знакомых — и Симу, и Лелю, и других. И какая девушка не побывала там? Все. Некоторые даже по два и по три раза, а Катя семь раз.

Нечего поэтому удивляться, что Катя была в совершенстве знакома с обстановкой и со всеми углами этого отделения, с его режимом, врачами и сестрицами. Она знала наизусть почти все тамошние песни и часто мурлыкала их под нос:

I

Вечер вечереет,
Пробочницы идут,
А мою Устю
У больницу везут.

II

А в больнице я лежу,
Головой качаю.
Приди, милый, дорогой,
За тобой скучаю.

А в больнице я лежу
На железной койке,
Получаю я в неделю
Там по две наколки.
А в больнице две сестрицы,
У них — серы формы,
Ах, как надоели
Мне эти иодоформы.
А в больнице два врача,
У них черны брюки.
Ах, как мне надоели
Докторские руки.
А в больнице под окном
Выросла мята,
Саша — ципа, Саша — дура
Сама виновата.
А в больнице я лежу
На белой постели.
Выпишите меня, доктор,
Хоть на той неделе.
А в больнице под окном
Выросла вишня.
Милый ждет мой не дождется,
Чтобы я вышла…

Надя, слушая эти песни, бледнела и спрашивала себя:

«А когда меня повезут *туда?* Неужели сегодня?» И она рисовала себе, как на другой день является ее частый гость Иван Николаевич Запупырин и спрашивает:

— Где Надя?

— На родину, паспорт выправить поехала, — отвечает Антонина Ивановна.

Ее занимал также вопрос — кто послужит причиной ее отъезда «на родину», и она вглядывалась в толпу беснующейся публики и останавливалась то на студенте, то на прапорщике.

— Надя! Ступай сюда! — раздавался неожиданно голос Антонины Ивановны.

Надя вскакивала и сталкивалась лицом к лицу с каким-то субъектом.

«Неужели он?» — и Надя вздрагивала и менялась в лице.

Боязнь «уехать на родину» до того обострилась у нее, что она осунулась до неузнаваемости. А между тем болезни, пугавшие ее, как будто не замечали ее и проходили мимо. Они поражали то одну, то другую, а ее щадили. В течение короткого времени они поразили Розу, Ксюру, Тоску, Надежду Николаевну.

Дом на время пустел, но потом снова пополнялся.

Как в песочных часах песок переливается из одной клетки в другую, так девушки переливались из этого дома в III-е отделение и обратно. Они возвращались, плясали некоторое время и снова исчезали.

И вот, наконец, настала очередь Нади!

Однажды утром двери дома раскрылись, и она вышла на улицу вся в черном, в сопровождении Василисы. Василиса кликнула извозчика, и они уселись в дрожки.

— Куда изволите? — спросил извозчик — хитрый орловец.

— В III-е отделение, — сказала Василиса. — Знаешь?

Как не знать? — ухмыльнулся извозчик. — Да я — тутошний. Сколько народу возил туда. И вас, барышня, возил. Забыли? — Он осклабился и дернул вожжи…

Заключение

Всю эту историю, историю Нади с Днестра, я передаю с ее слов.

Я познакомился с нею в Массовском приюте.

Когда я познакомился с нею, в ней никто не узнал бы ту Надю, которая приехала в город на заработки — краснощекую и полную сил; ту красивую дикую утку, которая залетела к нам с Днестра, из плавень.

Город обломал ей крылья и выщипал у нее все перья. И передо мной сидела жалкая развалина.

Много еще интересного и ужасного рассказала она мне из своей дальнейшей жизни, но об остальном когда-нибудь в другой раз…

Приложения

Проснитесь!

(Доброе слово к обитательницам «веселых домов» и «одиночкам»)

Слушайте!

Люди невежественные, люди черствые, грубые и бездушные называют вас *живым товаром, падшими, проститутками* и бросают в вас камнем.

Но у нас, на наших устах для вас — одно имя — сестра, и никогда-никогда мы не бросим в вас камнем.

Никогда, потому что вы не виновны в вашем падении.

Разве вы по своей охоте сделались проститутками? Разве вы желали такой жизни?

Напротив, каждая из вас, мы уверены, жаждала совсем иной жизни, светлой, хорошей.

В вашем падении виновны не вы, а нужда, люди, незнание жизни, неопытность, обстоятельства.

Христос понимал это и недаром взял вас под свою защиту.

Он оправдал вас перед всем Миром.

Вы видели знаменитую картину — «Христос и

грешница»?!

Толпа книжников и фарисеев привела на Его суд молодую, согрешившую женщину и была уверена, что он проклянет ее.

Но вместо проклятий он изрек великие слова:

— Первый, кто безгрешен, пусть бросит в нее камнем!

Вот оно — великое учение Христа!

Нет безгрешных, и мы должны прощать друг другу наши слабости.

И после Его слов ни одна рука не поднялась. Толпа устыдилась.

Вам нечего поэтому падать духом и краснеть. Вы можете смело и имеете полное право шествовать в толпе с гордо поднятою головою.

Итак, мы не бросаем в вас камнем и оскорблением, не обвиняем вас в вашем падении, не стыдим вас, но позволяем себе только, берем смелость пожалеть вас, хотя прекрасно знаем, что вы не любите, чтобы вас жалели.

Пожалеть и просить у вас позволения прийти вам на помощь.

А помощь необходима вам.

Ведь вы тонете в своем болоте, захлебываетесь, страдаете.

Мы хотим помочь вам выбраться из этого бо-

лота. Мы хотим вырвать вас из рук «бандурш»[26] — этих тигриц, сосущих ваши соки, кровь, здоровье, молодость, возвратить вам свободу, солнце и направить вас на ту дорогу, которая ведет не к проклятиям, зубовному скрежету, слезам и вечной ночи, — а к тихим радостям.

Не смейтесь же и не пожимайте плечами, читая эти строки!

Пусть с каждой прочитанной вами строкой недоверие ваше понемногу исчезнет, и вы проникнитесь полным доверием к нам!

* * *

Кто мы?!

Вы хотите знать, кто мы — таинственные незнакомцы, впервые заговаривающие с вами настоящим человеческим языком?

Кто мы, желающие помочь вам вырваться из вашего болота, из лап хищных, преступных «бандурш» и выбраться на светлую дорогу?

Мы — члены Российского Общества защиты женщин.

Полная беззащитность и беспомощность женщин дали нам повод к основанию этого об-

---

[26] Примечания: 26
Хозяйки.

щества.

Общество это существует давно, имеет в некоторых городах свои отделения и помогает женщинам.

Общество открыло отделение также и здесь, в Одессе.

Вы хотите знать, в чем выражается деятельность общества? Извольте.

Если, например, женщина сильно терпит от мужа, он терзает ее и жизнь с ним ей невмоготу, *общество помогает ей получить развод.*

Если приезжая или местная жительница не находит себе работы и голодает, то общество *поддерживает ее до тех пор* (у нас для поддержки есть приличный приют и деньги), *пока не отыщет для нее работы.*

Если проститутка желает навсегда оставить свой ужасный промысел, общество помогает ей выпутаться из сетей бандурши, научает ее разнообразному и полезному труду, ходатайствует перед администрацией о выдаче ей чистого паспорта и дает ей возможность пойти по другой дороге.

Я вижу, как вы морщитесь и слышу ваше восклицание:

— Фи! Труд!

Вам ненавистен труд! Не так ли?!

Я знаю.

Вы не видите в постоянном труде ничего заманчивого.

И охота трудиться, скажете вы, гнуть шею в три погибели, когда можно, ничего не делая, сладко есть, спать вдоволь, хорошо одеваться и проч. и проч.

Это будучи проституткой. Совершенно верно!

Но зато какой ужасной ценой покупается эта сладкая еда, продолжительный сон и наряды, каким ужасным унижением и как дорого потом приходится расплачиваться за все это удовольствие.

Что может быть ужаснее смерти проститутки?!

Впрочем, и жизнь ее не краше смерти.

* * *

Если посмотреть на вас со стороны, то становится даже завидно.

Какие вы веселые, жизнерадостные! Каким весельем вы наполняете весь дом, который вы обитаете.

Недаром его прозвали *веселым!*

Пол трещит и гнется под вашими ногами, когда вы отплясываете бешеную *болгарскую.*

Вы вечно пляшете! Но если подойти к вам поближе и глубоко заглянуть в вашу душу, то окажется, что вы вовсе не такие веселые и что вы пляшете не по собственному желанию, а из-под палки. По приказу толстой бандурши — хозяйки вашей, палача вашего, и ее достойных помощниц-экономок.

Пляши, и никаких! Потому что сказано, *веселый* дом и шабаш.

Вас видят только пляшущими. Но кто видел вас, как после «болгарской» вы лежите, запершись в своей комнате, скрежещете зубами и обливаете слезами подушки?

Кто видел эти слезы?! Одни стены, сырые, холодные!

А кто видел ваше отчаяние?! Кто видел, как вы шагаете из угла в угол, как зверь, в своей комнате и ломаете руки?!

Вы в отчаянии потому, что вам опостылела ваша жизнь. Вам опостылели физиономия хозяйки, экономки, этот ужасный дом, его душный воздух, его гости — приятные молодые люди, приезжающие из города на дрожках и обращающиеся с вами так же бесцеремонно, как с вещью.

Вы хотели бы уйти, убежать далеко-далеко в степь, упасть на холодную землю и зарыдать. Но

вот в дверь постучалась экономка.

— Пора одеваться! Живее! Гости сейчас приедут!

Опять!

Опять одеваться! Вам надо опять «навести» на себя красоту, чтобы нравиться, выйти в зал, — о! этот зал! — быть веселой и опять плясать, плясать, плясать.

И так каждый вечер. Каждый вечер без конца.

— Пожалуйте в зал.

Вы не можете ни на один вечер остаться наедине с собой. Потому что вы — не хозяйка себе. Вы всецело принадлежите бандурше. Вы — *живой товар*...

И вот вы выходите в зал мрачная, как ночь, в своем шелковом платье, раскрашенная, как кукла. Вы забиваетесь в дальний угол и предаетесь своим горьким думам.

Как вы были бы счастливы, если бы вас никто не заметил.

Но хищный глаз хозяйки нашел вас.

— Ступай сюда! — слышите вы ее голос.

Вы подходите.

— Чего ты такая «смутная»? Отца похоронила, что ли?

Это надо понимать так: «Моментально развесе-

лись, мне не надо кислых физиономий. Мой дом не погребальное братство».

И вы делаетесь веселой. По заказу.

В противном случае хозяйка осерчает и рассчитает вас.

Вы натягиваете на себя маску.

Маска улыбается, смеется, а лицо под нею плачет… И какая у вас жизнь?!

Вы ложитесь спать в 5 час. утра, а иногда и позже, встаете в 2 часа дня, обедаете, после обеда отдыхаете, и смотришь, пора опять одеваться и выйти в зал.

Вы даже можете редко-редко подышать свежим воздухом.

Да вас, впрочем, и не тянет на улицу, потому что слишком уже засосало вас ваше болото.

Жизнь ваша, таким образом, проходит в танцах, еде и сне. И вы не хотите даже знать, что за гнилыми стенами вашей тюрьмы есть другая жизнь и что в этой другой жизни столько красоты.

За стенами вашей тюрьмы смеется солнце, щебечут птицы, зеленеют травы, а вам до них дела нет.

Иногда посреди танцев перед вами выплывают из далекого прошлого дорогие вам лица отца, матери, сестер и братишек, родной городок, дере-

вушка с тихой речонкой.

И вместо того чтобы подумать о том, как бы вернуться к ним, вы бросаетесь к водке и накачиваетесь… Вы пьете часто и заглушаете водкой прошлое.

Но всю жизнь плясать невозможно.

Всякой пляске, как и всему в жизни, бывает конец.

И вот вы доплясываетесь. Сперва до знаменитого III-го отделения, потом до «Коссарки», до «Ботанического сада» и до «мраморного стола».

Ради Бога, не подумайте только, что мы хотим напугать вас всем этим.

Вас пугать этим — все равно, что пугать ворон пугалом.

Вы — не из пугливых.

Вы сами знаете, что ждет вас.

Но нам необходимо поговорить о вашем будущем.

Я начну с вашего настоящего положения.

Предположим, что вы находитесь сейчас в *трехрублевом* заведении.

Находясь там, вы благоденствуете. Катаетесь, как сыр в масле.

Бандурша особенно расположена к вам и терпит все ваши капризы.

«Вышибайло» и кухарка почтительно называют вас «барышнями», и вас кормят превосходно.

Кроме трех блюд, вам дают еще на десерт пирог с яблоками или желе.

Но погодите! Через два года вы подурнеете, примелькаетесь гостям, и вам в один прекрасный день бандурша в ответ на ваше замечание, что борщ — невкусный, скажет:

— Если тебе не нравится, можешь уходить.

Она каждый день будет давать вам повод к неудовольствию и, наконец, выставит вас.

Из «трехрублевого» заведения вам прямая дорога в «рублевое».

Прошел еще год-два, и вы переходите в так называемое «полтиничное». Курс ваш понижается с каждым годом.

Какой скачок! С трех рублей на полтинник.

Но погодите! Еще через два года вы попадаете на Картамышевскую улицу, где гости ваши не франты в смокингах и лабори-шляпах и господа студенты, а солдаты, матросы, кочегары, «блатные», скакуны, и плата уже не три, не один рубль, не полтинник, а 30, 15 и 10 к.

Конечно, в течение этих нескольких лет, этого спуска по «черной лестнице», вы совершаете несколько поездок в III-е отделение, с которым

вы настолько осваиваетесь, что знаете каждый гвоздик в нем, каждую щель.

Но вот бандурши своими липкими и мясистыми губами высосали у вас все соки. Вы сделались развалиной и такой отталкивающей, что пьяный «кодык» и тот с брезгливостью отворачивается от вас.

И вас выхильчивают (выбрасывают) на улицу.

Прощай, сладкое житье, масленица! Теперь единственная дорога на Коссарку[27].

На Коссарке вы сходитесь с такими же, как и вы, женщинами, таскаетесь с ними по приютам, кормитесь чем попало и пьете. И каждый проходимец, каждый жулик топчет вас ногами.

И так вы доживаете свои дни.

Нередко вас можно встретить в Ботаническом саду[28].

Старые, страшные, оборванные, покрытые язвами, вы шатаетесь по его дорожкам и зазываете к себе прохожих. Но никто не идет к вам. Все пугаются вас.

И в одно прекрасное утро вас находят мертвой, под кустом, на рогоже, которая служила вам

---

[27] Примечания: 27
Площадь, на которой собирается пришлый люд — косари.

[28] Примечания: 28
Известный сад возле Куликова поля.

постоянно матрацем для кровати из жестких камней.

Вас позабирают, взваливают на телегу, отправляют в анатомический покой и кладут на мраморный стол. А потом закапывают. И никто не знает, где ваша могила.

Над нею нет креста, и никто в праздничный день не приходит поплакать и погоревать над вами.

Вот так жизнь! Вот так смерть!

И как подумаешь, что жизнь ваша протекла в этом болоте без всякой радости, страшно становится.

А всему причина та, что вы не хотите трудиться, потому что вас пугает труд и соблазняют тряпки, кружева и кольца.

А если бы вы знали, сколько радостей дает труд!

Мы укажем для примера на одну швею. Она кормит свою старуху-мать, братишек, и она так счастлива. Она мечтает о том, как она вырастит братишек и сделает из них честных тружеников.

Как она скромно одевается и с каким восторгом она говорит о своих братишках!..

* * *

Мы нарисовали все ужасы вашей жизни не для того, чтобы растравить ваши раны, а для того, чтобы заставить вас серьезно задуматься над собою.

Проснитесь! Опомнитесь!

Соберитесь с силами, скиньте с себя цепи проституции, бросьте ваши тюрьмы и возьмитесь за работу!

Вас ждет новая жизнь!

Вы, быть может, ответите:

– *Поздно!*

Нет, не поздно!

Наконец, лучше поздно, чем никогда.

Вы, быть может, укажете на ваши связанные крылья?

Вас приковывает к веселому дому желтый билет, долги хозяйке, неумение работать?

Пустяки!

Мы выхлопочем вам чистые паспорта, выкупим вас у ваших хозяек и научим вас работать!

Вы только обратитесь в нашу канцелярию.

Адрес ее:

Херсонская улица, дом № 17, кв. 7.

От 5-ти до 7-ми часов вечера.

Мы все для вас сделаем. Это не слова. Вы убедитесь.

Проснитесь только! Опомнитесь!

Кармен.

Берегитесь!

(Доброе слово к женщинам)

Вы знакомы с картиной польского художника Котарбинского «Собранные слезы»?

Она изображает трех ангелов, которые поднимаются к небу.

В руках у ангелов — золотая ваза, перевитая листьями туи и плакучей ивы, и в ней — слезы.

Ангелы собрали их на земле и несут их Богу.

Среди них есть и слезы матерей и сирот, и нищих, и убогих. Горячие, крупные!

Но горячее и крупнее всех — слеза проститутки.

В сравнении с нею все слезы кажутся такими холодными, маленькими.

Берегитесь! Я обращаюсь к вам — женщины!

Берегитесь страшного чудовища, имя которому — *проституция!*

Обходите старательно расставленные ею на вашем пути капканы и соблазны!

Защищайтесь до последней капли крови и не давайтесь в руки *закорелому* врагу вашему.

Ибо горе — побежденным.

Горе! Горе!

Чудовище скомкает вас и безжалостно разобьет вашу жизнь.

Оно превратит вашу жизнь в темную непроглядную ночь…

Я не буду перечислять все его капканы и соблазны. Их не перечтешь.

Я только говорю:

— Берегитесь! Защищайтесь!

И для того, чтобы у вас явилось больше энергии для борьбы с этим чудовищем, я расскажу вам кое-что из жизни падших.

Крепостная

Был седьмой час вечера, когда она проснулась.

В крохотном, отвратительно-грязном номере ее гостиницы «Крит», с одуряющим запахом сырости, было так темно, что с трудом можно было разобрать мебель — поломанный стол, накрытый землистого цвета скатертью, ветхий сундук со скошенной набок крышкой, два кресла и умывальник.

Она свесила на пол с кровати голые ноги и сонными красными глазами посмотрела на два окна, выходящие в узкий глухой переулок.

Окна были снаружи застланы густым туманом.

Сквозь туман виднелись размазанные огни окон, находящихся по ту сторону переулка.

Увидав огни, она сильно заерзала и на ее основательно помятом, хотя и молодом лице с глубоко ввалившимися щеками и в карих глазах, закованных в широкую синеву, отразилось беспокойство.

— Боже мой, Боже мой! Уже — вечер, — проговорила она скороговоркой и, нагнувшись, стала шарить под своими ногами.

Она не скоро отыскала длинные чулки, натянула их на свои тощие дрожащие ноги, потом — туфли и зажгла маленькую керосиновую лампу.

Мертвенный свет залил комнату, и на его фоне грязь и убожество ее выступили рельефнее.

Как куски мяса, висели по стенам отклеившиеся обои, на полу чернели широкие трещины, через которые, как через пароходные иллюминаторы, поднимался снизу, из такой же неуютной комнаты, как и эта — приюта одного жалкого, голодного изобретателя, изобретающего подводный граммофон, — адский холод; вокруг умывальника стояла лужа грязной воды, и из красного кресла о трех ножках, стоявшего в углу, как из живота, лезли внутренности — гнилая

морская трава и пружины.

Рельефнее выступили теперь и впалость щек ее страдальческого лица, и синева под глазами, и вся ее фигура — тонкая, изломанная, исковерканная, как жестянка, выкинутая на двор и побывавшая в десятках рук шалунов-мальчишек.

Она накинула на себя толстую серую шаль и вышла в коридор. И через несколько минут она возвратилась с кипятком в большом фаянсовом раскрашенном чайнике.

Заварив чай, она быстро умылась, села за стол, подвинула к себе круглое, с большой на середине трещиной зеркало, коробочки с краской и белилами и щипцы для волос и стала «наводить» на себя красоту.

Время от времени она откладывала пуховку и прихлебывала из стакана бледный чай.

Через полчаса вялое и мертвое лицо ее расцвело, как майская роза, а растрепанная голова ее превратилась в модель вавилонской башни.

Она посмотрела в последний раз в зеркало, улыбнулась себе самой и собиралась было уже встать, как дверь с треском распахнулась и в комнату вошел плюгавый мужчина, в сапогах и картузе с ремешком, брюнет — типичный жулик.

Улыбка моментально сбежала с ее губ, руки у нее задрожали, и она вопросительно посмотрела на него испуганными глазами.

— Пьешь чай? — спросил он, не снимая картуза, и странно рассмеялся.

— Да, пью, — ответила она с дрожью в голосе. — А что?

Он пристально посмотрел на нее своими черными острыми глазами, засвистел и повернулся к дверям. В дверях два раза щелкнул ключ.

Она сильнее заерзала на стуле и спросила его упавшим голосом:

— Что ты хочешь делать?

Он засмеялся прежним странным смехом и загадочно ответил:

— Сейчас увидишь.

— Ты, быть может, снова собираешься бить меня? — спросила она.

Проговорив это, она вскочила, подошла к окну, уперлась спиною в край подоконника и посмотрела на него безумными глазами.

— Бить тебя? — притворился он изумленным. — Та Боже меня сохрани! Разве я когда-нибудь бил тебя?

Он громко захохотал и, не спуская с нее своих ужасных глаз, стал медленно приближаться к

ней.

На правой руке его блеснул стальной наручник. Она затрепетала, как голубка, и заговорила, заикаясь:

— Нет-нет! Не ври! Я вижу, что ты хочешь бить!.. Слушай, Сергей!.. Не смей! Я кричать буду! На помощь позову! Мало, что ли, ты у меня крови выпил?! Посмотри, — у меня здорового места на теле нет! Вся — в синяках!.. Каждый день, каждый день!.. Разве я — крепостная?!

Сильный удар заставил ее замолчать, и она шлепнулась о пол.

— Караул! Мама родная! За что?! — завопила она.

— Я тебе дам — караул! Я тебе дам — «мама родная» и «за что»! — проговорил с шипением змеи Сергей, нагнулся и стал терзать ее.

Стальной наручник, как молния, сверкал в воздухе и зарывался то в одну часть ее тела, то в другую.

Она сперва сопротивлялась, но потом перестала.

И где ей — слабой и несчастной женщине — бороться с этим извергом?!

— Легкие не тронь! Не тронь легкие! — только просила она.

А он, как назло, трогал эти самые легкие и с особым наслаждением ввинчивал в них пятигранную шишечку наручника. Ввинчивал и, растягивая каждое слово, наставительно толковал ей:

— Гм! Ты спрашиваешь — за что я тебя бью? А за то, что ты ничего не делаешь. Вчера всего 70 к. принесла. Если завтра меньше двух рублей принесешь, — убью, зарежу. Ей-Богу, зарежу!

Он наконец утомился, спрятал в боковой карман свой инструмент — орудие своего позорного ремесла — и выпрямился. А она осталась на полу — избитая, истерзанная, оплеванная, гадкая.

Вся спина и плечи ее были испещрены синяками, сорочка порвана.

Она глухо рыдала, давилась слезами и лепетала:

— Ой, Боже мой!.. Ой, легкие мои!.. Мамочка…

Слезы без конца лились из ее глаз.

Камень зарыдал бы, глядя на это несчастное поруганное существо, на эту слабую женщину. А он и в ус себе не дул.

Он смотрел на нее с холодным равнодушием, как на неодушевленный предмет, и спокойно поправлял свою помятую бумажную манишку и съехавший набок во время экзекуции галстук.

— Долго еще будешь валяться? — спросил он ее грозно.

Она не ответила.

Он повысил голос:

— Вставай и одевайся! Пора на улицу! Восьмой час уже! Живее, а то смотри у меня! Все ребра поломаю! Сердце вырву!

Голос его звучал так грозно, что она перестала стонать и медленно, упираясь в пол, поднялась.

Печальный вид ее — избитое и окровавленное лицо, растрепанные волосы, красные, вспухшие и полные слез глаза привели его в веселое расположение духа. Он громко и цинично расхохотался и стал иронизировать:

— Вот так красавица премированная! Хоть на выставку ее! И на кого ты похожа?! Умой сейчас свою поганую рожу!

Она, глотая слезы, покорно поплелась к умывальнику.

Он тем временем подсел к столу, налил стакан чаю, заложил ногу за ногу и погонял ее:

— Живее! Чего так долго копаешься?!

Она умылась и подсела к зеркалу.

Когда в зеркале отразилось ее избитое лицо, из глаз ее снова хлынули слезы.

— Опять? — спросил он.

— Что ты со мною делаешь? — простонала она и схватилась за голову. — Смотри — какой у меня фонарь под глазом! Как я выйду на улицу и кто захочет посмотреть на меня?

— Пустое! Замажь его пудрой и готово!

— Да, замажешь. — И она занялась опять превращением своего мертвого и вспухшего лица в майскую розу.

— Есть у тебя папиросы? — спросил он вдруг.

— Нет.

— Дай пятак, я схожу в лавочку.

— Где я тебе достану? Видишь, без сахару чай пью.

— Гм! А ты еще спрашиваешь — отчего я тебя бью. У тебя никогда ничего не будет, потому что ты лодыря валяешь. Спишь до 7 ч. вечера. Посмотри-ка! Маня Боцман и Феня Пассаж давно уже гуляют. А ты!.. Пошевеливайся!

— Сейчас!

Она вколола в прическу последнюю булавку.

— На дворе очень сыро? — спросила она.

— А что?

— Не знаю, что надеть — сак или ротонду?

— Ишь, графиня. Простудиться боится. Не издохнешь.

Она, не слушая его, сняла с крючка длинную

ярко-красную ротонду и с другого — большую, как поднос, шляпу с пышным страусовым пером.

Через несколько минут она была готова к выходу.

— Я провожу тебя, — сказал он.

Она ничего не ответила, потушила лампу, и они вышли в узкий коридор.

Пройдя коридор, они спустились по лестнице вниз в глухой переулок и очутились в объятиях тумана.

— Ну и погода, — проворчал Сергей. — Теперь хорошо сидеть в трактире, у органа, и чай пить.

Она опять ничего не ответила и плотно запахнулась в свою ротонду.

Они двинулись по направлению к Дерибасовской улице.

— Живее! — торопил Сергей.

Когда показалась Дерибасовская, Сергей остановился и сказал ей:

— Ну-с, прощаюсь, ангел мой, с тобою. Смотри, не зевай. Сегодня три парохода английских с кардифом (углем) пришли и два — с хлебом. Много джонов (англичан) шатается по городу. У них много башей (денег) … Два рубля принеси, помни!

Он надвинул картуз на глаза, сунул руки в

карманы, свистнул, повернулся к ней спиной и зашагал.

Она посмотрела ему вслед и, когда он сгинул в тумане, направилась к городскому саду.

Мимо сада давно уже взад и вперед прохаживались попарно и в одиночку ее товарки, так же, как и она, одетые в яркие, бросающиеся в глаза ротонды и большие шляпы — Маня Боцман, Феня Пассаж, Соня Калараш, Лея Серебро и другие.

Они стреляли, как из пушек, глазами, подмигивали прохожим, вступали с ними в разговоры и всячески соблазняли их.

Ее заметила Лея Серебро — красивая толстая еврейка в ротонде из зеленого плюша, который отливал серебром, — и, остановив ее, спросила, сильно картавя, по-балабарски[29]:

— Здравствуй, Женька! Чего у тебя мотрачки (глаза) мокры?

— Не спрашивай.

Женька прислонилась к решетке сада и глухо зарыдала.

— Что с тобой?! Этот «Серожка»-шарлотта, наверное, опять побил тебя?!

— Да… Мне тут, у сердца — больно. Кажется, он

---

[29] Примечания: 29
Особый язык проституток.

отбил у меня легкие, — простонала Женя.

— А чтоб его чума схватила! — выругалась Лея. — А мой Исидор, ты думаешь, лучше? Он вчера так бил меня, так бил. У меня до сих пор спина и правый бок болят. Ой, вейз мир! Чтоб его «хо-хоба» забрала! Такой карманщик!

— Он сказал, что если я завтра не принесу ему двух рублей, то он загрызет меня.

— Вот несчастье!

— Я утоплюсь.

— Э! Думаешь, на том свете лучше?.. Ну, довольно плакать! Погуляй лучше. Может быть, кого-нибудь подцепишь. — И Лея оставила ее.

Женя утерла глаза и стала гулять.

Она прошла, пересекая одну и другую мостовую, два квартала мимо пылающих и залитых золотом, серебром, бриллиантами и шелками витрин и повернула назад.

Она шла, то замедляя шаги, то ускоряя, косила глазами, слегка толкала мужчин в бок, смеялась и подмигивала им. Но никто не шел на ее удочку.

Каждый окидывал ее насмешливым или презрительным взглядом.

После долгого хождения ей удалось заманить в переулок одного юнца.

— Хорошенький, — стала она нашептывать

ему, — идемте.

Юнец, озираясь, спросил ее с замиранием в голосе:

— Куда?

— Увидите.

— А что будет? — стал выпытывать испорченный до корней мозгов юнец.

Она стала расписывать.

Юнец слушал-слушал и заявил:

— У меня времени нет.

— Ну, вот еще.

— Право, нет. — И он пошел прочь.

— Жулик, скотина! — выругалась она.

Ей пришлось вернуться и приняться за прежнее фланирование.

Вон из-за угла появилась компания из двух «джонов» и негра.

Женька ринулась к ним, но опоздала. Ее предупредили. На них налетела стая товарок и расхватала их, как филипповские пирожки.

Женька, как ни была огорчена неудачами, расхохоталась при виде Леи, которая тащила через мостовую, как на буксире, негра. Шляпа у нее съехала набок, а ротонда упала на землю.

— Комман, комман, мистер (идем, господин)! — щебетала она, вися у него на руке.

Становилось поздно. Один за другим потухали в магазинах огни, загремели железные шторы, и скоро светлые волны, заливавшие улицу, исчезли. А туман становился все гуще и гуще. На улице сделалось темно и пусто.

Женя, сделав в тумане больше 200 туров, продрогла и устала. Ноги ее отказались служить, и она присела на зеленую скамью, откинулась на ее решетчатую спинку и бесцельно уставилась перед собой на фасад четырехэтажного серого дома. В доме все спали, и во всех окнах было темно.

Она смотрела на мрачный фасад несколько минут и вдруг удивилась.

«С какой стати она в течение четырех месяцев созерцает этот безжизненный и глупый фасад? И что связывает ее с ним?»

На лбу у нее выдавилась глубокая морщинка. Что связывает ее с этим фасадом? Да ее позорное ремесло.

Это же ремесло связывает ее с этой улицей.

А как она очутилась на этой улице?

Да так, как и остальные.

«Не длинен и не нов ее рассказ».

Она работала на заводе, познакомилась с прекрасным молодым человеком, который великолепно плясал кэк-уок и носил пестрые галстуки,

стала посещать с ним театры, народные балы, пристрастилась к нарядам, ужинам в «отдельных кабинетах» и пошла-пошла по рукам, как вещь…

— Ужасно! Ужасно! — прошептала Женька и закрыла лицо руками.

Но ужаснее было в ее падении то, что ею овладел совершенно посторонний, чуждый ей человек, закрепостил ее, присосался к ней, как вампир, к самому сердцу, и сосет-сосет ее кровь.

В груди у Жени поднялась настоящая буря.

Она сверкнула глазами и заговорила, задыхаясь, вполголоса:

— Довольно! Этого не должно быть больше! Кто дал ему право на мое тело и душу?! Я буду кричать на всю улицу! Я пойду к градоначальнику, брошусь перед ним на колени и буду плакать!

Но весь этот пыл быстро прошел у нее, и она умолкла.

Ей показалось, что он здесь и слышит ее.

Вот он стоит в тумане и скалит свои волчьи зубы.

Она вспомнила, что, если она не принесет ему двух рублей, он загрызет ее.

И в один момент она была уже на ногах и шлепала по-прежнему своими намокшими весенними туфлями по тротуару.

Женька остановила Маню Боцман и сказала ей усталым голосом:

— Манька, одолжи пятачок. Я куплю себе пирожок с мясом. Смерть как есть хочется. С утра ничего не ела, только вечером стакан чаю выпила да и то вприкуску.

— Где же я тебе возьму? — сердито ответила Маня. — Да и где теперь пирожки достать? Не видишь, что все кругом закрыто?

Женька понурилась…

Стрелка на больших уличных часах показывала час.

Женькой овладело отчаяние. Час ночи и ни одного «пассажира». Что будет с нею?! Он убьет ее.

И она, как безумная, стала метаться из стороны в сторону и бросаться на каждого запоздалого пешехода.

Она даже окликнула одного седока — почтенного мужчину.

Седок приказал извозчику остановиться и спросил ее, что ей угодно.

Вместо ответа она многозначительно засмеялась ему в лицо.

Седок рассердился, плюнул и велел извозчику ехать дальше.

— Вот какие бесстыжие пошли нонче! — пока-

чал головой извозчик.

Женя осталась посреди мостовой, как в столбняке.

Когда столбняк прошел, она увидала, что стоит под проливным дождем.

Капли дождя прыгали вокруг нее, как мячики, и стучали по гранитным кубикам, как молоточки.

Шляпа и ротонда ее были промочены насквозь.

Женя беспомощно оглянулась вокруг, ища подъезда, куда бы юркнуть. Но вся улица была заколочена, и ни одна щель не осталась свободной.

Мимо Жени пробежала, подобрав высоко ротонду и юбки, Катя Боцман.

— Ты куда? — спросила Женя.

— Куда, куда?! — рассердилась Катя. — Домой! А то куда больше?! Ступай тоже. Не ночевать же на улице. Видишь, какой дождь!

— Правда твоя, — согласилась Женя.

Она в последний раз оглянула мертвую улицу и последовала примеру Кати.

Придя к себе в номер, она сбросила на пол мокрую, как половая тряпка, ротонду, шляпу со скомканным пером и, не раздеваясь дальше, бросилась на грязные подушки и глухо зарыдала.

.....
.....

В это самое время в душной биллиардной одной трущобы Сергей божился пред партнером-приятелем, которому он проиграл несколько партий.

— Накарай меня Господь, если не отдам тебе завтра твоих денег!

— Врешь.

— Не вру.

— А где возьмешь?

— У Женьки.

— А если она ничего не заработала?

— Как не заработала? — И глаза у Сергея загорелись недобрым огнем. — Убью ее. Зарежу. Все жилы зубами вытяну.

Кармен.
Одесса, 1904 г.

Заключение

Страшно! Не так ли?!

И таких закрепощенных Женек, таких игрушек в руках негодяев — много.

Вот почему я говорю вам — женщинам:

— Берегитесь, защищайтесь и не давайтесь в руки вашему закоренелому врагу — проституции.

Но мы знаем, что вы — слабые, нежные и что вам — одним трудно бороться с этим чудовищем.

Мы поэтому протягиваем вам нашу братскую руку помощи.

Если вы стоите над бездной, мы удержим вас. Мы не дадим вам скатиться.

Запомните следующий адрес:

Приморская улица, д. № 75

Мы открыли на этой улице отделение Российского Общества защиты женщин.

И, как только вы почувствуете опасность, как только вы увидите, что упомянутое чудовище протягивает к вам свои лапы, что под вашими ногами колеблется почва и разверзается бездна, спешите к нам!

Вы найдете у нас и добрый совет, и тепло, и поддержку, и ласку, и даже приют.

Для приюта у нас устроено убежище на 16 человек, с 16 кроватями и обстановкой.

Приют этот должен напоминать бухту, куда прячутся во время шторма суда, навес, под которым прячутся во время грозы птицы.

Вы можете пользоваться нашим приютом до тех пор, пока минет опасность.

Если муж ваш изверг, терзает вас и детей и не дает вам развода — мы выхлопочем вам развод.

Если вы, приезжая, ищете места и не можете так скоро найти его, между тем как средства ваши иссякли, *мы постараемся найти вам место, а пока дадим вам приют и обед…*

Все-все ступайте к нам, смело, без стеснений, какого бы вы ни были вероисповедания, интеллигентные или неинтеллигентные!

Повторяю снова, вы найдете у нас — добрый совет, тепло, поддержку, ласку и приют.

Приходите только! Мы ждем вас!

Кармен.

Ответ Вере

(Одна из многих)

Предисловие «Одна за многих»

Я прочел эту книжку и удивился.

Женщины вообще пишут несколько наивно, а в таком вопросе (о добрачной чистоте мужчины) от дамы-автора и подавно следовало ждать большой наивности.

Оказалось — ничуть. Т. е. почти ничуть. Редко-редко промелькнет наивная строчка, да и то скорее похоже на смелость, чем на наивность.

Но общий тон обличает в авторе вполне современное строение ума и чуткую вдумчивость.

Нет пресного морализирования на тему:

— Что бы вам, мужчины, взять да исправиться?

Напротив, все время присутствует сознание, что вопрос очень глубок, что зло коренится в общественной почве, что «на болоте нельзя выстроить святого храма».

При этом поражает в такой маленькой книжке обилие оригинальных мыслей.

Оригинальная мысль не значит такая мысль, до которой никто прежде меня не додумался.

Есть господа, которые не могут услышать свежего слова без того, чтобы не воскликнуть:

— Еще Пифагор говорил то же самое!

И действительно, Пифагор, оказывается, говорил то же самое, — а если не Пифагор, то Аристотель, или поп Сильвестр, или кто-нибудь другой.

И это нисколько не мешает мысли быть оригинальной.

Если мысль родилась во мне, если она мною высмотрена из жизни, а не впитана с чужих слов, — то она моя, она оригинальна, хотя бы все Пифагоры заявляли на нее jus primae noctis.

На такой мысли всегда лежит обязательная печать самородка, печать личности — и таких мыслей, своеобразно-красиво выраженных, вы встретите, если умеете замечать, много на ста без малого страничках этого «дневника»…

А с идеей его я все-таки не согласен.

«Немецкая барышня Вера, — говорится в этой книжке, — выросла в богатой обывательской обстановке, но сохранила гордый и самобытный характер».

Ей 20 лет, и она чувствует с разных сторон, что

все в жизни неладно.

Ее любит Георг, она любит его; он небогат, родители недовольны, но Вера, если родители не захотят, рассчитывает выйти за Георга без их согласия.

Впрочем, это устраивается: Георг получает «место», папа и мама благословляют, уже приискали даже квартиру, но несчастье приходит с другой стороны.

Барышня Вера узнает, что Георг до встречи с нею был несколько раз в связи с разными женщинами, что он не чист.

Барышня Вера и прежде знала, что молодые люди до брака развратничают, но ей не приходило в голову, что ее Георг такой же.

Когда ей стало ясно, что Георг такой же, она некоторое время пытается превозмочь обиду и отвращение — но это ей не удается, — и она отказывается от жизни.

Умирает же она потому, что любит Георга и ей противно, когда любимый Георг оказался проституткой.

«Ибо, — говорит барышня Вера, — женщина, отдающая себя нелюбимому человеку, в нравственном отношении не выше проститутки, которая этим добывает себе пропитание.

А если мужчина вступает в связь то с одной женщиной, то с другой, меняя их, как галстуки, разве это не та же проституция?»

Не знаю, как думает читатель, я же думаю, что да, форменная проституция.

И этот Георг — форменная проститутка.

Он, этот Георг, довольно ясно выступает в дневнике, — настолько ясно, что желтый билет на его лице виден даже издали.

Он, этот Георг, не рассказал барышне Вере о своих прежних связях — он ей покаялся.

Покаялся, как в чем-то грязном, и просил прощения и забвения.

Из его прежних любовниц не все были продажные женщины: была, например, одна жена его университетского товарища.

Значит, с нею был роман, т. е. любовь и ухаживание.

А теперь он, этот Георг, «кается», т. е. признает:

— Я валялся в грязи. Женщины, которые доныне отдавались мне даже по любви, — все грязь.

И закрепляет фразой:

— До тебя я никого не любил, Вера!..

О да, этот Георг — проститутка.

Если бы он не был проституткой, он не так бы говорил Вере о своем прошлом.

Он, может быть, совсем промолчал бы, гордо сохранив свои секреты своими секретами; но если бы рассказал, то именно бы рассказал, а не каялся.

Он сказал бы Вере:

— Мое прошлое прошло. Я теперь твой, прежняя жизнь кончена.

Но я буду вспоминать эту жизнь без злобы и презрения, с теплой симпатией.

Среди женщин, которые мне принадлежали из любви, были такие милые и задушевные женщины. Они облегчили мне много нехороших минут.

А среди тех, которые принадлежали мне за деньги, была одна, в которой я увидел добрую душу; и одна, в которой я увидел искру самопожертвования; и одна, в которой я увидел тоску о лучшей жизни; и для меня вся их грязь этим очищена.

Я люблю тебя, Вера, одну тебя, я не хочу разлюбить тебя вовек, но никогда ради тебя я не стану презирать огулом женщин, которые принадлежали мне прежде.

Так бы сказал другой мужчина, не проститутка, не такой, который отдавался разным женщинам — и ни от одной не сохранил теплой точки в душе.

Он, этот Георг, как бродяга, долго ночевал по хижинам у лесников и рыбаков, — и теперь, когда ему посчастливилось попасть на постой в богатый дом, вот как поминает их гостеприимство:

— Ну и грязь же была у этих скотов!..

Барышня Вера умирает с надеждою, что когда-нибудь выстроится «чудное здание будущей целомудренности», — и тогда, значит, женихи будут приходить к невестам чистыми и брать чистых невест.

На барышне Вере вообще, несмотря на всю ее независимость, отразилось настроение богатой обывательской немецкой семьи:

— «Свободная любовь»! — презрительно говорила она. — Призрак, очертаний которого никто не может уловить. Чистый истинный брак — вот она, свободная любовь…

Из чего видно, в скобках, что и мещанство иногда с отчаяния говорит парадоксами…

Эта закваска мещанства — легкая, но невытравимая — приводит бедную барышню к требованию девственности от мужчины, вступающего в брак.

Так как она умна и не хочет дешево морализировать, то она и не требует этого идеала сейчас — вынь да положь, — она знает, что это дело

долгого общесоциального прогресса, и умирает для того, чтобы стать «камешком для будущего чудного здания»…

Будем же надеяться, что это чудное здание ни в каком случае не окажется таким, как мечтала, умирая, барышня Вера.

Что в далеком светлом будущем два человека, встретясь на дороге любви, не станут опрашивать друг друга:

— Девственен ли ты, мужчина? Девственна ли ты, женщина?

Эти вопросы — оскорбление любви.

Потому что под ними понимается:

«Если ты уже любил, то ты не чист для меня».

Значит, любовь делает нечистым? Значит, любовь — клоака?

И, очевидно, требование девственности от любимого человека есть просто-напросто пакостное желаньице вывалять в грязи моей клоаки совершенно чистенького, еще не забрызганного человека…

Нет, барышня Вера, в «чудном здании» грядущего иначе будут понимать любовь.

Встретясь и полюбив, два человека только спросят друг у друга:

— Чиста ли твоя душа?

И отпразднуют свою любовь, не заботясь о жалком розыске, кто сколько уже любил.

Барышня Вера тоже поняла бы это, пошли ей судьба не такого Георга.

Если бы любимый человек рассказал ей о своем прошлом с благородным умилением, она поняла бы, что и в своих прежних увлечениях, хотя бы мимолетных, он был и оставался человеком, а не скотом, и полюбила бы его еще теплее.

Но он оказался абсолютным животным. Он перед нею оплевал свое прошлое и доказал, что в этом прошлом для него не было ничего, кроме скотства; он развернул перед нею нечистую душу, и бедной девушке стало противно — противно до смерти.

Оттого она не поняла, что и мужчина от женщины, и женщина от мужчины должны требовать по девственности тела, и даже не девственности души, а благородства и чистоты души.

Не в том дело, имел ли он «прошлое», имела ли она, — а в том, вышел ли он и вышла ли она из этого прошлого благородными и человечными.

Altalena.

Одна из многих (Моя сестра)

Посвящается Вере[30]

Для того должны мы с торгу отдавать свои тела, чтобы девственница девство охранять в себе могла…

Altalena

Высокомерие и подлость — вот два ужасных дракона, с которыми приходится бороться маленькому слабому человеку.

Нечего говорить, что борьба неравная.

Высокомерие и подлость всегда побеждают. И когда маленький слабый человек побежден, обезоружен и унижен, то всякая букашка, всякий проходимец может издеваться над ним, топтать его в грязь и плевать в него.

И побежденный, обезоруженный и униженный человек будет спокойно, хотя со страшной болью в груди, принимать все издевательства и плевки.

Он будет похож на утопающего, который, видя безуспешность усилий справиться с морской пучиной, смежает очи, кладет руки на голову и

---

[30] Примечания: 30
Автору книги «Одна за многих».

камнем идет на дно.

Я лично, как маленький человек, также постоянно воевал с высокомерием и подлостью. Иногда я побеждал, а иногда бывал побеждаем. И когда я бывал побеждаем, сражен высокомерием и унижен подлостью, то переживал мучительные часы.

Я был близок к умопомешательству.

Сдерживая невероятными усилиями клокочущие в груди слезы, я носился по улицам, как вихрь, ничего и никого вокруг не замечая — ни домов, ни деревьев, ни фонарей, ни пешеходов. Все сливалось в моих глазах в серую или бесцветную холодную массу.

Я задыхался от горя, обиды и отчаяния, чувствовал ноющую боль во всем теле, бормотал несвязные слова и почел бы себя счастливым, если бы внезапно передо мной выросла толстая массивная стена, и я налетел бы на нее, разбился и превратился бы в бесформенную и бесчувственную массу, или же если бы передо мной сверкнул широкий нож, и я нарезался бы на него со всего размаху голой грудью.

Сотни безумных желаний теснились тогда в моей голове.

Между прочим, у меня было желание пойти к

своему обидчику с пятиствольным револьвером и сказать ему:

— Смотри, до чего ты довел меня. Ты лишил меня покоя. Ты вымотал у меня все жилы. Ты довел меня до самоубийства.

И тут же на его глазах пустить в себя один за другим все пять зарядов. И я с удовольствием ощущал, как острыми гвоздями они впиваются в мое тело.

Вы улыбаетесь, читатель? Вы смеетесь? Вам не знакомо такое сумасшедшее состояние духа? Вам все это кажется бредом больного?

О! В таком случае, вы — человек сильный, толстокожий, и мне, слабому человеку, остается только позавидовать вам…

И вот, изображая собой клокочущий вулкан, я пробегал десятки улиц.

Воображаю, какой у меня был тогда вид!

Но никто не обращал на меня внимания. Никому не было до меня дела. Никто не интересовался мной.

Летит человек, ну и пусть летит. Черт с ним!

Не было того, чтобы кто-нибудь остановил меня, спросил — в чем дело, утешил и обласкал.

Никто, никто.

Я был всем чужд, никому не нужен, и я был то-

гда глубоко уверен, что, носись я по этим темным улицам, наполненным бездушными и равнодушными к чужому горю людьми, тысячелетия, никто не остановил бы меня.

Ко мне были тогда вполне применимы слова одного страдальца:

Покрытый ранами, поверженный во прах,
Лежал я при пути, в томленьи и слезах,
И думал про себя в тоске невыразимой:
О, где моя родня, где близкий, где любимый!..
И много мимо шло… но что ж? никто из них
Не думал облегчить тяжелых ран моих…

А много, много мимо шло!

В бесцветной массе холодного вечера, в которой потонули черные плачущие акации и влажные дома с тусклыми, расплывчатыми огнями, взад и вперед катились черными, беспрерывными потоками, кутаясь в шинели, пальто, шали и боа, старики, молодые и старые дамы, юноши, девицы.

И ни у кого с уст не сорвалось слово участья.

Они текли, сворачивая в разные стороны, бесстрастные, равнодушные и холодные, как этот вечер.

У меня есть мать. Она безумно любит меня. Так

любит, что подчас тяготит своей любовью.

Явись я тогда к ней и обнажи перед нею свою исстрадавшуюся душу, она утешила бы меня. Она поцелуями уняла бы мои слезы. Слезы горя и обиды.

Но я не хотел огорчать ее.

К чему? Жизнь ее и так полна огорчений.

* * *

Не без ужаса вспоминаю я один вечер, такой же холодный и беспросветный, какой описал.

В этот вечер я страдал больше, чем когда-либо. Я окончательно был не в состоянии справиться со своими муками, как ездок с буйным конем.

Как по обыкновению, я мчался по улицам, и из-за стиснутых зубов у меня вылетали проклятья.

Вдруг в темноте, густой, как в пропасти, сбоку себя я услышал тихий и ласковый голос:

— Миленький.

Я вздрогнул, оглянулся и увидал в полуаршине от себя на темном фоне круглое румяное личико с мягкими глазами, заключенное в толстую серую шаль.

Я догадался, что передо мной одна из тех, которых мы в «благородных семействах» называем «жертвами общественного темперамента» (хоть

убейте, — не понимаю этого выражения).

Вы можете ужасаться, но я не отскочил от нее, «как ужаленный», а, напротив, подошел к ней поближе.

Да и с какой стати, скажите на милость, отскакивать, «как ужаленный», от человека, который один из тысяч людей, равнодушно проходивших мимо тебя — одинокого и страдающего, остановил тебя и так мягко, ласково?

— Что? — спросил я, уставившись в ее миловидное, почти детское личико.

— Идемте, миленький, — проговорила она мягче и ласковее прежнего.

Я не спросил ее — куда? — так как знал, куда она поведет меня.

И я пошел.

Может быть, идти за нею было гадко, так как она вела меня не в собрание, где заседают длиннобородые мужи с почтенными лысинами и круглыми животами, говорящие хорошие слова о народе, о котором они знают столько же, сколько о жителях Фиджи, о блудницах, которых надо сократить строгими мерами, и о прелестных юношах, которых надо воспитывать в строгом целомудрии, памятуя, что нет ничего выше целомудрия, что в целомудрии — залог прекрасного

будущего.

Если вы, милый читатель, не Тартюф, то вы догадываетесь, куда она вела меня. В дом, где спасается не одна душа, заклейменная нами, от нашего презрения, от голода и холода.

А много-много таких домов. И растет количество их не по дням, а по часам, «грудью» охраняя, как реликвию, целомудрие — этот «высший дар неба» — наших сестер и дочерей.

Впрочем, не следовало бы мне идти за нею.

Сознаю, что не следовало.

Но она — единственная — ведь окликнула меня в этой мертвой, хотя полной людьми пустыне.

Я почувствовал к ней признательность, как собака, брошенная на улице, и готов был идти за нею куда угодно.

Она скользнула, как тень, в темный подъезд ближайшего дома, взбежала по узкой, грязной и расшатанной деревянной лестнице в первый этаж, в грязную прихожую, освещенную маленькой лампочкой, а потом — в комнату.

Я — за нею.

Комната, куда я попал, была тесная, настоящая клетушка, и вся меблировка ее состояла из кровати, над которой висела лубочная картина «Новобрачные» — молодая, нежно обнявшаяся

парочка, стоящая у раскрытого окна и глядящая весело и бодро вдаль, — грязного туалетного столика с большим зеркалом и сундука.

Промокший насквозь, дрожащий и разбитый, я в изнеможении опустился на кровать и повесил голову.

Она же быстро сбросила шаль и явилась передо мной в красной, как кровь, кофте с короткими рукавами и в черном платье.

Лунный свет, падавший сверху из крохотной лампочки, заключенной в матовом стеклянном футляре, освещал ее всю.

Она была красива.

У нее было чисто русское личико, как у сенной девушки на картине Маковского — нежное, румяное, с правильными чертами лица, что называется «кровь с молоком».

Над круглым высоким лбом ее золотой короной лежали, закрученные в толстый жгут, льняные волосы.

Ей было на вид 18 лет.

Она взбила на лбу волосы, прижатые тяжелой шалью, обтянула рукава кофты, сощурила свои мягкие добрые глаза, засмеялась, подскочила ко мне, положила на мои плечи свои руки и, подражая детям, протянула:

— Ай-ай-ай! Какие мы грустные!

Я поднял голову, посмотрел ей в лицо, которое она поднесла ко мне близко-близко и которым обжигала, и глухо ответил:

— Жить тяжело.

Плотина в груди моей прорвалась, и слезы побежали из моих глаз.

Мне сделалось стыдно перед нею за свои слезы.

Я пытался унять их, но напрасно.

Сквозь слезы я заметил, что личико ее затуманилось.

Она вдруг подсела ко мне, подвинулась близко, обхватила меня левой рукой и прижалась к моей влажной щеке своей щечкой.

А щечка у нее была горячая-горячая, и я чувствовал, что от прикосновения ее мне делается легче.

Я был похож на озябшую птицу, а она, сидевшая со мной рядом, на солнце.

Боли в груди моей, распираемой слезами, слабели. И у меня лились теперь слезы радости.

Такие слезы льются у усталого и израненного путника, увидавшего после долгих странствований близкого человека.

Мне казалось тогда, что рядом со мной сидит

сестра. Родная, славная, милая, добрая.

А горячая щечка прижималась ко мне все крепче и крепче, и я слышал мягкий успокаивающий голос:

— Кому не тяжело… Всем тяжело… Ну, полно плакать.

Ее сочувствие растрогало меня. Я утер последнюю слезу и спросил:

— Как звать вас?

— Варей, — ответила она.

— А как вы попали сюда?

— Попала-то? Да вот.!. — И она скороговоркой, точно стреляя из скорострельной винтовки, стала рассказывать, как приехала в Одессу по «машинке» из Курской (она говорила «из Курскай») губернии на заработки и поступила «за чистую горничную» к одному господину, и «через этого самого господина она честных правил решилась». И после она попала сюда.

— А давно вы здесь? — спросил я.

— Четыре месяца.

— И вам не противно?

Я думал, что она начнет жаловаться. Но вместо жалоб я услышал:

— Зачем?

Ответив, Варя вспыхнула и улыбнулась.

Она, как видно, переживала первые месяцы опьянения и не сознавала ужаса своего положения. Она пила жадно отраву, как глупая безрассудная муха.

Я внимательно посмотрел на нее — красивую, как майская роза, полную жизненных соков, молодую, с лицом, вспыхивающим ежесекундно, как факел, и свидетельствующим о большом запасе в ней горячей чистой крови, и слезы стали опять подступать у меня к горлу.

Я вспомнил свои страдания, свои обиды и огорчения, жизнь, полную борьбы, и меня охватил страх за будущность этой Вари.

Мне стало до боли жаль этого нежного, мягкого, доброго существа, попавшего издалека, из Курской губернии, с широкого размаха полей, по которым волнами ходят колосья, текут реки степного воздуха, весело звенят жаворонки — в этот ужасный город, в этот лес хищников, мелких и жалких мещан, готовых друг другу из-за пятака прокусить глотку и изображающих собой «общественное мнение».

«Пройдут три, четыре года, — думал я, — и от нее — от этой дочери полей — останется тень с искаженными ужасом глазами, и все будут бежать ее».

Я порывисто протянул к ней руки, и мы переплелись в объятьях.

За окном, полузакрытым ставней, внизу во тьме, громыхали дрожки, шлепали и стучали калошами и сапогами прохожие, кто-то громко звал извозчика, мяукали жалобно кошки, бегая по карнизу. А в комнате от громыханья дрожек вздрагивал и дребезжал туалетный столик и пол.

В окно черным зловещим вороном глядел вечер.

Но я ничего не слышал и не замечал.

Кроме нее, вокруг меня никого не было. Она одна.

И я наслаждался миром и покоем, которые окутывали мою иззябшую душу и, подобно солнечному свету, затопляли все уголки его.

* * *

С этого вечера, как только на душе у меня накоплялась горечь и обида, я бежал к ней.

С этого вечера мы сделались друг другу близкими и делились своими радостями и печалями.

Вспоминаю ее сиявшее радостью лицо, лицо ребенка, когда она показывала мне новый лиф из сиреневого атласа, новый зонтик и шляпку.

Она много мечтала об этих предметах.

Рассказав мне всю историю лифа — сколько стоит аршин атласа, что ей говорил портной, как она торговалась с ним, — она кокетливо спросила:

— Хочешь посмотреть, как лежит на мне лиф?

И, не дожидаясь моего согласия, она быстро скинула свою кумачовую потертую кофту и натянула на себя лиф. Потом она приколола длинной иглой к своим растрепанным волосам шляпку с большими красными цветами, накрыла лицо красной вуалеткой, распустила над головой зонтик и весело спросила:

— Ничего?

— Ничего, — ответил я, любуясь ею.

— Похожа на барышню?

— Похожа.

— А ей-Богу, ничего!.. Совсем барышня теперь!

Она повертелась передо мной, а потом стала вертеться перед зеркалом.

Повертевшись, она сняла лиф, бережно сложила его, завернула в тонкую желтую бумагу и спрятала в сундук вместе с зонтиком, а шляпку с вуалеткой — в круглую коробку.

Когда все было спрятано, она подсела ко мне и сказала:

— Скоро Светлое воскресенье. Я оденусь тогда и

пойду на Куликово поле. Пойдешь со мной?

— Пойду.

Я глядел на нее и радовался.

Мне было приятно видеть ее счастливой и довольной.

* * *

После последнего нашего свидания прошло три месяца.

Однажды, когда, по обыкновению, я не мог справиться со своими обидами и огорчениями, я пошел к ней.

— Варя есть? — спросил я у выскочившей мне навстречу женщины.

Женщина эта была мне незнакома. Она, по-видимому, недавно поступила сюда.

— Какая Варя? — спросила она.

Она предложила такой вопрос потому, что, кроме моей Вари, была здесь еще одна Варя.

— Варя из Курска, — ответил я, холодея от предчувствия чего-то недоброго.

— Нет ее, — резко ответила женщина.

Я побледнел и спросил:

— Как нет?

— А так. Она ушла.

— Куда?

— А кто ее знает. Неделя уже, что она ушла.

Я повернулся и, шатаясь, как пьяный, спустился вниз.

И темная, холодная улица приняла меня в свои ужасные объятья.

И опять, одинокий и никому не нужный, с вулканом в груди, злой на весь мир, я стал носиться по улицам.

* * *

Не помню, каким образом, после долгого колесения по улицам, в два часа ночи я очутился на бульваре.

Бульвар тонул во мраке, и в аллеях его не видно было ни души.

Я опустился на скамью и уставился глазами вперед.

Под темным обрывом за угольными складами лежал порт. Он был густо усеян малыми и большими огнями, и среди них ярким факелом поминутно вспыхивал маяк.

На воде, черной, как чернила, и мертвой меж неподвижных, как дома, судов огненными мечами перекрещивался свет огней, и в этом свете то здесь, то там были видны кусочки воды живой, колыхающейся.

В порту было тихо-тихо. Снизу только слабо доносилось шипение нескольких десятков электрических фонарей, сдавленный и отрывистый лай цепного пса с угольного склада да стук маневрировавшего паровоза, пускавшего вверх красивые белоснежные облака дыма и пара.

Ужасающая тишина, в которую были погружены бульвар, порт, море и все окружающее, еще больше подчеркнула мое одиночество и беспомощность.

Я взглянул на таинственно и загадочно мигающий маяк и почувствовал, что погибаю среди этой тишины.

И невольно с моих уст сорвалось болезненным стоном:

— Варя, Варя!

* * *

Куда делась моя славная добрая Варя?

Она, без сомнения, затерялась в этом большом ужасном городе, как пылинка.

И кто знает? В то время, когда я безумно тосковал по ней, звал ее, она, быть может, слонялась по темным улицам голодная, оборванная, бесприютная и всеми (как это ужасно!) презираемая…

Этой зимой поздней ночью я возвращался из

цирка.

Ночь была морозная. Все было покрыто пеленой крепко примерзшего снега — мостовая, тротуары, акации и крыши домов, — и сверху без конца сыпались, слепя глаза, тяжелые хлопья.

Мне не хотелось идти домой, и я остановился в раздумье — куда идти?

Раздумывая, я вдруг обратил внимание на странный огонек. Он показался на минуту в 200 шагах от меня справа, меж деревьев, на краю Соборной площади.

Показался и сейчас же исчез. Его, как я разглядел, заслонила какая-то грузная, вся облепленная снегом и похожая на снежную бабу фигура.

Но вот фигура отодвинулась, и огонек показался вновь.

Яркий, как рубин, он пустил вдруг вверх, вместе с фонтаном искр, длинные языки пламени, которые ожесточенно схватились друг с другом, переплелись и вместе образовали красный победный флаг.

Это был костер, разведенный для извозчиков, городовых, ночных сторожей и ночного, зябнущего, бесприютного люда, которого так много в каждом большом городе.

Костер горел весело, заигрывал с ветром и сме-

ялся над его бессилием.

Ветер ежеминутно и свирепо наскакивал на него, опрокидывал его яркий флаг на землю, топтал его, трепал и рвал на кусочки.

Ветер хотел потушить костер и на его месте посадить тьму и холод для того, чтобы четырем лицам, окружавшим его, ночь показалась еще безотраднее.

Но напрасно.

Костер собирал свои разорванные кусочки, сливал их опять в яркий победный флаг, гордо веял им и сзывал на свое тепло и свет всех одиноких и бесприютных.

Мне показалось, что он зовет и меня, и я пошел на него.

По мере приближения я разглядел лица, окружавшие его.

Там был ночной сторож и три женщины. Две женщины сидели спиною ко мне на корточках и были одеты — одна в бледно-красную ротонду, опушенную желтовато-грязным мехом, в шляпу с белым большим пером, трепавшимся по ветру, а другая — в легкое весеннее платье. Третья сидела ко мне лицом. Это была совсем девочка — лет 12 на вид. Она была одета легче второй — в ситцевое платье — и сидела так близко у костра, что,

казалось, хотела влезть в него.

Подойдя к костру, я услышал следующие слова сторожа. Они были обращены к даме в ротонде:

— А с какого часу ты шляешься сегодня?

— С пяти.

Дама ответила усталым замогильным голосом.

— 8 часов, стало быть, шатаешься. Здорово. Небось, смерзла?

— Как собака.

— А ты ела уже?

— Н-не.

— Ишь ты? — Сторож покачал головой. — Ну, жисть твоя!

Я вздрогнул.

Голос женщины показался мне очень знакомым.

Я сделал шаг вперед, протянул руки и с волнением в голосе спросил:

— Варя?

Женщина быстро повернула ко мне голову — повернули и остальные, — и я опустил руки.

Я увидал совершенно незнакомое лицо. Страдальческое, с глубоко ввалившимися накрашенными щеками и темными слипающимися глазами.

Это была не Варя. Я ошибся.

— Извините, — пробормотал я и поспешно отошел прочь…

Варя, сестра моя! Где ты?!

Кармен.